

Сергей КИРИЛЛОВ

УЙДОМА

Повествование

(Журнальный вариант¹)

*Светлой памяти моих отца и матери, а также их родителей,
тяжко проживших на земле век свой...*

«Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, — добейтесь, чтобы он забыл «крестьянство», — и нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идёт от него. Останется один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настаёт душевная пустота, «полная воля», то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди, куда хошь».
Глеб Успенский, очерк «Власть земли» («Отечественные записки», 1882)

Книга первая НА КРУТОМ ПЕРЕЛОМЕ

Часть первая

Глава первая

— 1 —

Ох и бесшабашен был Гришка Демидов в молодости. Уж как бурлила в его жилах буйная кровушка, что мало ему казалось места в родной Уйдоме.

«Поди-ко ты, Гришка, погуляй по Расее-матушке, — напутствовал его отец, — Может, тогда остепениться. А так издергаешься весь понапрасну или ишо сотворишь чего».

Гришка и пошёл. Прав оказался Прохор Алексеевич. Не подвело крестьянское чутьё: и сына для дома сохранил, и мужика из него сделал. Григорий заматерел, позагрубел руками и стал казаться старше своих 28 с половиной лет. Три года странствий остудили кровь и поукротили буйный нрав, зато добавили ума и житейской рассудительности. Недаром же говаривали в деревне: «Не наживёшь до 20 годов весу, а до 25 ума!» Выходило по этой поговорке, что только к этому сроку человек умнеет, а до этого — дурак!

Стоял погожий день конца июля. Во всё небо растеклось жаром раскалённое солнце, и от прогретой его лучами земли струились вверх зыбкие потоки тёплого воздуха. Разноголосили мелкие птахи, жалостливо пищал, нарезая в вышине бесконечные круги, мирный, казалось, коршун, но особенно яростно строчили кузнечики.

«Конец страде, — подумал Григорий. — Раз уж кузнечик заверещал — верный знак». Он вспомнил, как ещё в детстве учил его отец определять пору года по природным приметам.

«Смотри, Гришка, — говаривал Прохор Алексеевич, — как только овод досажать перестанет — первая примета, что сенокос на сходе, а уж как кузнечики-то застрекочут безперерывно да слепец житья давать не станет — всё, кончай сенокос! И горе

¹ Роман Сергея Кириллова «Уйдома» имеет очень большой объем и печатается в «Невском проспекте» в журнальном варианте, то есть в сокращении, с продолжением в нескольких номерах.

тому, кто не успел до Ильина дня управиться — какая после «Ильи» трава? Будильё одно! Таковую только за большую нужду корова съест, да и то чтоб только ноги не протянуть. А уж молочка хозяин не жди, коль не успел хорошего сенца наставить вовремя».

Густой разогретый полуденным жаром лес остался позади. Торная, сухая в эту пору года дорога вывела Гришку на припольки, и взгляду его открылось широкое луговое приволье. Кругом, на сколько хватало глаз, на всех незасеянных местах, словно огромные кочки на чистом болоте, высились многочисленные стожки и копёшки свежего сена. Лёгкий ветерок, беззаботно прогуливавшийся над землёй, доносил отчётливый запах высохшего лугового разнотравья, старательно уложенного заботливыми крестьянскими руками в аккуратные помёты, тщательно завершённые и укрытые осокой от ветров и непогоды. Даже на расстоянии можно было разглядеть, что сено в них смётано зелёным, дождя не нюхавшим, и почти совсем не видно было зародов — только копны. «По сухому метали, — отметил про себя Григорий. — Н-да, хорошая, видать, выдалась страда. Будет, чем скотину зимой кормить».

Дорога, меж тем, пошла полосами, на которых вызревало зерно, и вывела к затяжному подъёму на угор, на вершине коего расположились и купеческая усадьба, и руками хозяина посаженный сад. И пусть не ломился он от изобилия южных плодов, но всякому вошедшему в его пределы щедро дарил прохладу и настоящий на разогретой хвое кедров да сосен вперемешку с ёлками чистый воздух. Гришка задержался невольно возле его границы и с видимым удовольствием несколько раз глубоко вдохнул полной грудью ядрёный запах.

«Ах, хар-рашо-о-о!» — подумал про себя и невольно расплылся счастливой улыбкой. Вот она — родина! Вот он — тот уголок на земле, который вскормил и вспоил его, поставил на ноги, дал силу и разум. Вот где его корни! Гришка почувствовал, как по-особому сильно затрепетало вдруг сердце, словно бы сделалось ему тесно в груди, и оно, как птица о прутья клетки, застучало по рёбрам, запросилось выпустить, чтобы самолично убедиться, что возвращение, наконец, состоялось. Григорий порывисто и часто задышал, управляясь с неожиданно подступившим волнением, и неспешно повёл взглядом вокруг.

Место, где он стоял, заметно возвышалось над окрестностями, и с его высоты деревеньки-невелички на соседних угорах просматривались как на ладони. Во все стороны от Гришки спокойно и размеренно текла жизнь во всех её проявлениях. Возле домов даже за версту можно было различить копошащую босоногую ребятню, изредка одёргиваемую престарелыми няньками — единственными в эту страдную пору взрослыми в деревне. То там, то сям время от времени гавкали собаки и голосили петухи. На опушке леса в поскотине пестрело многочисленное стадо коров, а в загоне по склону угора вольготно паслись овцы вперемешку с козами. Всё пространство между домами и деревнями колыхалось под лёгким ветерком поспевающими хлебами, зеленело гороховищами и картошкой, а по закрайкам его безмолвными сторожами высились копны сена. И таким величавым спокойствием веяло от всей этой картины, такой невыразимой силой, что казалось, будто и не земля это вовсе, пусть и обильно политая крестьянским потом, любовно ухоженная и взлелеянная, а какой-то сказочный богатырь прилёт, притомившись от трудов праведных, на уйдомских угорах и задышал полной грудью здоровым чистым воздухом уйдомских просторов! Долго ещё внимал Гришка простым деревенским звукам, в который раз поворачивая вокруг головы, словно впервые видя открывшийся пейзаж. Долго всматривался в знакомые с детства детали его, словно здороваясь с ними, заново привыкая к ним, включая в них себя.

«Ну, слава Богу, дома!» — подвёл, наконец, итог увиденному и подхватил котомку.

— 2 —

Демидовский дом заметно выделялся не только расположением посреди деревенского порядка, но и своими размерами. Ещё когда Гришкин отец только собирался отделяться и встал вопрос каким быть новому хозяйству, неожиданно воротился со службы на Кавказе младший сын Алёши Демидова — Олька. Да не один воротился, а с молодухой — чёрной, как головёшка, грузинкой, которую умыкнул чуть ли не со свадебного застолья! И сколько ни гналась за ним потом невестина родня — не бросил свою драгоценную добычу! От всех погонь отбилась, и покорила гордая горянка необузданному славянскому напору и бесшабашной удали. Пал по возвращении перед отцом на колени — благослови, дескать, родитель, житья мне без неё нет и не будет — тот и благословил. А заодно и с домом всё решилось. Завернули хабазину на две избы в переду и третья наверху, под крышей.

«Вам с Олькой по избе, — говорил Гришкин дед, обращаясь к Прохору, — и нам со старухой будет, где остаток жизни доживать».

С той поры Демидовы и жили все вместе: в одной избе Гришкина семья, в другой его дядюшки, а в третьей Демидов-старший с хозяйкой потихоньку век свой доживали

да за внучатами приглядывали, пока те малы были.

...Женскую фигуру в светлом платье, хозяйничающую на подворье, Григорий заметил ещё издали. «Кто бы это мог быть?» — гадал он... Звук его шагов заставил женщину обернуться.

«Ой, Гришка!» — всплеснула она руками и бросилась к разделявшему их жердяному забору.

Григорий удивлённо вытаращил глаза. Навстречу ему бежала высокая стройная девушка с длинной льняного цвета косой и прямо с разбегу бросилась Гришке на шею: «Братанчик!!.. Воротился!»

Дух перехватило у ошеломлённого таким приёмом Гришки.

«Братанчик? Какой братанчик? Да ты кто будешь-то?» — воскликнул он.

«Я? — удивлённо отстранилась девушка. — Да ты что, Гришка? Не узнал, что ли, меня? Я же Лина».

«Лина?! — чуть не вскрикнул изумлённый Григорий. — Да разве тебя узнаешь? Совсем невеста!»

«Скажешь тоже», — зарделась девушка и смущённо наклонила голову.

«Конечно невеста! Смотри, как расцвела-то. Кровь ведь с молоком!»

«Ай, да ну тебя, — звонко расхохоталась Лина и снова крепко обняла брата за шею. — Пойдём в дом скорей! — так же порывисто отпрянула и потянула Григория за руку. — Этакая жарница!»

...Двоюродная сестрёнка Григория была причудливым гибридом кавказской и славянской крови. От матери она унаследовала стройную изящную фигуру, гибкую, как лоза, обличьем же полностью повторила отца. Румяная, светлица, с роскошной косой цвета спелого льна. Они были очень дружны с Григорием, ещё когда она была маленькой, и Лина больше всех плакала, когда Гришка уходил из дому. Но кто она тогда была? Тоненькая, как стебелёк, девочка-подросток. Может, оттого и жалел её Григорий пуще всех своих братьев и сестёр, родных и двоюродных, что боялся: ну как такую оставить без присмотра? Ветром ведь, того и гляди, унесёт или заломает, как былинку. А её вот не заломало. И не унесло. И вот, гляди-ко, какое чудо выросло за три-то с небольшим года!

Григорий уселся на лавку и уже с неподдельным интересом ещё раз внимательно оглядел сестрёнку с головы до ног. Та снова вспыхнула маковым цветом и шутовски хлопнула брата по спине.

«Ну, будет тебе, Гришка, — запротестовала опять, — всю в краску вогна!».

«Что ты, Линушка, да разе это грех — таким чудом полюбоваться?»

«Ха-ха-ха-ха! Ой, Гришка, ты всё такой же болтун».

«Болтуны — это яйца куриные бывают, а я правду говорю. От женихов-то, поди, отбою нет... А где тата с мамой? Дядюшка где?»

«На сенокосе все, Гришенька. Третий уж день пошёл, как уехали на Брусянку».

«А надолго уехали?»

«Сегодня к вечеру посулились, ведь послезавтра Ильин день. Завтра баню надо стготовить, убрать всё... Ой, Гришенька, а может, тебе сегодня баньку-то сделать?» — встрепенулась Лина.

«Не стоит, завтра вмистях вымоемся. А малышня где?»

«Да бегают где-то по деревне».

«А бабушка с дедушкой где?»

Лина резко повернулась к нему и замерла.

«Дак ведь умерли они... Прошлой зимой похоронили... Сначала бабушка с осени занемогла и не оправилась, а после уж дедушко погоревал-погоревал да после Крещенья и преставился».

«Где похоронили?»

«Да у церкви старой, аккурат под кедром обе могилы».

«Пойду!» — вдруг резко вскинулся Григорий.

«Поел бы сначала, Гришенька», — попыталась остановить его сестрёнка.

«После!»

— 3 —

До церкви уйдомской, а значит и до погоста, версты две. За лог надо перейти да полем сколько-то. Ну, и улкой ещё деревенской... Гришкина деревня большая, даром что крайняя на Уйдоме, а, пожалуй, поболее остальных будет. Дома двумя рядами встали окнами друг ко дружке, а посередь пространство сажен в десять. Скоту пройти, да и на лошади проехать. По обеим сторонам пространство это сплошным жердяным огородом огородили, чтобы скот на чужое подворье не лез — вот улка и образовалась. Из поскотины когда стадо возвращается, каждая корова ко своему двору подходит и мычит, чтобы хозяева заворы расклали да домой запустили. И людям ловко, и скотине

вольготно. Но в этот час улка была пуста. Гришка быстро одолел её и по знакомой тропинке спустился в лог.

Всё здесь было как и всегда: те же крутые склоны, по которым носились, бывало, на лыжах, тот же кочеватик понизу, который зимой из-за родников превращался в сплошную катушку. Ох, сколько тут было изодрано катанчей!.. А шишек сколько набито на лбу?..

Гришка ходко выскочил на взгорок и сразу увидел церковь. До неё было ещё порядочно, но уж слишком умно она была поставлена. На самом высоком месте Уйдомы, и не видно её было разве что из логов. Маленькая деревянная луковка-купол белела свежими дощечками-чешуйками, знакомыми ещё с детства, но не они сейчас овладели вниманием Григория. Рядом со старой деревянной, в два раза перекрывая её по высоте, поднялась красавица — каменная. Гришка ещё не видел её — новую церковь достроили только этим летом, на Петров день — и, конечно, теперь он мог налюбоваться ею сполна. Прежде всего церковь поразила его своими размерами. Два крыла её так просторно разместились у подножья кедра, что старенькая церквушка казалась просто сарайчиком рядом с новой. Гришка вспомнил, как тесно было в деревянной церкви ещё четыре года назад, когда они всей семьёй вот так же летом ходили в церковь на Троицу и когда там собралась вся деревня. «Теперь совсем другое дело», — думал Гришка, оглядывая новый купол. Он был обшит железом и, если бы не крест на его вершине, очень напоминал гордо поднятую голову, а вся церковь — белую лебедушку, усевающуюся на гнездо и замершую так в извечной своей заботе о продолжении рода.

«Красота!» — восхищённо подумал Гришка, подходя той порой ко входу. Он трижды перекрестился, задирая каждый раз голову на высоченный купол, и медленно пошёл по церковному двору вокруг. Ничто уже не напоминало о недавней стройке. Убраны леса и остатки досок от них, загребены обломки кирпичей и следы извёстки, весь двор аккуратно выровнен и выметен. И только внимательный опытный глаз смог бы определить, что зелёная травушка, покрывавшая пустое пространство, ещё не удернела взболль, а молода и свежа, как свежа бывает озимь после первой грозы и тёплого вешнего дождичка.

А вот старый кедр ничуть не изменился за эти годы. Всё так же раскидисто зеленел он у входа на погост и так же глухо шумел под извечным уйдомским ветерком своей лохматой головой, будто недовольный чем. Григорий вскинул голову на мохнатые шумящие лапы и шагнул на погост. «У церкви старой, аккурат под кедром...» — вспомнил он слова сестрёнки и тут же увидел два массивных одинаковых креста на рядом расположенных могилах.

«Здесь покоится тело раба Божия Алексея сына Миколы Демидова рождения 1832 года мая 14 дня. Упокоился января 24 дня 1913 года. Мир праху твоему», — значилось на одном из памятников. Чёрные буковки на другом говорили о том, что рядом похоронена его жена. Гришка обошёл могилки вокруг и остановился в изголовье бабушкиной. Вспомнилось, как гладила она его по голове сухонькой ручонкой и осеняла крестом, провожая в дальнюю дорогу. Вспомнилось, как стоял рядом неподвижный, словно изваяние, его дед, держа в руках икону, которой поклонялись в семье все и которой кланялся Гришка, отправляясь в странствие, и слёзы хлынули вдруг из Гришкиных глаз бурным неожиданным ручьём. Он пал на колени меж могилок и, не стесняясь внезапных этих слёз, зарыдал горько, словно обиженный ребёнок.

«Бабушка! Бабушка! — отрывая голову от земли, гладил он могильный холмик. — Кто ж меня теперь так приголубит-то, как ты? Кто же меня теперь лесному языку учить станет, как ты, дедушко?!..»

— 4 —

День покатился к вечеру. Исчезло зыбкое марево над разогретой землёй, слепни уже не набрасывались так остервенело, как в полдень, даже коршун куда-то подевался. Гришка отчётливо ощутил, как он устал за этот день, и ничего уже не хотел, кроме как добраться до родительского дома и завалиться на поветь... Домой, домой, домой! Поле, логом, по кочеватику...

«Здравствуй, Григорий Прохорович!» — неожиданно донеслось до слуха, и, повернувшись на звук голоса, Гришка увидел у знакомого родника с долблёной колодой невысокую стройную девушку. Она приветливо улыбалась ему, а Гришка обалдело уставился на неё, как в полдень на сестрёнку, не зная, к кому из своих знакомых её отнести.

«Здравствуй, здравствуй, красна девица! — в тон ей ответил он. — Ты чья ж такая красивая будешь?»

«Васи Антипова я старшая дочка», — ответила девушка и, слегка наклонив голову, с интересом посмотрела на Григория.

«Какого Васи Антипова?» — недоумённо переспросил тот.

«Один Вася Антипов в деревне, — укоризненно проговорила девушка, — али забыл?»

«Манька?!» — воскликнул потрясённый Гришка.

«Марья Васильевна мы! — кокетливо поправила девушка и звонко расхохоталась. — Узнал, значит?»

«Как же, узнаешь тебя, — продолжал удивляться Григорий. — Ты ж совсем сопливая была...»

«Так это когда было-то? Пока ты где-то там странствовал, мы тут на месте не стояли».

«Заметно! Сколько ж тебе теперь?»

«Нониче шестнадцать вот исполнилось», — немного смущаясь под пристальным Гришкиным взглядом, ответила Мария.

«Уж и на игрище, поди, дорогу знаешь?»

«А как же! — задорно ответила девушка. — Мы не хуже других, — и опять звонко расхохоталась. — Надолго ли в наши края?» — спросила, унявшись.

«Насовсем».

«Неужто лучше нашей Уйдомы ничего не нашёл?»

«Да как тебе сказать, — посерьезнел Григорий, — оно, конечно, есть места, где и получше нашего живут. А только недаром ведь говорят, что где родился — там и пригодился».

«Ну, тогда давай, пригожайся, — опять подзадорила девушка. — На игрище-то придёшь?»

«Какое там! — замахал руками Григорий. — Старый я стал для таких дел».

«Так-таки и старый, — снова рассмеялась Мария. — Что-то я не вижу, чтоб дорожка за тобой была песком обсыпана».

Дружный хохот двух здоровых молодых людей покатился по логу, перекрывая все другие звуки июля.

«Ну, до этого, слава Богу, дело ещё не дошло, однако же пару и правда много выпустил за три-то года».

«А девку себе где искать будешь? — метали искорки озорные девичьи глазки. — Али, может, с собой привёз, как дядюшка Ольга?»

«А хоть вот и у колоды! — подхватил Гришка её огонёк. — Тебя-то вот встретил, встречю и другую».

Жаркие уголёчки в озорных глазах потухли, прикрытые веками, голова в косынке выпрямилась, девичья рука потянулась за ведром с водой.

«Ну-ну, — уклончиво-многозначительно протянула Мария и взялась за дужку. — Счастлипочки», — и пошла в гору, легко покачивая бёдрами в такт шагам.

«Вот шельма! — невольно подумалось Григорию. — Давно ли сопли на кулачок наматывала, а теперь смотри-ко: и глазу любо, и душе приятно!»

Он замер, провожая девушку взглядом, и всё ждал, когда та обернётся. Но Мария шла прямо и, ни разу не обернувшись, вскоре исчезла за бугром.

— 5 —

На задворках демидовского дома пофыркивала распряжённая лошадь. На дрожках и вокруг них копошилась разнокалиберная ребятня, а возле лошади, снимая остатки сбруи, хлопотал осанистый мужик в длинной белой рубахе, подпоясанной кушаком. «Татя! — догадался Гришка. — Наши с сенокоса воротились». А навстречу ему по улке бежала его мать, со всего разбегу бросилась ему на грудь, крепко обвила за шею и заплакала навзрыд от переизбытка радостных чувств, как невеста.

«Гришка! Гришенька, сердешный ты мой!» — запричитала она, захлёбываясь слезами.

«Ну, что ты, мамушка, — крепко прижимая к себе, успокаивал её Гришка. — Радоваться надо, что мы встретились, а ты плачешь».

«Да я радуюсь, Гришенька, радуюсь», — вытирая слёзы, продолжала всхлипывать мать.

«А сама плачешь».

«Это я от радости, Гришенька, от радости! — мало-помалу успокаиваясь, улыбнулась мать. — Ведь эстолько годов тебя не видела! Уж думала, живой ли? — она отстранилась от сына на вытянутые руки и внимательно оглядела его с головы до ног. — Смотри-кося, какой баской-то парень стал! — довольно заключила, наконец. — Настоящий мужик!» — она снова припала к нему мокрой от слёз щекой и засветилась счастьем улыбкой.

А от дома той порой шагал к ним торопливо и хозяин. Не утерпел Прохор Алексеевич на подворье, глядя, как радуется возвращению сына жена, ноги сами за заборы вынесли — не заметил, как и на улке-то оказался. А ведь думал... а ведь хотел совсем

иначе сына встретить, коль воротится. Чтобы в избе, да с выходом из красного угла, да чтобы пред иконами... Доложись, дескать, сын, перед родителем по всей форме: где был, чего видел, набрался ли ума? И чтоб как на духу! Чай, перед образами отчёт держишь! Всё отлетело от головы! Как мякина на хорошем ветру и без остатка отлетело, лишь увидел только, как жена сыновнему возвращению возрадовалась. Только и осталось от задуманной степенности, что рот не первому открыть — родитель всё же.

«Здорово, татя!» — первым радостно потянулся к нему сын.

«Здорово, Гришка!» — шагнул навстречу ему отец, и они сграбастали друг друга в такие могучие объятия, что выдавшая виды Гришкина рубаха не выдержала и лопнула посереде спины с шумным треском!

«Ой! — всплеснула руками мать. — Гли-кося, с рубахой-то што сдядлось? Рубаху-то всю чисто изорвали, черти!»

«Ничего, мать. Новую справим! Было бы кому — верно я говорю, Гришка?»

«Верно, татя, верно!» — сын подхватил свободной рукой мать, другой обнял за плечи отца, и так все трое, обнявшись, зашагали на подворье.

А дома уже царила весёлая суета. Из окошка в окошко сновали по лавкам малыши, тётушка Нино стелила на стол расшитую скатерть, а Лина уже гремела ставками на суднице, собирая снедь. Улыбаясь и приосаниваясь, спустился с крыльца дядюшка Олька, а за ним, как горох, высыпал весь демидовский выводок.

«Ну, здорово, племянничек!» — приветствовал Григория дядя.

«Здорово, дядюшка!» — отвечая на его крепкое объятие, откликнулся Гришка.

«А вы, чертенята, чего стоите? — оглянулся Александр Алексеевич на малышню. — Брат ваш вернулся! Чего надо делать?»

Галчатами загадели в ответ самые младшие, прыгивая по ступенькам, за ними потянул руку для приветствия худощавый подросток, и поначалу Гришка даже не разобрал, кто тут родные, кто двоюродные — все казались похожими друг на друга. Лишь одна сестрёнка не вызвала никаких сомнений. Стоило только Гришке поднять глаза, как на самой верхней ступеньке, ему показалось, что он увидел... богородицу! Да, да, именно так ему подумалось в первый момент при взгляде на изящный точёный лик стоявшей на крыльце девушки.

«Господи! — всплеснул он руками. — Да что же это за чудо такое? Неужели это ты, Соня, такой стала?»

«Да!» — застенчиво улыбнулась девушка.

Она повторила свою мать в самых мельчайших деталях. Высокая, стройная, изящная, как персидская статуэтка, с ослепительно сверкающими чёрными глазами, крутодугими угольными бровями, идеально ровным тонким носом на смуглом лице, раскрашенном здоровым румянцем, и в длинном льняном сарафане с узорами по лифу, она действительно казалась не земным, а каким-то божественным, сошедшим с икон созданием.

«Ну, дядюшка, теперь я понял, что ты испытал, когда увидел тётушку Нино! — восхищённо воскликнул Гришка. — Да за такую красоту и голову сложить не жалко! Одинова посмотришь — охмелеешь беспробудно на всю жизнь! — громкий многоголосый смех выплеснулся на улку из демидовского подворья, и Гришка поднялся на крыльцо. — Здравствуй, сестрёнка! — улыбаясь, протянул он руки девушке. Та зарделась от смущения ещё больше и скромно подала братану свою руку. — Да что же это такое делается-то с вами? — не унимал свой восторг Гришка. — Я сегодня сперва Лину не признал, потом Маньку Антипову, теперь вот тебя! По обличью только догадался да по дому, кто ты есть. Чем вас тут таким кормили да поили, что из вас такие принцессы выросли?»

«Коровьим молочком да свежим хлебушком! — певуче, как и Лина, ответила сестрёнка. — Остальное сами находили да татю с мамой и малышами угощали».

«Ох, говоруха! Вся в отца пошла разговором-то!.. Ну, а обнять-то тебя можно ль, девица-красавица? — любопытствовал Гришка. Та опустила голову, заулыбалась смущённо, но не воспротивилась, и Гришка осторожно привлёк её к себе, наклонил лицо к смоляным её волосам и ласково прошептал прямо в ухо: — Здравствуй, Сонюшка!»

«Здравствуй, — тихим эхом отозвалась она, — Гришенька!»

«Ну вот, слава Богу, все и поздоровкались!» — заключил дядюшка Олька.

«С тётушкой Нино ещё нет», — возразил ему Григорий.

«Дак проходи в избу, она там хозяйничает».

Тётушка встретила Гришку стоя посреди избы. Высокая, стройная, несмотря на свои 45 лет, тоненькая, как девочка, она подошла к племяннику и трижды по-христиански поцеловала его в щёки, каждый раз прижимая к себе.

«Здравствуй, Гришенька! — с певучим акцентом проговорила она. — С возвращением тебя!»

«Спасибо, тётушка! — растроганно ответил тот. — А где Арся?»

Арсений — первенец дядюшки Ольки и тётушки Нино — уродился весь в отца. Глаза только чёрные достались от грузинского рода. Рад ему был дядюшка несказанно! И что первенец — сын, и что весь в него... Тётушка и настояла: тебе — сын, мне — имя. И назвала Арсением. Никто и не протестовал. Уговорились — по очереди имена давать. Как спокойная реченька полились у них детки — один за другим! Маленько передохнула тётушка Нино — девочку родила, Линой назвали, по-русски. Два годика пробежало — опять девочка, материна очередь имя давать, да и девочка — вылитая грузинка! Так и появилась в северном краю черноглазая горяночка-лозиночка с диковинным именем — Софико. А по-русски укоротили, и получилось — Соня. А уж потом Илейка да последний — Ванька. Его хоть и назвали — в порядке очереди — на грузинский манер — Вано, но даже мать скоро сдалась и иначе как Ванюшка своё черноголовое чадо не называла. Всех Бог миловал, никто не помер, и росли Гришкины братанчики и сестрёнки здоровенькими да весёленькими на радость и себе, и, главное, родителям. Всех Гришка поприветил, а вот Арся...

«А Арсения у нас в солдаты забрали, — ответила за мать Лина. — Скоро год уж вот как проводили»...

«Давайте-ко все за стол!» — на правах хозяина перебил всех Гришкин отец.

Все полезли по лавкам занимать свои места. В передний угол, как и подобает старшему, залез Прохор Алексеевич. По обе руки — робитёшки вперемешку с племянниками и с братом да его женой, с краю — хозяйка да Лина для помощи ей. Не так гладко давал Господь Бог детишек Прохору, как его брату. Гришка-то вскоре после венчания народился в положенный срок, а после него — то ль не убереглась где-то Пелагея Антоновна, то ль надтянулась как-то на работе крестьянской, то ль простудилась — и прекратилась прибавка в семье. Только на пятнадцатом году после Гришки появился Алексанко, а ещё через четыре года — погодки Нюрка да Агашка. Вот и выходило, что к 50-то годам у матери помощницы ещё не подросли, и Пелагее Антоновне приходилось уповать на старшую племянницу.

«Ну, Гришка, большой подарок ты нам к празднику устроил! — улыбаясь во весь рот, довольно пробасил Прохор Алексеевич. — Рад! Рад я, что ты домой воротился, что живой-здоровый и что на мужика похож — верно я говорю?»

«Верно, верно! — громче всех подхватила Лина. — Кабы не был братанчиком, дак только от его сватов бы и ждала!»

«Ох, коза-дереза! — перекрывая общий смех, погрозил ей пальчиком Прохор Алексеевич. — Отдавать тебя нынче на Покров в хороши руки надо, а то переспеешь — верно я говорю?»

«Ну, будёт тебе байки-то разводить, — остановила его хозяйка. — Наливай лучше».

«Эт мы живо, — весело отозвался Прохор Алексеевич, беря в руки большую высокую бутылку из тёмного стекла с залитой сургучом пробкой. Он осторожно оббил сургучную заливку на горлышке бутылки и, ударив широкой ладонью по доньшкуну, вышиб пробку. Крякнул довольно и наполнил чарки. — А ты, Гришка, осмотришь, — продолжил свою линию, немного переждав. — Осмотришь, а уж потом решай, как тебе свою жизнь устроить. Твоё время не прошло. Ну, будь здоров, сын! С возвращением тебя!»

Прохор Алексеевич чокнулся с Гришкой, под общий перезвон посуды проделал то же самое со всеми собравшимися за столом, поднял стаканчик почти над головой и первый залпом выпил его. Нагнулся над большим блюдом с груздями, поддел один побасся и целиком отправил его в рот. Остальные последовали его примеру и тоже опорожнили свои чарки. Сделалось веселье за столом: все задвигались, стали доставать из больших блюд нехитрую крестьянскую снедь, слышались нескончаемые шуточки, перемежаемые беззаботным смехом. Совсем скоро помянули добрым словом родителей и попросили Господа ниспослать благодати Арсению в его нелёгкой службе. А ещё немного погодя выпрыгнула откуда-то из закутка балалайка и заплясала в ловких Гришкиных руках. Разрумяненная выскочила из-за стола Лина и звонко застучала каблучками в лихой русской пляске. Глядя на неё, не утерпела и выбежала на середину избы Гришкина мать, а за ней и тётушка Нино с Соней не устояли и тоже пустились в весёлый пляс. Гришка поддавал жару на инструменте, а его отец и дядюшка Ольга прихлопывали в ладоши да прищёлкивали языками в такт музыке, подзадоривая пляшущих женщин. И получился у них такой складный оркестр, что лучше и не придумаешь! Ну, а как ещё может быть, если душа у всех одинаково широко радуется? Если всем эту радость одинаково сильно выплеснуть хочется? Тут как искру в сено: только брось — сразу вспыхнет! И вспыхнуло. И горела и пластала ярким огнём весь вечер на демидовском подворье настоящая человеческая радость! Сын вернулся! После долгой разлуки сын вернулся. Живой и здоровый! Что может быть ещё важнее в отчем доме, чем такое счастье!

Глава вторая

– 1 –

Федька Власов был постарше Григория года на полтора, но характерами они оказались похожи, как две капли воды. Оттого и сошлись так тесно и не разлучались с самого детства. И в лес вместе, и в бабки играть вместе, и в драку вместе. Даже девок — время подошло — мирно делили. В девичьи малинники забредали на пару, а выуживал каждый добычу свою. Правда, в этом деле Федьке, можно сказать, не повезло: двадцати годков ему ещё и не сровнялось, а одна из его зазноб от него уж понесла. Родители на дыбы — и Федьку женили. Хозяйка ему умная попалась. Да и мудрая — не по годам. Молча его выкрутасы сносила, с достоинством и сделала-таки себе мужика на всю жизнь. Ещё когда Гришка в странствие своё уходил, у Федьки уж трое ребят-то было, и ладу в его семье все дивовались!

Вообще-то Федька — парень не дурак и мужик мастеровой. Всякую работу в доме делать умеет: хоть столярничать, хоть скорняжничать, хоть плотничать, хоть ещё чего, а главное дело — хозяйничать. Жонку свою зажалел мертво, особенно как она ни словом, ни делом за выкрутасы его не попрекнула да вторым заходом парня родила. Вот и стали с той поры, как говорится, жить да поживать да добра наживать.

А добра, надо сказать, у Захара Петровича — отца Федькиного — хватало. И дом-«шестистенок», как у Демидовых, на три избы, и корова с овечками, и лошадь хорошая, и покосов да полос житных — всего вдосталь. Робят его хозяйка принесла ему четверых, и трое из них, считай, были уже при деле. Старший — Федька — вот он, рядом, в одном доме живёт. Две девки после него уж тоже пристроены в хорошие руки, остался только Васька — младший. Но, слава Богу, тоже не дурак, хотя и молод, да и нравом помирная, пусть и третий уж десяток разменял. Всё чего-нибудь да мастерит — весь в батька. Часами, бывало, сидит над какой-нибудь дощечкой, всё какие-то фигурки вырезает. А потом глянешь — наличник новый над окошком. Божничка резная, саночки расписные.

– 2 –

Ильин день в деревне почитали не меньше Петрова или Троицы. Разве что на Пасху гуляли раздольнее, но и на Илью бывало в деревне пирушек немало. Как-никак, считай что, конец страде. Большое дело сделано — скотина на зиму обеспечена — а перед жатвой и передохнуть не грех.

«Ты, Гришка, севодня отдохай, — объявил после завтрака отец. — Я никуда не еду, работы никакой — одна обредня — управимся. А ты взгляни за эти дни, как жизнь тут нониче идёт. Попримеряйся к ей покуда налегке... У Федьки-то бывал ли? Сходи».

«Как не сходить! Первым делом к ему наметил».

«Захару Петровичу от меня кланейся. Да скажи, что мостик за Боровиху, который вёснушь провалился, я нонича изладил. А то за ягодами, чул я, он вроде собирался — пусть топеря едет без опаски».

День выдался такой же погожий, как и накануне. Так же горячо светило солнце и голосили мелкие птахи по кустам, так же громко верещали кузнечики в траве. И только высоко-высоко в небе появились редкие седые волосья облаков — первые предвестники дождя. «Век свой Илья посуху не проходил, — подумал Гришка, глядя на небо. — Видать, и завтра не пройдёт».

От Потылихи до Федькиного дому всего-то через Порог и перейти, но нашагаешь-ся. А всё потому, что Порогом этим ещё одна деревня в Уйдоме прозвана, которая истинный порог и есть. Потылиха высоко на угоре, но и Порог не низко. Затянулся по своему-то угору, пожалуй, на версту домами в два порядка встречь окошками друг ко дружке, а посередке между ними — дорога торная, которая на Койдольский волок выводит. И всяк по ней, кому на Койдолу с Завидова попасть надо, по этому самому Порогу и едет. Оттого-то он и затянулся, считай, от церкви да и мало не до лесу. А ежели учесть ещё, что от Потылихи, пока до этого Порога доберёшься, надо в лог спуститься и после него в угор вызняться, а перешагнувши его, опять на спуск, хоть и пологий, к Федькиной деревне, то и станет тогда совсем понятно, почему преграду эту Порогом прозвали. А саму деревню, уж где Федька жил, — ту, значит, Запорожьем.

Знакомая с детства дорога к ней ничем не изменилась за эти годы. Тот же ложок, тот же кочеватик, тот же взгорок — и вот она, Федькина деревня. Как солдаты на плацу, выстроились все её дома в один порядок. Во всей Уйдоме она, пожалуй, одна такая: во всех других дома в два ряда стоят окошками друг ко другу, и только Федькина наособицу. Видно, задом к церкви никто строиться не захотел, вот и встало Запорожье в один ряд окошками на восток. Задворки его крутой угор подпёр — там только бани да овины притулились — а дальше уж лес безо всякой прогалины.

Гришка прошёлся улкой, которая подводила к Запорожью, и свернул под окошки.

Расчудесное это дело — пройтись деревенским порядком да под окошками! Да ещё и после долгой разлуки. Это всё равно что парад принять военный. Дома-солдаты — один краше другого — так и норовят своей выправкой щегольнуть, обличьем парадным похвастать. И в то же время в лицо заглянуть с любопытством: кто, мол, ты такой? Чей будешь? Откуда взялся и куда идёшь? А в душе у тебя чего? А вдруг ты человек лихой и самое время ворота запирать? Но Гришкина душа была чиста, как оконное начищенное на праздник стёклышко, и потому все ему в деревне улыбались: и дома во все свои раскрытые окошки, и старички да старушки, которые попадались навстречу, и даже собаки, вольно бегавшие по всему околотку, хвостиками приветливо махали, будто здоровались. А старички так ещё и кланялись с почтением, не узнавая в Гришке знакомого гуляку. Кланялся им и Гришка, называя в ответ по отчеству, немало удивляя тем самым своих встречных...

Возле власовского дома, сцепившись за плечи ручонками, отчаянно пыхтели два пацанёнка. Они были почти одинаковы по размерам, и человек незнакомый, не знающий их, не скоро бы и определил, что они — погодки, а не ровесники. Оба громко кричали и сопели, но ни тот, ни другой не поддавался. Наконец, старший повалил-таки брата на обе лопатки.

«Ы-ы-ы-ы!» — на всю округу заревел от обиды поверженный, размазывая слёзы по грязным щекам.

«Чево пастишь?! — откуда-то сверху раздался грозный мужской голос. — Сколько раз тебе говорено: не можешь справитча — не ползи!..»

Всего миг понадобился Гришке, чтобы, взглянув на высунувшееся лицо, узнать обладателя и грозного голоса, и всей головы.

«Здорово, Федька!» — с улыбкой во весь рот крикнул он.

Голова усунулась назад под крышу, исчезнув на какое-то время из виду, потом на её месте разом вдруг появилось полтуловища закадычного друга, залезшего на самую верхотуру строительных лесов, и немигающий взгляд его уставился на пришедшего.

«Гришка!! — ловким вертом Федька соскользнул по жердям вниз, в мгновение ока очутившись на земле: — Гришка, едрёна мал! — он широко распахнул руки, и приятели сцепились неразделимыми объятиями. — Гришаня!»

«Федюха! Друг!..»

Откуда-то сбоку раздался предостерегающий бас:

«Рубахи изорвёте».

Григорий оглянулся на бас и увидел рядом осанистого бородатого мужика со скобелью в руке.

«Здравствуй, Захар Петрович!» — узнал он Федькиного отца.

«Здорово, здорово, гуляка! Каким ветром тебя к нам занесло и надолго ли?»

«Ветром носило, а вот принесло ногами».

«Неужто нагулялся?»

«Нагулялся ли, нет ли — не знаю, но бродить по свету боле не охота».

«И чево надумал?»

«Дома заживаться собираюсь», — объявил Гришка.

«Ну-ну, — одобрительно протянул Захар Петрович. — Места в деревне всем хватит. Батько-то, поди-ко, обрадел?»

«Татья кланяться велел, — ответил Гришка, поклонившись. — Ещё про мостик за Боровицу наказал передать, что изладил. Вы-де всей семьёй по ягоды собирались?»

«Мостик изладил — это хорошо, — одобрительно отозвался Власов-старший. — И за поклон спасибо, только вот с ягодами нынче ничего не выйдет».

«Пошто так?»

«Другая есть работа нынче», — задумчиво начал Захар Петрович и замолчал.

«Ваську у нас в солдаты забирают», — пояснил всё Федька.

«А где он сам-то?»

«Да вон он, — махнул рукой вверх Федька. — Васька, соходи; Гришка Демидов приехал».

Григорий посмотрел по направлению вытянутой руки Фёдора и на самом верхнем ярусе лесов, выгороженных под крышу, увидел Власова-младшего.

«Здорово, Васька!» — приветствовал он парня.

«Здорово! — ответил тот. — Ты, Гришка, не пообидься, но я спускатча счас не стану. Время мне дорого, а дела много — за сегодняшней день надо всё успеть; завтра праздник, послезавтра уж всё — мне в солдаты».

«А чево ты там делаешь-то?»

«Да вот задумал подбой разукрасить разными фигурами, — ответил за брата Фёдор. — Басся, говорит, чтоб было, да и дереву износ меньше».

«А это чево?» — кивнул Гришка на длинные тесные доски, лежащие на земле.

«А это уж татя заодно решил ревизию кровле сделать и некоторые желобья заме-

нить, пока нас людно, — продолжал Федька. — Раньше-то всё некогда да некогда, а топеря, если Ваську заберут, вдвоём-то нам — сам знаешь — не розгонисся».

«Да, может, подсобить бы вам чево?» — вызвался Гришка.

«Ты, главное дело, не пообидься на нас, что поговорить сейчас нековды, — положил руку на плечо друга Фёдор. — А с крышей мы и сами справимся. Но только завтра чтобы к нам! Ваське проводины, а заодно и праздник спразднуем».

— 3 —

Власовская пирушка оказалась самой большой не только в Запорожье, но и во всей Уйдоме. Хоть и не в одном доме гуляли на Илью, да не во всех сына в солдаты проводжали, а потому дому Захара Петровича повышенное почтение. Вся родня собралась. Первым делом — дочери с мужьями: тихая маленькая Анисья со своим Петрушкой и говорливая круглолицая Лукерья с молчаливым здоровяком Степаном. Само собой Фёдор с Настасьей и сват со сватьей — Настенькины родители. А ещё ейные братья с жёнами, Васькина крёстная с мужем, прочая родня рангом пониже и, конечно, Федькины и Васькины друзья. Да и подруги тоже. Людно было и полатянных — малокалиберных робитёшек, состоящих, по большей части, в той или иной степени родства, которых, как всегда, загрузили на полаты, чтоб не путались под ногами, ихние родители, настрого приказав старшим следить за младшими.

Столы, составленные углом по обе стороны от божницы, несли на своих скатертях всё, что только может приготовить северная крестьянская семья в эту пору года. Атмосфера в доме царила приподнятая, во всём ощущалось присутствие праздника: полы во всех избах и на мосту были выдраены с дресвой и сияли белизной, гости были нарядны и торжественны, а их просветлённые лица источали добрые улыбки. Все ждали Власова-прародителя. Старенький, но ещё вполне самоходный отец Захара Петровича появился в сопровождении младшего Захарова брата Фёдора с хозяйкой, у которых, как было исстари и заведено в деревне, доживал свой век.

«Ну, гости дорогие, прошу всех за стол!» — громко провозгласил хозяин дома, заметив прибытие отца, и многочисленная родня с друзьями двинулась к лавкам. Поднялся шум, весёлые возгласы друг за дружкой залезающих в узкое пространство между столами и лавками мужиков и жонок, чей-то смех — наконец, все уселись, и всё стихло.

«Ну, что, отец, — прозвучал голос хозяйки, — тебе командовать?»

«Скажи слово, Захар Петрович», — раздалось из разных уголков стола.

Хозяин поднялся с лавки, и все смолкли.

«Ну, что, Васька, — начал он, глядя на своего сына, — видишь, сколько нас тут собралось? И всё, считай, родня твоя, и родня большая. Или товарищи твои. Так что ты нас не подведи».

«Не посрами фамилию!» — вдруг вклинился надтреснутый старческий голосок Власова-старшего.

«Вот-вот, — подхватил Захар Петрович. — Именно, что не посрами. И коли погинуть достанитча...»

«Что ты, что ты, Бог с тобой, отец!..» — донеслась от печи протестующая материнская скороговорка.

«Цыц! — прикрикнул Захар. — Не перебивай, дай договорить! — хозяйка умолкла, и Васькин отец продолжил. — Дак вот: ежели выпадет судьба — погинуть, смотри, чтоб в честном бою это случилось. И чтобы нам потом и потомкам нашим вспоминать тебя не стыдно было. Понял, Васька?»

«Да что уж ты, батько, прямо как на войну да на смерть-то посылаешь? — всхлинула Васькина мать и, подойдя к Василию, погладила его по плечу. — Дитё ведь родное!»

«Не на войну, да и не на гулянку! — с нарочитой суровостью возразил отец. — Должен знать и помнить родительский наказ. И при всей родне сказано, чтоб видел. Ну и, само собой, чтобы домой воротился в положенный срок живым и здоровым. За то и выпьем».

Гости дружно потянулись друг ко другу со стаканами, опять поднялся шум, неизбежный в таких случаях, но через несколько мгновений всё стихло. Потом, снова почти разом, стук пустых стаканов о столы и разноголосые возгласы вперемешку с покрякиванием. Все дружно принялись закусывать. Обнесли по второй. Хозяйка большим ковшом зачерпывала бражку из ведра и щедро разливала по стаканам. Опять кто-то напутствовал Ваську, кто-то поздравлял хозяев, что и младший сын до мужика дорос. Жонки вскорости заёрзали на своих местах, громче завсхохатывали. Мужики тоже повольготнее разговорились, вспоминая, по большей части, кому как довелось в солдатах и какие кто при этом претерпел потрясения да приключения. Обнесли по третьей. Тут уж за здоровье всех и каждого в отдельности громко запровозглашали и чокались

особенно рьяно. И вот одна из женок не утерпела-таки да и затянула высоко и звонко:

«Шумел камы-ы-ы-ы-ш...»

«Дере-е-е-е-е-вья гнулись», — дружно поддержала её женская половина.

«И ночка тѣ-ѣ-ѣмная-а-а была-а-а-а!» — вклинились отдельные мужские басы.

А после пустил Захар Петрович в ход свою главную изюминку — Миколу «Котёнка» — первого во всей Уйдоме гармониста. Не потому первого, что лучшего, а потому, что у него первого появился столь диковинный инструмент — гармонь. Специально пригласил мужика порадовать родню. А впрочем, какой ещё мужик — молодой парень и неженатый даже. А уж под его-то музыку ни одна жонка за столом не усидела! Как ветром всех сдуло и на середку избы выгонило. И загремели бедные половицы под стуком каблуков, как под десятками молотков. И зазвенели на всю избу задорные частушки одна другой ершистей. И даже мужики некоторые не выдержали, выскочили в круг и давай кто как умел и мог выделять коленца. Кутерьму звуков, как клубок спицами, время от времени протыкало пронзительное бабье уханье.

Обнесли по четвёртой. Ещё яряя вскинулась гармонь. И снова выскочили на середь избы все бабы. Только на сей раз уж и мужики разошлись. Все, как один, в пляс пошли. И парни молодые тоже. Да вприсядку-то, вприсядку, один другого удалее. Ходуном заходил теперь уж и весь дом! Двери нараспашку — выплеснулось веселье и на мост, и на крыльцо, и на улицу. Э-э-э, да что там на улицу — на всю деревню разлилось гуляние. Праздник же, дай волю душе, не всё же ей взаперти.

«Жонки!! — взорвался вдруг истошный бабьин крик. — Ну-кося, бежите-ко скоряя, розодрались мужики-то! Рознимайте!»

Высыпала толпа на улицу, и тут же все увидели, что за отставной избой пластаются — и шибко же! — Гришка Демидов с Палушей Майковым. Оба уж в крови, рубахи все измараны, волосья разлохмачены. Гришка поздоровее, но уж больно ловок Палуша, хоть и молод, никак его Гришке не прищучить. Но одолел-таки: так разъярился, что схватил своего противника, как куль с мукой, намертво прижав его руки, оторвал от земли, как пёрышко, и вальнул на мурга!

«Остынь, Палуша!»

И тут же жонки сороками налетели со всех сторон. Окружили, облепили, загалдели — растащили драчунов в разные стороны. Федька, откуда ни возьмись, выскочил:

«Гришка! Я — здесь! Гришка, кто тебя? — а уж хорошо пошатывается Фёдор Захарович, четыре стакана бражки своё дело сделали. Уж и глазки стали хуже округу видеть. — Кто тебя, Гришка?»

«Да никто, Федюха», — Гришка своего друга за плечи обнял и кровь из носа на кулак.

«Как это никто? Что я, не вижу, что ли, что ты весь в крови? Кому тут надо сдачи сдать?»

«Никому не надо, Федюха. Пойдём-ко лучше на колоду. Я умоюсь».

«Друг ты мой сердешный! Я тебя столько времени не видел и у себя в гостях не уберёт!» — Федька свою голову Гришке на грудь уронил и заплакал.

«Федюха! — крепким объятием ответил Григорий. — Пойдём скоряя, я умоюсь».

Власов сник, и оба друга, обнявшись и пошатываясь, направились к власовской баньке, возле которой бил ключ и выдолблена под него была большая осиновая колода, в коей полоскали круглый год бельё все бабы деревни. Гришка отхлебнул сперва холодяночки и лишь после этого начал осторожно обмывать разгоряченное перепачканное лицо.

«Гри... Гри... Гришка, — всё больше хмелея, с трудом выговаривал Федька, — нет, ты мне скажи... ты мне скажи, Гришка... кто тебя обидел?»

«Да никто меня не обидел, Федюха».

«Нет, обидел, Гришка... ты врешь!.. Зачем ты мне врешь, Гришка? — продолжал кипятиться Власов, сидя на мурге и раскачиваясь из стороны в сторону. — У тебя же нос разбит?... Разбит! Значит, надо сдать сдачи!»

«Сдал я, Федюха, сдачу, сдал. Больше не должен».

«А кому, Гришка?... — как тетерев на току, продолжал бормотать Федька. — Нет, ты мне скажи: ты мене друг или не друг?»

«Друг, Федюха, друг самолучший!»

«А коли самолучший... должен я знать или нет — кому мой друг шею намылил?»

«Эк ты разобрало! Сказано же тебе, что дал я сдачу!»

«А кому, Гришка, кому?» — не унимался Федька.

«Ну, Палуше Майкову!..»

«Палуше?! — Федькины глазки враз посветлели от изумления. — Ему-то котора болисть надо была? Ведь он Ваське ровня-то, а не нам с тобой».

«Да из-за Маньки он...»

«Чего-о-о?! — теперь протрезвевшие Федькины гляделки аж навькат запроси-

лись от крайнего удивления. — Из-за какой ишо Маньки?»

«Ну... из-за Васи Антипова девки».

«О, едрёна корень, што даде, то смешня! — продолжал удивляться Власов. — Она-то тут с каково боку?»

«Ну, любя она ему, — пояснил Гришка, — вот, наверно, и приревновал».

«К тебе?!»

«Ну, видать, ко мне, коли дратча полез».

«Ох-ха-ха-ха!! — Федыка со смеху покатился. — Он сдурел, што ли, совсем, Палуша-то? Маньке-то Антиповой сколько?»

«Да мало ей, мало, — с некоторым раздражением ответил Гришка. — Шестнадцать только нониче исполнилось».

«А тебе? — уставился на друга Федыка. — Тебе сколько?»

«Сам будто бы не знаешь, — с тем же раздражением отозвался Гришка. — Вот что, Федюха, — добавил, присаживаясь, — давай-ко мы про это боле не будём. Я на Палушу не в обиде, я, если хочешь знать, ево даже уважаю за это. Сдачу он получил, а с Манькой мы и виделись-то всего раз, да и то мало. А Палуша это случайно приглядел и вот пояснил севодня что к чему».

«Чево пояснил?» — не понял Федыка.

«Ну, штобы я, говорит, и близко к ей не подходил».

«А ты?»

«Да я и не думал про это, — развёл руками Гришка. — Манька-то в моей памяти всё ишо соплюха».

«Ну, вообще-то она уж не соплюха нонича, — задумчиво проговорил Фёдор. — Баская девка сделалась, но нашово-то чуть не в половину ведь моложе!»

«Дак вот и я про то жо! — воскликнул Гришка. — Втолковывал этому Палуше, втолковывал, а он всё своё: я, говорит, видел, как вы там, у родника, любезничали. А чево мы любезничали-то? Чево любезничали? Здравствуйте да до свиданья — и всё! А он мне в ухо...»

«А ты?»

«Ну и я в ухо!.. Думал, что на этом и разойдёмся, а Палуша как разъярился, да и на меня. Прямо как коршун накинуся! И вёрток же, шельма! Не ухватить никак. А то бы подмял ево да подержал на лопатках-то — живо бы утих! Дак нет же, извертелся весь... Упрел я, как картовина, пока его прищучил».

«Да если бы только упрел...» — многозначительно проговорил Федыка, глядя, как его друг отмывает следы крови с лица и с рук.

В доме опять звонко заиграла гармонь, раздалось бабье уханье — веселье продолжалось.

«Пойдём, Гришаня! — предложил, поднимаясь, Власов. — Севодня ведь праздник большой и Ваську провожаем».

«Нет, Федюха, — возразил ему Демидов. — Ты не обижайся, но я не пойду. Сам знаешь: за што бы на пирушке ни подрался, а за столом уж после не кажись».

«Завтра-то придёшь ли? — согласившись, спросил Федыка. — Ваську завтра отправляем».

«Завтра приду», — отозвался Григорий.

— 4 —

Утро развиднелось пасмурное. Временами пробрызгивал дождик, грянувший ещё с вечера обычной для Ильина дня грозой, потягивал свеженький ветерок. Гришка наскоро срядился и, поёживаясь от утренней прохлады, побежал к Власовым. У Федыкиного дома уже стояла запряжённая в дрожки кобыла, поблизости колготилось несколько человек. Провожать Ваську в солдаты пришла только близкая родня да большие друзья с подругами. Проводы были недолгими. Собрали котомочку с хлебом да провиантом на дорогу, кинули в дрожки пиджачок-визитку, чтобы не озябнуть, и стали прощаться. Обошёл Васька всю родню, собравши добрые слова при этом и крепкие объятия, попрощался с ровесниками своими, наказав им не скучать без него, и повернулся ко крыльцу. А на нём уж к той поре стояли родители и мать, как водится, с иконой. Поклонился им Васька поясно и поблагодарил душевно за то, что вырастили в здравии да ума-разума дали в достатке. Всхлинула мать и первой спустилась на нижнюю ступеньку крыльца.

«Дитятко ты моё сердешное! — заплакав, проговорила она и трижды перекрестила сына. — Храни тебя Господь от беды и пули. Помогни, Господи, службу отслужить и домы благополучно воротиться. Господи, помогни! Господи, помогни! — мать протянула сыну икону, и тот, нагнувшись, поцеловал образок. — Счастливо тебе, Васенька!» — шагнув уж совсем на землю, добавила мать и, обвив сына руками за шею, заплакала в голос.

Как-то никто её сразу не остановил в этом порыве чувств, и, попав под их власть, не выдержал и Васька. Покатились и по его щекам неожиданные слезинки, и, лишь увидев их, в дело вмешался отец.

«Ну, будет тебе, мать, будет, — спустился и он с крыльца. — Не навек ведь расстанемся».

«Не плачь, мама, — поддержал отца и Васька. — Татя верно говорит: не навек я ухожу, а в солдаты. И войны нет; срок пройдёт — и вернусь».

«Да я ничево, Васенька, ничево, — тихонько всхлипывая, соглашалась мать. — Такая уж наша доля материнская — сыновьям дорогу слезами омыть, чтоб та дорога слаще была да легче. Уж так от веку повелось», — она прижалась головой к груди сына и тихонько гладила его по плечам, не переставая кукситься.

«Ну, Васька, долгие проводы — лишние слёзы, — взял дело на себя Захар Петрович. — Всё тебе вчерась было сказано, служи ладом, а мы тебя дожидаться будем, — отец трижды расцеловал сына и крепко обнял за плечи. — Федька, трогай!» — крикнул он Федьке, увидев, что Васька залез на дрожки.

«Ва-а-асенька-а-а!!» — рванулась вслед за отъезжающей повозкой Степанида.

«Федька, понюжай!» — перекрыл всё грозный бас Захара Петровича.

И загремели по дороге лёгкие дрожки, стремительно унося от отчего дома родную кровиночку не на мирную службу, а прямо на войну, о которой никто ещё из провожающих не знал, но которая грохотала уже на земле третий день.

Глава третья

— 1 —

Пасмурное серое утро не обещало дню тепла. Было ещё довольно рано, но деревня, привыкшая за сенокос к страдному порядку, уже была на ногах. В поскотину спустилось разномастное стадо, беспокойным табунком колесили по теледнику овцы с козами, повсю порхались по дворам курицы, добывая себе завтрак. Над печными трубами вился лёгкий дымок, извещающий всякого прохожего, что хозяйка на ногах, и только старые да малые обитатели Потылихи ещё никак себя не обозначили. Вторые в эту пору ещё спали, а старики хоть и встали по давней привычке наравне со всеми, но вылезать на улицу, да ещё в столь неласковую погоду, не спешили.

Гришка завернул на пустынную в этот час улку и тут же чуть не столкнулся с Маней Антиповой. Она всегда в эту пору ходила на родник за водой, потому что отец её — Вася Антипов, первый из всей Уйдоме плотник, — никакой другой воды, кроме родниковой, признавать не желал, а стоялую в избе с вечера в самовар не заливал, считая её мёртвой. Гришка еле успел отскочить в сторону, чтоб не столкнуться, а Маня, как будто заранее зная о столь неожиданной встрече, мягко улыбнулась и невозмутимо продолжила путь.

«Здравствуй, Григорий Прохорович!» — проговорила она, прежде чем свернуть за угол на тропинку к роднику, и Гришка приготовился к такому же весёлому задорному диалогу, какой был у них в день первой встречи. Но Маня даже не замедлила шаги. Она перелезла через изгородь, отделявшую улку от тропинки, и так же легко зашагала под угол. Гришка стоял не двигаясь, провожая её глазами и ожидая, что девушка оглянется на него. Ничуть: всё та же лёгкая походка быстро скрыла Маню из Гришкиных глаз.

«Вот шельма!» — опять пришло ему в голову. Не думал он о Мане никогда, мала она слишком была, когда он рос, да и сейчас была моложе на 12 лет, но события последних дней, особенно вчерашняя стычка с Палушей, заставили его совсем по-другому посмотреть на девушку. «А ведь и вправду баская девка. Уж соплюхой теперь никак не назовёшь». Он медленно брёл по улке по направлению к дому и пытался понять, чем таким особенным Маня зацепила его уже второй раз подряд. В первую встречу он не придавал этому особенного значения, теперь же оставить незамеченным этого внутреннего ощущения растревоженности было никак нельзя.

— 2 —

В доме Демидовых все были на ногах. Даже малыши. Все чего-то копошились и куда-то собирались, а куда — отгороженный ото всех вчерашними приключениями и сегодняшним ранним подъёмом Гришка не знал...

«Гришка! — крикнул сыну отец. — Сегодня все идём в лес. Бабы да робята с дядюшкой — по ягоды, а мы с тобой репны ямы изладим... Топор себе пригляди, какой погленитча, сичас поедим да и пойдём»...

В избе мать с Линой укладывали хлеб в узелки и подбирали корзинки, тётушка Нино давала последние наказы Соне, которая оставалась домовничать, и только Илейка с Александром сидели смиреннько на лавке, судя по всему, уже готовые к выходу.

«За Курженьгу далёко не ходите, — напутствовал жену появившийся в избе хозя-

ин, — на угор подыметесь и сразу налево. Дальше там затёски есть — Олька знает. По им до болота дойдите, а там, по закрайкам-то, и ягоды».

«Нету там, поди-ко, ничево, — вступил в разговор зашедший в избу Олька. — Не одни мы про это место знаем — выбрали».

«А коли выбрали, дак за болото идите, — предложил Прохор Алексеевич. — Там-то вернак есть».

«Што ты, батько! За болото-то страсть!» — вставилась в разговор Пелагея.

«Ну, какая то ишо страсть!» — резко возразил хозяин.

«Как ни страсть. Болото ведь. Ускочишь — и не выползти».

«Не ускочишь! Всё лето сушь стоит, на болоте-то, поди, и лапти не замочишь, а не то што ускочишь».

«А мидьвиди?! На той-то стороне век свой мидьвиди не переводились».

«А Олька-то на што?»

«Олька-то не мидьвидь», — возразила Пелагея.

«Не мидьвидь, да мужик! — жёстко гнул своё Прохор. — И с ружьём».

«У меня патронов нет заряженных», — вклинился Олька.

«Берданку мою возьми».

«На кой она мне болисть, берданка-то? Таскотня одна».

«Возьми, возьми. Там, по заболотью-то, титерь много — можот, и тебе попадёт».

«Не спелы ведь ишо...» — возразил Олька.

«Титеря-то ведь не рябок. Хоть и не спела, да не мене большой курицы потянет».

«Жалко малиньких-то...»

«А ты ништо и не пехаёт — в севогодков-то палить. Там и матёрых сколько хошь, а против их берданка в самый раз тебе и будёт».

«Ладно, возьму», — нехотя согласился Олька.

«Взадь пойдите за Курженьгу — киньги мои посмотри».

«А где оне?»

«Да там, в первом носке повыше перехода. Часом мы с Гришкой с ямой-то управимся, можот, и некогда уж будёт, а проверить — край надо: рыба пропадёт, коли пала. Тибе-то всё равно ведь по пути»...

— 3 —

Из Потылихи дорога в лес одна: что в поскотину к коровам, что к репным ямам, что по грибы да ягоды — всё улкой да под угор. Лес-то в одну сторону. А во все остальные либо полосы хлебные, либо другие деревни по угорам прилепились. Какое-то время вся компания Демидовых дружной кучкой спускалась с угора. Ещё сколько-то шли вместе начавшимся лесом до первого ложка, а уж дальше путь у каждого был свой: бабам да робятам во главе с дядюшкой Олькой за ложок да в лес дальше, а Прохору Алексеевичу с Гришкой тут, на берегу ложка, и предстояла работа.

Репные ямы — изобретение древнее. Раньше — в бескартовную пору — загружали в них репу да галанку на всю зиму, до самой весны, чтоб овощ сохранялся лучше. Оттого их репными и прозвали. В последнее время, когда картошка оттяпала-таки на деревенских огородах свой немалый пай, стали в эти ямы загружать и её, потому что все увидели в новом овоще пользу немалую и плодovitость. Особенно если посажено по прошлогоднему навозу, коего во всяком хозяйстве было не меряно — не ленится только вывозить на огородец. Название же ям — репные — так и не изменилось, хотя и самой-то репы теперь в ямах осталось с гулькин нос по сравнению с картовью. Сусе-чишко какой разве — и всё. Но, в конце концов, не в названии дело, а в предназначении. А оно у ямы одно: сохранить овощ зимой в свежести. Чтoб не извял, не изрос, как в тёплом подполье, а с первыми оттепелями порадовал хозяина ядрёной крепостью и отменным вкусом.

Вот для устройства таких сооружений и присмотрели сельчане высокий крутой берег того самого ложка, куда пришли Гришка с отцом, и уж много лет место это с пользой для себя использовали. Во-первых, круто — значит сухо, так как до воды далеко. Во-вторых, песочек — значит копать легко. Опять же не промёрзнет шибко, как зима ударит. Вся задача — стены. Но и это не задача, если шире посмотреть; лесу-то вокруг сколько хочешь! И какого хочешь. Хоть из жердя загород делай, хоть из брёвен сруб руби — твоё дело, никто не унимает. Сгнило? Поправь своевременно — руки-то есть. Вот именно такую задачу — поправить яму — и предстояло решить Прохору Алексеевичу с Гришкой.

«Узнаёшь?» — коротко бросил Прохор сыну, когда они подошли к песчаному холмику на обрыве.

«Как же, — буркнул Гришка, — сколько было ползано».

«Вот и теперь ползи. Ты всё же помоложе, да и половчей, поди».

Гришка скинул котомку с плеч и нырнул в лаз. Внутри было сумрачно и прохлад-

но, однако сырость за лето ушла вся. Глаза скоро привыкли к полумраку, и всё стало можно различить.

«Я уж тут было сползал без тебя, — заговорил сверху Прохор Алексеевич, — и решил, что большой работы в севогодный год не надо делать. Стены — сам видишь — не изопрели, и кровля простоит, а вот стояки да перегородки надо поизладить».

Гришка повнимательнее пригляделся к стойкам, подпиравшим кровлю, и сразу заметил, что дерево порядочно истрябло. Местами его покрывала плесень, местами из-под пальцев сыпалась труха. Не лучше были и перегородки, сделанные из тонких жердей, а вот стены выглядели явно свежее.

«Я тут по весне кряжиков подзаготовил, — продолжал сверху отец, — за лето-то, поди-ко, хорошо просохли. Жердья подрубил — так что материал есть, перетаскать только надо; выползай дак и зачнём».

Гришка вылез наверх, и они оба направились вниз по логу в густой ельник. Там, под прикрытием раскидистых лап, стояли несколько окорённых кряжиков, прислонённых к дереву, а чуть поодаль, тоже под естественной крышей, — шалашик свежих жердей.

«Вот это всё сейчас перетаскаем — и за дело, — объявил Прохор Алексеевич. — Тут недалеко, я думаю — не в тягость нам».

Они споро взялись за работу, и скоро вокруг ямы звонко застучали топоры. Гришка в последнее время почти не держал в руках топора — весь последний сезон бурлачил на реке — и теперь эта работа была ему явно в охотку. Топор так и плясал в его руках, как живой, смолистым дождём разлетались вокруг него ядрёные щепки, и, входя в раж, Гришка всё сильнее и сильнее вкладывался в удар. Чтобы не на три раза жердину, не на два, а может, и на раз перерубить.

«Смотри, не обсекись!» — предостерегающе напомнил отец, заметивший, как разошёлся сын.

«Не обсекусь, татя! Не беспокойся!»

«Да как не беспокоитча-то? Эвон как размахался».

«Это я от радости», — пояснил Гришка.

«В чём радость-то?»

«А вот не поверишь, татя, в том и радость, что топор в руки взял да помахал от души!»

«Стосконулся, стало быть, по топору-то?»

«Стосконулся, татя, стосконулся. И по дому нашему стосконулся, и по работе деревенской».

«Остынь маленько, — откладывая инструмент в сторону, предложил Прохор Алексеевич. — Эвон намахал-то сколь! Рубаха-то, поди, мокрёхонька? Пообсохни малость, — они устроились на приготовленные к спуску в яму кряжики и какое-то время посидели молча. — Я тебя, Гришка, всё спросить хочу, — спустя некоторое время заговорил отец, — што у тебя нонича на уме? Нагулялся ли, нет ли ишо — скажи как есть. Мне охота правду знать».

«Коротко сказать не могу, татя, а чтобы точно высказать, что на душе есть — слова не подберу».

«Ну, да ведь не на заседании казённом — слова-то подбирать, а с родным отцом говорить; што ни скажешь — то и ладно».

«Да кабы так-то, — возразил Гришка. — Эт ведь не девке уши конопатить: што ни сбрехни — той всё и ладно, лишь бы на слух любо. Тут как на исповеди, весь высветиться должен. Дочиста чтобы».

«Ну, ладно тебе... свои ведь люди, ужто не сговоримся...»

«Выходился я, наверно, татя, — начал Гришка. — Вот ковды уходил из дому, думал — век свой проброжу. Нигде не сиделось подолгу, всё куда-то тянуло. А за последний год такая што-то тоска взяла по дому — страх просто. То ли от того, што работа тоскливая досталась — лямку тянуть, то ли ишо отчево — сам не знаю. Но только до того мне домой захотелось, што еле сезон отробил. А дале уж пешком, да чуть ли не круглы сутки в дороге... Вот ты у меня сейчас спросил: што у меня на уме? А я и не знаю, што тебе ответить, — порывисто вдруг повернулся к отцу Гришка. — Эти месяцы последние только одно на уме и было: домой, домой, домой — и всё. А дошёл — и в душе, как в пустой бочке; звон один — и боле ничего».

«Ну, это хорошо, — подхватил монолог сына отец. — Это даже очень хорошо».

«Чево ж хорошево-то?»

«То и хорошо, што звон, — задумчиво продолжил свою мысль Прохор Алексеевич, — сору, значит, в ей нету. Ковды в душе сору много накопится, она уж не зазвенит. И первым делом ие вычистить да вымыть надо, для чево-то доброво штоб место отыскалось. А ты вот говоришь — звенит. Знать, вычистил ты ие — душу свою. До звона уж вычистил. А сколько сору было там, в твоей душе, ты знаёшь? — Гришка опустил

голову и молчал. — Вот то-то што! — понимающе заключил отец. — К тебе ведь с добрым-то симём и подступиться было нельзя до той поры. Посеять некуда — всё одно не взойдёт! А ежели и прорастёт какое, всё равно чертополох душевный твой ево забьёт. Я уж на тебе креста чуть было не поставил: ну-кося, 25 годов парню, а в голове ветер! Али я не так говрю? — Гришка продолжал сидеть с поникшей головой и молча кивал отцу. — Вот я и радуюсь, что в душе твоей, как в пустой бочке! И про звон ты хорошо сказал: знать, вызрела твоя душа для доброво, коли звенит... Так што, Гришка, у тебя топерь навроде как рождение второе состоялось. И ежели в первый раз ты несмышлёнышем родился, а потому собою управлять никак не мог, то топерича всё в твоих руках. И сила есть, и хватка, да и ум топерь уж, слава Богу, кабыть тоже — вон как рассуждать-то стал. И повидал ты на веку своём немало; топерь уж как править собой будёшь — так и пойдёшь».

«Я, татя, пока сам ишо не знаю точно, как именно надо править... Верно ты сказал: ветер до сей поры моей жизнью правил; куда дул — туда и несло. А теперь вот вроде как на землю встал, уж не шатаёт, как бывало, а чево делать? Я вообще-то о своём хозяйстве думку думаю...»

«Самое время», — одобряюще подхватил отец.

«Только вот что и как — не знаю. Умом-то понимаю, что если хозяйство, значит, в первую очередь — дом! В доме чтобы хозяйка. Детишки само собой... Опять же скотина чтобы всякая, вплоть до кошки с собакой. Огородец чтобы... покосы...»

Гришка уставился взглядом в какую-то, одному ему видимую, далёкую кочку и ровно бы читал с неё всю программу своей жизни, кем-то там написанную, до того гладко и складно выливались из него одна за другой мысли-слова. Прохор Алексеевич сидел рядом и боялся даже дышать, чтобы не спугнуть ничем рассуждения сына. «Господи ты боже мой! — чуть не прослезился он в душе. — Сколько же я ждал услышать ето всё?! — думал он, опасаясь выдать свои переживания. — Матерь божья, пресвятая богородица, благодарю тебя, што сына моего на путь истинный наставила! Первенца моего, надёжу мою...» Он готов был уже хоть сейчас отбивать поклоны и креститься, но сдерживал себя и не давал полной воли чувствам, чтобы, не дай Бог, чего-нибудь не испортить в настроении Гришки.

«Это ты всё хорошо говоришь, Гришенька, — растроганно откликнулся он на рассуждения сына, — и про хозяйку, и про детишек — это всё житейское. И как это всё изладить — я тебе и подскажу, и пособлю. Ты только мне скажи: есть ли у тебя хто на примете в хозяйки-то?»

Гришка замешкался с ответом, и Прохор Алексеевич внутренне вздрогнул: неуж чего опять испортил в этом хрупком ещё Гришкином душевном мире? Но у того, видать, ростки нового уже крепкие оказались, и просто так легко их растоптать уж не удалось бы.

«Манька Антипова!» — вдруг неожиданно выдохнул сын.

«Чево-о-о-о? — округлил глаза Прохор Алексеевич. — Какая Манька Антипова?»

«Одна у нас в деревне Манька Антипова», — эхом знакомых, слышанных у родника слов, отозвался сын.

«Да ты, Гришка, с ума-то не сошёл ли? — переполошился отец. — Маньке-то Антиповой сколь нонича годов-то?»

«Шестнадцать!» — решительно ответил Григорий.

«Дак разве тебе такая соплюха надо?»

«И не соплюха она, татя! — вдруг резко повернулся к отцу Григорий. — Если хочешь знать, она баской девкой стала, — запальчиво продолжил он, — и она мне... любá!»

«Люба-а-а-а?! — протянул потрясённый отец. — Это как?»

«Ну, как, как... — загорячился сын, — ты что, татя, не знаешь, что ли, как девка парню любá бывает?»

«Да... да ты, сучий сын, ковды ж это успел-то? — воскликнул с негодованием Прохор Алексеевич. — Третий день ведь только как домой-то воротился!»

«Да ничего я не успел, татя, — раздражённо отозвался Григорий и отвернулся. Помолчали. — Ты ни на чево худое не подумай, татя, — поуспокоившись, продолжил Гришка. — Это раньше для меня девки были всё равно што для кота кошки: котора замурчала попушше, с той и тетешкался до той поры, покуда какая-нибудь другая дорогу не перебежала».

«А топерь чево?»

«А топеря вот третёводне увидел Маньку у колоды, ковды ишо только домой шёл, она всево-то только на меня лишь глянула, а меня как будто бы навывлет прострелило!.. Я ишо подумал было, што она, поди-кося, ворожить за эти годы где-то научилась, коли глазишшы будто ружья али пушки, а она ушаты подхватила — и домой!» — Григорий снова затих, ожидая реакции отца.

«Ну, ты как-то договаривай, коль начал», — подтолкнул его отец.

«И вот почувал я сичас после всево этово, татя, што навек она в меня вселилась — Манька эта! Вот прямо вошла в душу, будто в свою избу, и там захозяйничала! И во-круг всё будто бы в тумане стало у меня: никово, окромя её, не вижу! Ни девки ни одной, ни бабы даже! Только одна Маня изо всех живущих и осталась на виду. Вот это вот сичас и окончательно дошло до меня, как мы с тобой разговорились».

«Ну, я не знаю! — попытался высказать свои резоны Прохор Алексеевич. — Я не знаю, Гришка, тут ты сам смотри. Ведь девок-то в деревне нынче сколько хошь и каких хошь. Ты, парень, тут подумай, ведь тебе всю жизнь ишо прожить надо, а с кем попало — это худо».

«Да думаю я, татя, думаю, — досадливо отозвался сын. — Думаешь, это я уж всё решил? Нет, это у меня только вот сичас в голову пришло, как ты спросил — есть ли у меня кто на примете в хозяйки-то дома».

Гришка опустил голову к разложенным на коленях рукам и умолк. Прохор Алексеевич поднялся со своего места и размял затёкшие от сидения ноги. Услышанное ошеломило, мысли смешались, слова не находились... Он пристально посмотрел на сына сверху вниз, на его сторбленную фигуру, и ему вдруг стало жалко его.

«Ладно, Гришка. Ето ни одново дня дело и ни севодня ево делать. Лезь-ко лучше в яму, да давай доделывать пока не задожжило, — Григорий встал и молча потянулся за топором. — Сообразишь там, в яме-то, чево к чему? — скорей для вида, чем сомневаясь, спросил отец. — А то давай я поползу, ты подавать станешь».

«Не малинкой, соображу», — угрюмо отозвался сын и стал спускаться вниз.

Они ещё долго возились на крутом берегу ложка, обмениваясь короткими деловыми репликами, пока, наконец, старые стойки не были заменены на новые, а обветшалые сусеки не забелели свежими перегорождками. Пока вся полуизгнившая начинка ямы не была тщательно сожжена на тут же разведённом костре, а взъерошенная во время работы земля, закрывавшая перекрытие, не выровнена до первоначального состояния.

«Всё, Гришка, шабаш! — подвёл итог отец. — Топеря только крышку подладить маленько да соломы свежей подвезти, и можно загружать картовь хоть завтра. Но ето уж потом, как отожемся, — они собрали инструмент, котомку, огляделись ещё раз — всё ли в порядке — и спустились в ложок. — А што до твоих задумок, Гришка, — выходя на дорогу, ведущую к дому, вернулся вдруг к прерванному разговору Прохор Алексеевич, — то я тебе вот што скажу: на избу лесу где взять — я уж приглядел. Далеконько, правда, но ельник там знатный!»

«Где это?» — поинтересовался сын.

«А в Заболотье! Отсель вёрст с десять набежит, далёко бы возить, но ельник тово стоит».

Узкая тропинка кончилась, отец с сыном вышли на езжалую дорогу, и уж более ничего не мешало их разговору.

«В Заболотье-то попадать ведь раньше худо было».

«И сичас не лучше, — согласился Прохор Алексеевич, — но сам жо ведь ты знаёшь, что от веку эдак было с заготовкой леса на избу, што ни на чево внимания никто не обращал из уйдомцев — ни на даль, ни на попажу — лишь бы лес был не мяндовый. А што до попажи неловкой, то гать-то там на волоке через болото и сичас осталась».

«А лес не мяндовый?»

«А лес не мяндовый! — эхом откликнулся Прохор Алексеевич. — Ёлки матерушшы и не сбежисты. Уж по три-то бревна на сруб из каждой выйдёт да ишо и на подпоры да на слегу разные останитча».

«А с попажей-то как жо?» — продолжал выражать опасения Гришка.

«Ну, мы рубить-то ведь не завтра побежим, — аргументировал свою позицию отец. — Как приморозит — уж товды, коли не шибко западёт».

«А ежли западёт?»

«А ежли западёт — в болото уж не суйся. Сам-от, можот, и пройдёшь, а лошадей уходишь — вязко. Оттово-то и стоит веретья та уж сколь годов, што до ие попажа — не дай Господи!»

«А как тогда?»

«А товды мороза надо настояшшово дождатъча, штоб и болото одеревенело даже и под снегом, — продолжал делиться задумками Прохор Алексеевич. — Уж после Рождества али Крещенья даже только будет и возможность там рубить, но у меня другая веретья на примете есть. Там лес не так хрушкой, но тожо крепкой. И уж недалёко».

«Сколь недалёко-то?»

«Ты плотницкой-от бор помнишь?»

«За Курженьгой-то который?»

«За Курженьгой».

«Помню, конечно. Там ишо Федькиново тества чуть лисиной не зашибло».

«Вот-вот, — подтвердил отец. — Дак ето на самом берегу, считай. Версты четыре... А ежели подале в лес маленько, да по Курженьеге-то кверху — там тожо лес нарос хорошой. Только сосняк».

«А што, сосняк-от разе хуже?»

«Да не хуже он так-то бы, — раздумчиво проговорил Прохор Алексеевич, — только мне ёлка как-то любяя. Наш дом из ёлки срублен, и тебе я потому жо ёлку заприметил. Кабы троём рубить да на трёх лошадях возить — скоро нарубили бы», — старший Демидов замолчал на какое-то время, уворачиваясь от веток олёшника да ивняка, пытавшихся заполнить дорогу на выходе из леса, и довольно скоро отец с сыном выбрались на опушку, с которой открывался вид на Потылиху снизу, из-под угора.

«Посмотри-кося, татя: кабыть с угора-то бежит кто-то», — прищуриваясь, показал Григорий рукой на улку. По ней действительно быстро бежала высокая стройная девушка, высоко подбрав подол путающегося под ногами платья.

«Да ведь ето ж Сонька наша», — приглядевшись, подтвердил Прохор Алексеевич.

«Уж не случилось ли чево? Што-то шибко ходко бежит-то», — встревожился Григорий. Они замерли в ожидании, и через несколько мгновений запыхавшаяся Гришкина сестрёнка остановилась возле них.

«Што, Сонюшка?» — вопросительно глянул на неё Гришкин отец.

«Беда, дядюшка! — с трудом выговаривая слова, произнесла запыхавшаяся девушка. — Война с германцами!.. Урядник из волости приехал, всех в солдаты забирают...»

— 4 —

Церковный двор не смог вместить всех желающих проводить земляков на войну. Никого во всей Уйдоме не обошло свалившееся лихо; ни один род, ни один дом. У кого-то сына забирали, у кого-то мужа али иного родственника, и потому общая беда собрала всех. Даже братья Отрохичи — беспробудные пьяницы и лентяи, надоевшие своими безобразиями всем уйдомцам, — тут были. Двоих старших-то эта участь — идти на войну, — правда, не касалась, а вот младший — Тимоха — должен был разделить тяжкий крест наравне с другими призывниками.

Толпа выплеснулась за церковную ограду и настороженно приглушённо гудела, будто пчёлы перед сном. Стояли не тесно, а отдельными кучками — родами. Все напряженно ждали. Захар Петрович Власов на правах сельского старосты вместе с прибывшим урядником обходил сельчан, проверяя списки мобилизованных. Забирали порядно, но не всех; с каждого двора по одному-два мужика из числа молодых и годных.

Гришка Демидов в это число не попадал. Сызмалетства парень худо видел. То ли после простуды в ребячестве на глаза отдачу дало, то ли с рождения был в зрении дефект, а только заметили Гришкины родители, а после них уж и сам Гришка, что не видит он ничего, если далеко. На близком расстоянии всё может различать, а вот чем дальше — тем хуже. Как такого в солдаты? И хоть силён Гришка, и ловок, и никакого другого изъяну в нём не замечалось, а этот — со зрением — всё и решил.

Не брали и Федьку Власова. Пока. Но у того другая была причина: рано оженился парень и к той поре робят имел уж трое да четвёртого ждал. Кто кормить станет, если что? Да и родители немолоды. А вот Палушу Майкова забирали. И обеих зятьёв Захара Петровича тоже. И Миколу «Котёнка» — гармониста деревенского — да мало ли робят и мужиков должно было оружие в руки взять.

К месту сбора явились все. Захар Петрович, проверив списки, удовлетворенно крикнул: иуды кишкотонкого в деревне не нашлось.

«Мужики! — зычно крикнул он, закончив проверку. — Которы назначены на мобилизацию, все выходите к дороге и становитесь в два ряда подле урядника».

Толпа одновременно задвигалась, загудела, как растревоженный улей, раздался уж и чей-то плач, и к стоящему на дороге уряднику по призыву потянулись кормильцы и землепашцы земли русской, которым выпало теперь стать ещё и защитниками её. С котомками, с узелками, некоторые ещё и с детьми малыми на плечах да с плачущими жёнами под руку, выходили молодые уйдомцы к дороге, которая вела их в неизвестность. На славу, на пулю, кого-то и на смерть — а всех на войну. Суровы и напряженны были их лица, окаменелы уста и невесёлы глаза, а только не нашлось ни одного заездившегося, заелозившего, завихлявшего трусливой паскудной походкой...

Постепенно на дороге образовались две неровные шеренги мобилизованных. Завонии колокола на звоннице, и из церковных ворот вышел батюшка с иконой в руках. Толпа расступилась, пропуская его вперёд, и под тревожный колокольный перезвон степенной походкой подошёл святой отец к началу стоявшего строя. Поклонился в пояс мобилизованным и медленно пошёл вдоль шеренги из конца в конец, держа икону на вытянутых руках. Совсем затихла толпа, соблюдая обряд прощания, и только женский плач, иногда переходящий в тоскливое завывание, да непрерывный звон

колоколов нарушали эту тишину. Батюшка дошёл до конца строя, поворотился кругом и снова в пояс поклонился стоящим в шеренгах.

«Благослови вас Господь на благое дело — защиту отечества нашего, — молвил он, осеняя строй иконой. — Спаси и сохрани здоровье ваше и жизни ваши. Даруй вам силы на битву и победу!» — с этими словами он ещё раз столь же медленно и степенно прошёлся перед мобилизованными, поклонился в пояс, закончив проход, и отшагнул в сторону, давая понять, что церковное напутствие окончено.

«Мобилизованные! Слушай мою команду! — влезая на лошадь, рывкнул урядник. — Нал-л-ле-е-е-еву!! — повинуюсь его приказу, шеренги повернулись, и образовалась узкая, но довольно длинная колонна. — За мной, шаго-о-о-ом... арш!!» — опять скомандовал урядник и тронул поводья.

Разом взвыли бабы, повисая на плечах суженых, заголосили в толпе старухи и девки, некоторые мужики ещё раз порывисто обнялись с сыновьями, и колонна тронулась, разделив всех уйдомцев на мирных и военных. Первым надлежало жать, пахать и сеять да растить детей, а вторым выпала тяжкая доля воевать.

Глава четвёртая

— 1 —

Разом всё в деревне изменилось. Не стало опоры во многих домах, и посумрачнели лица людские, поумерились разговоры, и уж совсем утихло всякое веселье. Заметнее всех, пожалуй, перемерился Захар Власов. Мало того, что ему больше других досталось как старосте — дома обходить да людей оповещать, — так ещё и сам троих проводил: двух зятьёв да и сына родного. Один Федька теперь и остался из мужского-то племени — боле не досталось Степаниде мужиков-то родить. Да и девок всего две.

Упал духом Захар Петрович. На другой день после мобилизации встал совсем разбитый. Степанида всполошилась: уж не заболел ли? Ничего не ответил, бросил только: «Отстань!» — и собрался в лес. У него и раньше так бывало; как душа с копылок сорвётся, лучший способ её выправить — в лес. Одному. А там как-то само собой на место всё вставало. Особенно если дело какое было. А дело было. Давно наметил Захар Петрович веретью на выжигание. И лес там ни то, ни сё, и под лесом ничего толком не возьмёшь, и место косогористое. Опять же помочило после долгого вёдра, и шибко огонь по лесу не пойдёт.

Денёк стоял сумрачный, как и накануне, но дуло. Даже в лесу дуло — видно было, как ёлки шатаются, — а на чистых местах и вовсе посвистывало. Захар Петрович перешёл за Курженьгу, мельком отметив, что вода не поднялась, а значит, дождя было не очень много, и начал подниматься в бор. Не в каждом месте тропки и дорожки лезут круто вверх от Курженьги в бора, есть и отлого, и уступчиво, но на ближней от Уйдомы до Курженьги дороге был подъём в заречный бор особенно крутой. В одном только месте на всей речке, прозванном в народе Ползуньей за то, что заползать на тот крутик, бывало, приходилось и «муконькой», угор был ещё круче, но и той крутизны, которую взялся одолевать Захар, хватало запыхаться не одинова. И сколько уж десятков-сотен раз в угор этот ни выдыхался за свою немалую жизнь Захар, столько же раз эта крутизна и вгоняла невольно в его голову одну и ту же мысль: а что ж тут было раньше? За много веков до него? Ох и воды, поди-ко, было в Курженьге в ту пору! В этих вот высоких крутиках, поди-ко, и бежала. А иначе-то зачем они? А иначе-то откуда болота — и большие же — взялись на самой верхотуре крутиков? Ведь только что с версту — а где-то и всего в сажнях мера — от берега-то отойди, а уж и вязко! А ведь бора какие!.. Знать, глина недалёко от поверхности, коли вода стоит. Знать, вольно разливалась Курженьга когда-то. И на многие вёрсты вдоль себя землю топила. То-то, наверное, и был потоп всемирный. Куда всё нонь девалось? Где теперь эта вода? И что может быть завтра али, скажем, через годик?

Прямо под ноги Захара то там, то сям выкатывались бело-розовые ещё шарики брусники, призывно манили к себе ярко-красные фонарики крупной спелой земляники, развешанные обочь вдоль тропинки, а в мелколесье да подальше, видно было даже издали, проглядывали кустишки с налитой уже черникой. Белый мох, толстым плотным ковром прикрывающий всё вокруг, на сколько хватало глаз, то тут, то там прорезали бархатисто-коричневые шляпки крепышей-боровиков, и, наблюдая всю эту привычную, казалось бы, картину, которой, однако, никогда не устанет удивляться живая человеческая душа, чувствовал Захар Петрович, как эта самая душа, вывихнутая со своего места происшедшими событиями и саднящая от этого, всё более и более на исконное своё место возвращается и саднить перестаёт.

Захар нагнулся в нескольких местах, соблазнённый наиболее крупными земляничинами, и, сорвав их, кинул себе в рот. «Сладкая, однако! — подумал про себя, отмечая её вкус. — Не зря на солнышке-то нынче нежилась столь долго. Пожалуй, надо будет

баб спровадить хоть разок, пусть поберут — зима-то долга, всё сгодится».

Он свернул с дорожки в направлении наиболее крупного боровика и, подойдя, первым делом отгрёб от него толстое моховое покрывало. «А помочило хорошо!» — сделал он вывод, ощутив мох на всю его высоту. Растение только сверху выглядело сухим, будучи уже обдутое разгулявшимся по бору ветерком, а ниже, и особенно у самых корешков, промокшим оно было основательно. «Не загорит, — теребя в пальцах влажные пряди, сделал вывод Захар. — На бор не пойдёт — трава да мох не даст, а верхом — не по ветру. Удачной, однако, выбрался денёк; и дело сделать можно, и урону избежать большого».

Он осторожно обхватил короткую толстую ножку боровика и вывернул его из земли. «Хор-ро-о-ш! — прищёлкнул языком, обрезая конец корешка. — Пожалуй, надо будет поломать, как дело сделаю, грибовенка получится отменная».

Он вернулся на покинутую тропинку, и она довольно скоро закособочилась, забирая влево, постепенно уводя его с просторного чистого бора. Приближалось место намеченного пала. Теперь уж всякой посторонней мысли в голове и вовсе не осталось — дело предстояло непустьшное.

Захар Петрович обошёл ещё раз намеченный участок леса по крайкам, прикинул, шибко ли разбухнет огонь и не много ли сгорит лишнего. Всё складывалось удачно: косогор, повёрнутый на ветер, хорошо обдуло, и лесная подстилка выглядела вполне сухой. В то же время бор оставался сзади, и ветер, дувший в спину, не пустил бы туда огонь. Вперёд, по ветру, на несколько вёрст не росло ничего существенного, а те ельники да березняки, что стояли по дороге, уже на другой год можно было выбрать сухостоем на дрова.

Захар Петрович надрал берёсты с ближайших деревьев и чиркнул спичку. Огонь загорелся весело и сразу, берёста вспыхнула ярко, с треском разбрасывая вокруг себя крупные искры, лесная подстилка под этим огненным дождём тоже не заставила себя долго ждать. Ветер подхватил поднявшее голову пламя, и уже через несколько мгновений оно, глухо взыв, полезло вверх по ближайшим ёлкам. Тревожно застрекотала откуда ни возьмись появившаяся сорока, и вырвавшаяся из малюсенькой спичечной головки ненасытная огненная стихия основательно и безжалостно принялась за свою чёрную работу.

– 2 –

Захар Петрович не спешил возвращаться. Мысли давно улеглись, душа успокоилась, пленённая мудрой природной силой, — всё встало на свои места. Правда, позади полыхал подождённый его руками лес, но Захара Петровича это не беспокоило. Обычное дело: так его предки поступали всегда, так, наверное, будет и впредь.

Он вышел на высокий обрывистый бережок, в который, круто поворачивая, била речная струя, и устроился отдохнуть. Курженьгу он исходил всю сверху донизу и досконально знал её беспокойный характер. Вырос на ней, как и все его односельчане. Речка, казалось, течёт тут вечно, от самого сотворения мира, до того все к ней привыкли. Речка опоясывает всю Уйдому по огромному кругу аж с трёх сторон, прежде чем покинет её и убежит к устью. Переплелась по земле причудливым узором петель да изгибов. Ведь ста сажений не найдёшь прямого русла на всей многовёрстной её длине! Всё в носок да в поворот!

Была Курженьга под стать своему журчащему имени — очень красива! Начало, как считалось, она брала из большущего многовёрстного болота, которое было столь велико, что, как и сама речка, казалось, лежало в окрестностях Уйдомы вечно. Уже в начале поэтому Курженьга бежала порядочным ручейком, а постепенно принимая в себя множество больших и малых родничков да своих сестричек — лесных речушек, всё более и дальше хорошела. То омутком тенистым под кустики спрячется, то перебором каменистым разжурчит, то плёсом широким разольётся. Лопушками изумрудными оденется, пляшущими над водой стрекозами принарядится, разнотравьем пойменным расцветёт — невеста невестой!

И бережки все разные: где-то отлого к самой воде подходят, и пожня широко густой травой раскидывается, а есть и такие, что стеной в речку падают. И на десять сажень в высоту, да и побольше! А по самой кромке наверху — сосны высоченные, как солдаты в почётном карауле во всей красе! Невесту свою от напастей всяческих берегут, красоту её хрупкую первородную охраняют да расцвечивают.

Земля в тех берегах тоже разная выходит: где-то красняк красняком глина — только бы печи из такой бить, а где-то будто бы мешки с мукой, да белой-то, по берегам стоймя расставили. По десять-то сажень в высоту! И уж сколько ручьёв с тех обрывов сбежало, сколько дождей прошумело — стоят, как и стояли, и «мешки с мукой», и стены красные. Нисколько не размывает — во какая крепость!

Из рыбьего населения в речке самый главный — хайруз. Не по нраву, видать, вся-

ким другим рыбам холодные ключи да быстрые струи. Ельчишко реденький, ершишко, пескари — ну что это за рыба, прости Господи! Название одно да баловство ребячье — боле ничего. Как и лёнки размером с палец, которыми Курженьга просто кишит, как лужи высыхающие головастиками лягушачьими в начале лета. А хайруз — эт совсем другое дело! Хайруз — это рыба знатная, на любое дело гожая: хоть на пирог, а хоть в уху — везде в почёте. И наплодилось его в Курженьге несметно; и в самой речке, и в притоках её. Раздолье же; воды, еды, укрытий — всего вдосталь!

И уж как только его уйдомцы не ловят: и киньгами, и недотками, и на простую уду, и лучом по осени — а всё и не убывает рыбки-царицы. А ведь киньги-то местами не по одной паре на версте стоят, русло-то вчистую перегораживают. А недотками-то, бывало, ведь мешки налавливали рыбы-то. По ведру на пай-то доставалось, да и крупной же! Насыплот-то ведь дак как серебра настоящего — до того баская это рыбка! А уха с неё какая... Одного всего, и с четвертушку размером только, брось на маленький чугунок — а навар уж! А ведь лавливали и по две четверти, и по две четверти с вершком. Под три фунта вытягали некоторые хайруза, а по два-то — это в каждой рыбалке на удочку хороший рыболов приносил. И не по одной рыбине. А уж фунтовых-то — и во все до половины улова набиралось. А ведь и выдра же ещё хозяйничает по всей речке, и всё равно всем хватает. Впустую-то не губят, так и хватает.

Даже щука не вытерпела. Зашла как-то в Курженьгу, присмотрелась, пообвыкла к быстрой воде — поглянулось. А чего не жить бы? Вода чиста, места много, и еды всякой сколько хошь. Расплодилась! И тоже немало. В некоторых омутах даже большие хайруза заопасались пристаиваться. По аршину, бывало, в недотку-то попадались рыбины, а лучить по осени пойдёшь, так и поболе бивали. Как брёвна, бывало, на самом-то дне в глубоких ямах стоят! И не боятся же! Знают, шельмы, что не взять их там ничем: глубина-то — руки не встают! Попробуй-ко поуправляй-ко острой в такой воде! Да и просвечивает худо, хоть того больше смолья в «козу» навали. А всё одно добывали; и по полпуда рыбины, хоть и не часто, а ведь бывало и поболе. И вот ведь тоже диво: в озерине выловишь зубастую, а вкус у неё уже не тот. Травой отдаёт. Зато уж из речки если, да ещё и в пироге — пальчики оближешь, до того вкусна речная щучка-то!

Ещё чем глянулась Курженьга уйдомцам, так это своими капризами. Чуть маленько побольше дождика дало — а она уж и надулась. Водой мутной набухла, разговаривать перестала, рыбку всю под бережки да по притокам попрятала. Не трогайте меня, дескать; я сердитая, меня дождик исхлестал! А пройдёт денёк-другой, от силы неделя, попробежитса маленько лесная красавица, успокоится и всё простит. Зажурчит опять ласково по камушкам, заворкует проявившимися переборами — любуйтесь, дескать, моей красотой, люди, да берегите её, коли любя я вам, и пользуйтесь моими богатствами. На всех их хватит, ежели с умом.

А вот как зимой снегу навалит поболе, да весной затает подружнее, так Курженьга разольётся, что и не узнать! Все переходы снесёт, какие стояли, все зароды и копны сенные смочет, если обзевали в зиму увезти! А как успокаиваться станет да в берега входить, глянешь — а берега-то уж не те. Старые замыло, затянуло, озерины застойные в носках да поворотах отгородило, а Курженьга уж новые берега себе примеряет. Ну чем не модница капризная?! Досаждала, конечно, проказница такими выходками людям, но и глянулась тем же. Хоть и поварчивали они на неё — шутка ли, новый переход изладить, не одного дня дело, но всё простили реченьке за её красоту!

А уж невзгоды да печали вымывать из замутнённых людских душ — на это Курженьга была ба-а-ольшая мастерица! Посидишь на крутом её бережочке, поглядишь на быстрые струйки да на шустрых хайрузков, вечную пляску свою в воде и воздухе для поимки пищи исполняющих, и не заметишь, как унесло куда-то всё тревожащее душу, водой быстрой вымыло. И пойдёшь домой успокоенный и смиренный — много ли человеку надо, чтобы душу подлечить; к природе только прикоснуться да довериться, прижавшись к ней вплотную, а там, дальше, уж сама она всё дело сделает. Вот и Захар Петрович любил Курженьгу: за красоту её, за характер беспокойный и за силу целительную.

«Надо киньги посмотреть, — решил он, поднимаясь, — заодно уж». Гроза была, однако, на Илью. Дождь прошёл — рыба могла заходить. Ожидание удачи оправдалось вполне. Уже в первой паре сидело десятка полтора-два хайрузков, а во вторую, наступившую близко к ямам, забрались порядочные две щуки и несколько хайрузов им под стать. Захар Петрович закинул за плечи увесистую котомку с уловом и вскарабкался на крутой берег. Хмурое с утра небо, под стать его настроению, прояснилось, и по макушкам деревьев пробежалось неярким светом закатное уже солнышко.

«Хорошо-то как!» — проговорил про себя Захар и прислушался к наступившей тишине. Ничто, казалось, не нарушало её. Тихие и присмиревшие стояли по кромке неширокой пожни высокие деревья, словно повиняясь перед человеком и всем живым за то, что наводили на округу столько шуму целый день. Выпрямилась прижатая

шалым ветром шуршащая весь день осока вдоль по Курженьге, и лишь листочки на редких осинах по-прежнему, хоть и бесшумно, трепетали в вышине на фоне вечеряющего неба.

Со стороны подождённого участка леса чуть слышно доносился глухой гул, перемежаемый нечастым треском горящих деревьев, изредка долетал тревожный сорочий стрёкот. В воздухе отчётливо слышался запах гари, во всё больше осветляющемся небе, через узкое пространство, прорезанное Курженьгой в лесу, нет-нет, да и проплывали густые клубы дыма. «Эк разгорелось-то, — тревожно подумалось Захару при виде всего этого. — Добро хоть ветер с бору был, дак не пошло куды не надо».

Он ходко зашагал по знакомой дороге домой, и уже через полчаса ноги вынесли его на опушку леса, с которой как на ладони просматривалась по вершине крутого утора вся его деревня снизу вверх. И тут Захар аж вдруг остановился: по гребню утора, на фоне задников домов, густо толпился народ. Люди стояли небольшими тесными кучками, каждая против своего двора, и все, как один, смотрели в сторону леса. «Господи! — мысленно произнёс про себя Захар. — Чево это они? Уж не беда ли какая?»

— 3 —

В избе ревели все. На лавке, прям окна, всхлипывала и куксилась Лукерья, у печи, пытаясь утешить почему-то тут же оказавшуюся Анисью, трясущуюся в крупных рыданиях, тоскливо подвывала Степанида. На другой лавке беззвучно пускала слезу Настенька, во всю голову пастел, качаясь в зыбке, Лукерьян сынишка, и лишь Пантя с Тишкой, присмирив, молчком прижались к материнским бокам.

«Беда ведь у нас, Захарушко! Беда, да и большая! Дом ведь у Анисьи-то сгорел у нашей — ничево не отстояли!» — горестно выдохнула Степанида и, зарыдав, уронила голову на грудь мужа, и как-то разом потемнело у Захара в глазах.

«Господи! — запрокинул он голову назад. — За што? За што девке такая напасть? Ведь только что отстроились, ведь только-только мужика на фронт — и нате!» Скользнул растерянно взглядом помутневшим вдоль по стенам, словно хотел найти опору ослабевшим враз ногам, и вдруг наткнулся на божницу. Глянул на него из затенённого угла строгий иконный лик, и показалось Власову, что одному ему слышимый голос грозно пробасил: «Не блажи!» Вздрогнул Захар Петрович, поглядел повнимательнее на икону, однако лик, изображённый на ней, оставался всё так же строг, и теперь уже перст Господень, поднятый вверх, назидательно пригрозил: «Вокруг посмотри! На дела свои!»

«Какие дела? — вступил Власов в мысленный диалог. — Ничего худово за собой не ведаю». — «А лес?!» — ещё более строго спросил голос. «Што — лес? — не сдавался Захар Петрович. — Спокон веку лес жгли. Грузли штобы лучше росли, лоси плодились, дрова опять же... Много ли от тово лесу толку, который я зажэг?» — «Не тебе решать, человек! — громовым раскатом отдалось в мозгу. — Не ты создал — не ты и судья! Сколько там зверья и птицы нонь погинет? А тварей всяких?.. Об этом ты подумал? А то, что бор по твоей вине загорел, это ты помнишь? Тебе грузли дороже... дрова, видишь ли... У-у-у-у!!»

Чёрен был лик Господень, будто потухшая головёшка, раскалённым угольем прожигала душу глаза его, и содрогнулся потрясённый видением человек! «Прости меня, Господи, неразумного! — покаянно промовил про себя Захар. — Прости мою душу грешную, Господи!» — «Не блажи! — всё тем же громовым раскатом прокатилось в мозгу. — Нет тебе прощения! Сотворивший зло против тварей моих живых да будет злом же и наказан через детей твоих!»

Будто молнией осиянной пронзило голову внезапной догадкой, широко раскрытыми глазами посмотрел Власов на дочерей своих, безутешно ревущих на лавке, с опаской покосился на жену — уж не услышали ли? Уж не стали ли свидетелями тайного диалога, в котором только что участвовал хозяин? Уж не поняли ли, что сам он накликал на свой дом беду? «Господи! Да што это я? — опомнился Захар Петрович. — Эдак-то ведь и рехнуться недолго. Экое пригрезилось!..»

«Штешка, уймись! — грозно рявкнул он на жену, лучше всяких утешений прерывая этим криком все бабы слёзы. — Голову уж розломило от вашово вою! Што ривить-то зря; уж всяко как-нибудь отстроимся, дай Бог здоровья, главное, што все живы».

«Да кабы так-то! Да ведь там мать сватья была в дому-то — и сгорела!» — всхлипывая, сообщила Степанида.

«Как это? — охнул Захар. — Как было то, Ониска? — Анисья тихо всхлипывала, закрывая лицо руками, и ничего не отвечала. — Чево молчишь, ковды ты батько спрашиват?» — распаясь, выкрикнул Захар.

«Не тронул бы ты ие сичас, — попробовала остановить мужа Степанида. — Не в себе она».

«Дак ты рассказывай».

«По ягоды оне с утра севодня собрались... людно всех-то, ну и Анисья наша тожо. Матерь-то сватыну попросила подомовничать, а больше-то за печью посмотреть, да и пошли. Взадь-то воротились из лесу-то, а вместо дома одна печь! Как дело было, отчего загорело — как топерь узнаёшь? Можот, она уголь выгребла из печи ненароком да испужалась, можот, голову обнесло али ишо чево — ништо ведь не видал. И помогчи-то бы ведь некому! Народу никово во всей деревне — все по ягоды ушли! Одне старухи да старики и остались».

«Набежали, правда, сказывают, хто поближе-то да и позалевали сколько можно, да только много ли позалеваешь — вёдрами-то да на хорошем ветру? — вступила-таки в разговор, собравшись с силами, Анисья. — Часу не прошло, как стропила провалились!»

«Говрят, всё дочиста сгорело, только печь и устояла, да и та без трубы — своротило будто бы, — тихо добавила Степанида. — И вроде головёшка, говорят, возле печи-то, скрюченная будто бы, — всё, что и осталось от матери-то сватыной».

Молчал Захар, слушая горестное повествование жены и дочери, и чем больше они рассказывали о случившемся несчастье, тем всё более и более улетучивалась безвозвратно та душевная лёгкость, с которой он вышел из лесу, а плечи, будто каменной котомкой, одавливало книзу. Захар Петрович шагнул к лавке и сел рядом с дочерью.

— 4 —

Всю ночь, как жернова на мельнице, ворочались в голове Захара тяжёлые мысли. Васька, проводы... пожар... Анисья... снова Васька... пал, бор загоревший... видение иконное... Несколько раз он забывался коротким беспокойным сном, но скоро просыпался вновь и подолгу таращил глаза в темноту, без толку силясь хоть как-то связать все последние события в одну понятную цепь. Не выходило. Смутная тревога рвала мысли и не давала сосредоточиться. Власов встал и долго ходил по избе из угла в угол. Потом уселся на лавку и, тяжело свесив голову к коленям, попытался разобраться сам в себе. Пустое. Начало светать, а в голове, как после большого угара — тошно и мутно. Выглянуло солнце, и с последней надеждой на душевное просветление бухнулся Захар Петрович перед образами на колени и все, какие знал, молитвы стал читать одну за другой, истово отбивая при этом поклоны до самого пола.

Напрасно. Некоторое просветление, снизошедшее к нему в это время, оказалось коротким и зыбким, как маревом над покосом в жаркий полдень, и исчезло вскорости после того, как Захар Петрович поднялся.

На мосту зашарчало, послышались чьи-то крадущиеся шаги, осторожно открылась дверь, и на пороге появился Фёдка. Он был бос, в одних исподниках.

«Ты мужикам вчерась сказал насчёт могилы?» — спросил отец у сына.

«Говрил. Миколу Гашку сказывал, Ольке Стукову с робятами. Посулились все прийти. И заступы сулились захватить».

«Топоры свои возьмём. Там, в старом натопорнике, выбери которы похуже — кореньё-то рубить не всё ли равно. Я пойду с кобылой обряжусь, а ты давай на дрожки всё укладывай, — Захар Петрович поднялся с лавки и пошёл в садник. — Верёвку, смотри, не забудь, — крикнул он, удаляясь. — Там на мосту на спиче висичча».

«Дак там их две, — напомнил Фёдка. — Котору брать-то?»

«Бери, на всякий случай, обе, — донеслось из садника, а следом: — Фёдка, едрёна корень! А ну иди сюда! — сын поспешил в садник. — Я кому вечер говрил хомут изладить?» — громкий голос отца поверг Фёдку в смятение:

«Не знаю», — простодушно пожал он плечами.

«Ты што, ошалел? — распаялся Захар. — У меня што, окромя тебя, разе ишо какой Фёдка есть? — Фёдор продолжал недоуменно хлопать глазами. Ему ещё не доводилось в своей жизни видеть, чтобы отец так свирепел по пустяку. — Чево молчишь, как куим? Вишь — гуж урвался!»

«Да ничево ты мне не говорил про хомут. Про дрожки наказывал только да мужиков созвать — и всё».

«Неужто позабыл?» — внутренне вздрогнул отец и на мгновение смутился.

«А ты сам не догадался сбрую посмотреть?» — не убавляя баса, рокотал уже через секунду.

«Што ты, татя, да не ты ли мне говрил, штоб я не лез ко сбруе без тебя али без ведома тебя?»

Захар Петрович опять смутился от убедительного отпора сына и снова ненадолго.

«Ну и што, што говрил, — не унимался он, однако. — А ты докуль ходить-то беззаботным будёшь? Робят уж троё вон наделал, а всё за ручку водить надо. Всю жизнь, што ль, эдак прожить ладишь? — Фёдку задела отцова несправедливость, но он счёл за благо промолчать, видя, что тот разошёлся что-то не на шутку. — Часом топерь хомут наладишь! А дело-то стоит».

Подошли мужики. Поздоровались.
«Што это у тебя за беда с утра пораньше, Захар Петрович?» — спросил звонкоголосый непоседливый Микола Горшков.

«Да вот, — досадливо кивая на хомут, ответил Власов, — запрягать срядился, а и не во што».

«А ты не торопись, сосед, — негромкой расстановкой проговорил степенный Олька Стуков. — Время раннее, до кладбища недалеко, мы и пешком дойдём. А ты той порой сбрую и изладишь».

Спокойный, рассудительный тон Ольки благостно подействовал на Власова:

«Ладно, коли так. Ты, Федька, хомут-от сам изладить сможешь?»

«Што я, малинкой, што ли?» — обиженно отозвался Фёдор.

«Товды давай-ко да прймайся-ко за гуж, а я на кладбище с мужиками. Как всё изладишь — приезжай».

Заниматься сбруей самостоятельно Федьке доводилось мало. Несколько лет назад поручен ему был ремонт седёлка, да Федька обмишурился по неопытности, и подругой натёрло кобыле бок до крови. Батько подъярился на него тогда и с той поры к этой работе не допускал. Но Федька всё равно смекал что к чему, наблюдая сыздале, и теперь был спокоен за исход дела. Заботило другое: с чего бы это отец так разошёлся? «Ведь кабы сказал, дак не обидно, — думал он. — А то ж ни слова».

Захар Петрович был радый появлению на свет Федьки, как бывает рад любой мужик-хозяин появлению первенца-сына. Относился к нему со всяческим вниманием и нежностью, на кою был способен, но и не сююкал, как бывает иногда средь баб. Хоть маленько, но всегда выделял от появившихся позднее дочерей, выказывая всем своим отношением, что растёт будущий хозяин. Но и строжил безо всякого спуска, когда этого требовали обстоятельства. Так продолжалось до той поры, покуда не появился Васька. Нельзя сказать, что после этого Федька был как-то обойдён отцовским вниманием, но, хошь не хошь, Васька тоже требовал своё. Вот и делили сыновья не щедрую отцову ласку поровну до самой Федькиной непутёвой, как её называл Захар, женитьбы. Событие это семейное на какое-то время отодвинуло отца от старшего сына и охладило их отношения, за что оба порядочно переживали.

Но время шло, очень скоро невестка Власовых делом доказала своё право на признание, Захар Петрович оттаял душой и простил Федьке его грех. А уж как внуки-то пошли, тут и вовсе всё наладилось у отца с сыном. Васька ещё только рос, а Федька уже был в самой поре, и Захар Петрович с новой силой взялся делать из него хозяина. Федька оказался прилежным и сметливым учеником. Не по годам сметливым. Ему и тридцать не сровнялось, а уж степенности на все пятьдесят! Одного только не доверял ему Захар — кобылу. И никому не доверял. Как и хозяйка корову. Та её считала кормилицей — и по праву, а хозяин — кобылу. Та корову за ушами почёсывала да по шее потрёпывала, а хозяин лошадку свою. Попробовал было Захар Петрович сына к своему сокровищу приблизить, но у того промашка вышла с тем седёлком да подругой, и вот с той поры опять всё только по указке да со спросу.

И вдруг такой взрыв. Да на ровном месте! Федька перетягивал гуж на хомуте и всё сиделся понять, с чего бы это? «Наверно, это пожар на татю повлиял, што он так разъярился», — решил он, завершая работу, и пошёл запрягаться.

— 5 —

Скорбное совместное дело сладилось гладко. Могилу выкопали легко и быстро, в доме сватов всё тоже было готово — не лишними, ох и не лишними оказались в хозяйкином горе три пары умелых рук власовских женщин. За провожатыми тоже дело не стало. Зря опасались Антиповы, что окромя их да Власовых никого не будет. Прав был Кузьма Егорович, не скотина какая-нибудь жизни лишилась — человек, и проводить его тещу в последний путь сошло народу не меньше, чем в обычных похоронах. И сами похороны прошли как обычно: с отпеванием, с прощанием. Гроб только не открывали да крестились чаще, чем всегда.

Захар Петрович заметно помягчел после утренней вспышки напрасного гнева и вёл себя даже маленько виновато по отношению к сыну. Федька заметил это и всё простил отцу, тут же позабыв его несправедную ярость — мало ли бывает с человеком. Тем более, что тот повинился. Пусть и не словом, но по делу это было видно, и Федька принял.

Воротились с кладбища, помянули добрым словом покинувшего грешный мир человека — всё как полагается. А к вечеру уж все Власовы на дрожки да домой. Ну, а дома всё обычным чередом: дела хозяйские, обредня со скотом, да мало ли. Молчали только больше, чем всегда. Даже Пантя с Тишкой в тот день ни разу не разодрались — всё как-то мирно решали. А хозяин так и вовсе ни слова не проронил. Повечеряли. Ко сну стали готовиться. И вдруг стук. Уж на сутемёнках... Ворота отворили — Анисья! В

слезах вся, волосья растрёпаны, без платка.

«Татюшка, родимый!» — припала дочь на отцовскую грудь, и слёзы в два ручья. — Не могу я там, татюшка!»

«Обидел тебя, што ли, хто?» — забеспокоился отец.

«Никто меня, татюшка, не обидел. Все ко мне с добром, а только моченьки моей нет больше остаться тамока!»

«Это ишо пошто?» — нахмурился Захар Петрович.

«Пепел у меня перед глазами, татюшка, так и стоит! — почти кричала Анисья. — И дым в роту, как будто жизнь моя там вся сгорела без остатку».

«Ну, ето ты брось! — всё более хмурясь, урезонивал отец дочь. — Мало ли чево в жизни бывает. Вот Петрушка воротится — и отстроимся».

«Ой, да кабы воротился-то, татюшка!..» — с новой силой зарыдала Анисья.

«Ты што? — уж совсем рассердившись, воскликнул Захар Петрович. — Мужика только ишо проводила, а уж хоронить?!»

«Што ты, татюшка, што ты! Да разе я хороню ково? — горькие слёзы Анисья уж и не вытирала. — Тошно мне только шибко! Моченьки моей нету!»

«Марш домой! — резко скомандовал Захар. — В мужний дом, коль свой сгорел, и там жди!»

«Захар! Опомнись!» — воскликнула Степанида.

«Цыц! — прикрикнул хозяин. — Штобы я больше етого не видел!»

«Татюшка, родимый, не гони! — повалилась к отцу в ноги Анисья. — Я же дочь твоя, и дом мой тут».

«Твой дом там! — резко махнул рукой Захар в сторону Выселок. — У мужа! Взята была честь честью, там и жить должна, коли не гонят».

«Захар, остепенись! — ещё решительнее встряла Степанида. — Ведь это же дочь наша! Кровиночка!»

«Замолчь!! — переходя на крик, остановил её Захар. Заплакали внучата за стеной, переполошённая невестка побежала к ним. — Нету у меня в дому для ие места!» — всё так же яростно рявкнул Захар.

«Как нету? — опять не согласилась Степанида. — А верхна изба на што?»

«А Васька куды?!» — совершенно неожиданно для всех истошно заорал хозяин.

«Дак ведь Васька-то... — ещё на запале, ещё не остынув, успела выкрикнуть в ответ Степанида. Выкрикнула и осеклась вдруг на полуслове, взглянув в перекошенное нечеловеческой мукой лицо мужа. Взглянула и как-то разом всё без слов и поняла. Постояла ещё сколько-то, тяжело дыша, потом нагнулась к плачущей дочери, подняла её за плечи и обняла. — Не плачь, доченька, не плачь! — всхлипнула сама, поглаживая Анисью по спине. — Дитятко ты моё сердешное, горемычное...»

Несколько минут стояли они так, всхлипывая и обнявшись, потом поворотились в одну сторону и медленно пошли со двора.

Вернулась Степанида домой впотьмах. Молча разделась и так же молча заползла в постель. Молчал и Захар. Оба не спали и, наверное, думали об одном и том же.

«Што ты, Захар, так-то? — первой не выдержала Степанида. — Ведь дочи она наша. Сам жо ведь сказал вчерась у сватов, што живёт-де пусть где выберет, а што топерь? Ведь кабы места у нас не было, дак ладно, а то изба ведь целая пустует наверху! Што бы не жить в ей девке-то, пока мужик её воует?»

При последних словах жены Захар Петрович встрепенулся, заворочался беспокойно, помолчал ещё сколько-то и вдруг совершенно неожиданно произнёс:

«С ума, наверно, я сошёл, Стеша. Как Ваську проводили, так затмение как будто на меня нашло какое. Уж который день как маюсь. Севодня вот всю ночь не спал, а утрось Федьку изуел и понапрасну. Топеря вот Анисью... Как помешательство какое-то в мозгах-то у мня сдяялось, как ты про верхну-то избу заговорила. Сама ведь знаёшь, што для Васьки берегли её; как жонится, штоб было перво время где зажитча».

«Дак Васька-то в солдатах...» — вставилась Степанида.

«Да кабы только што в солдатах... на войну ведь он пошёл-то! — Захар Петрович резко умолк и шумно задышал. — Я как про то узнал, што на войну, дак уж не знаю, где за што и ухватиться, штоб ево оборонить-то! Ведь разе жалко мне избы-то на верху? Да для родной-то дочери? А вот втемяшилось в башку, што ежели избу я ту хоть чем-то бы займу, то Ваську вроде как совсем оттолкну! Последней опоры ево лишу. На верную погибель сдам! — Захар Петрович опять умолк и опять часто задышал. — Анисью-то до сватов проводила?» — спросил он, помолчав.

«До сватов», — отозвалась Степанида.

«Это хорошо... — многозначительно проговорил Захар. — Хорошо хоть ты ие подержала в эту пору, — они оба какое-то время полежали молча, каждый думая о своём. — Ты утре сходи к сватам, Стеша, — заговорил после паузы Захар. — Повинись за меня перед Анисьей, растолкуй ей што и как, может, она меня простит».

«Сам бы и сходил», — предложила жена.

«Не смогу, — обречённо отозвался хозяин. — Шибко мне перед ей совестно. Можот, потом ковды. Пусть Анисья приходит, пусть ночует сколько хочет, но не могу я верхну избу ничем занять и никому отдать! Хоть Анисье, хоть кому другому. Последний у меня оберег остался для Васьки — эта изба».

Глава пятая

— 1 —

О том, что попадает он прямо на войну, Васька узнал в тот же день, как они простились с роднёй, а после с Федькой. Уже в волостной управе только и разговоров было, что о начавшейся войне, а назавтрие народу нагнали густо.

«О, Стёпа, глянь-ко, и Васька наш тут! — весело дёрнул свояка за рукав неунывающий Петрушка Антипов. — А мы уж думали: Васька вовсю воюет! Здорово, Васька!»
«Здорово, Петрушка! — обрадовался Васька родственникам. — Здорово, Стёпа!»

Провошались с ними в управе недолго — к ночи ждали парохода. Пересчитали всех поимённо — и на пристань. Пароход огруз до самой ватерлинии, тяжело отвалил от берега, как баржа перегруженная, и зашлёпал колёсами по быстри. Чёрным шарфом на версту потянулась за ним угольная гарь да копоть, и ни разу за всё время, пока ехали, шарф этот от трубы не оторвало. Шуровали кочегары не жалесь; команда была дадена — топливо не берегчи, попусту не приставать...

На третьи сутки добрались до Вологды. Сыро. Ветрено. Нет-нет да и заморосит. Народу на улицах мало. Выгрузили всех, построили, повели к управе. Опять собралось людно, ещё больше, чем на пристани.

«Господа солдаты! — какой-то важный офицерский чин гаркнул на всю площадь. Сделалось тихо. — Его Императорское Величество государь император Николай Второй издал Указ о всеобщей мобилизации на войну с Германией. Согласно этого указу упраздняются военные округа и создаются военные фронты. Вы все отправляетесь на пополнение Северо-Западного фронта. Конечная станция — Витебск. Ежели которые из вас случайно отстанут, должны знать, куда попадать. А которые отстанут да не объявятся, считаются дезертирами и судимы будут военно-полевым судом. Но я надеюсь, среди вас таковых нет и все вы, солдаты армии Его Императорского Величества, исполните свой долг с честью. Обмундирование и оружие все получите на месте. На месте же будут приведены к присяге и новобранцы. Да хранит вас Бог!»

Короткие, хорошо сложенные мысли легко достигали сознания и откладывались в нём накрепко. Но последняя фраза, как последний гвоздь, вбитый по самую шляпку, пронзила всё Васькино существо! Он осторожно огляделся вокруг и вдруг заметил, что почти все, стоявшие подле него, крестятся. Васька торопливо осенил себя крестом и стал ждать, что будет дальше. На смену важному чину вышел моложавый офицер и звонким голосом объявил:

«На станции грузится эшелон, который повезёт вас на фронт. Мене приказано сопровождать вас до места. Времени у нас нет, распределяться по вагонам будем на станции, а потому слушай мою команду: в колонну по ше-е-есть — станови-и-и-ись! — толпа задвигалась, затолкалась, образовались проплешины, тут же заполняемые, и мало-помалу скопление мобилизованных обрело стройность. — Шаго-о-о-ом, арш!!» — отрывисто крикнул офицер.

На станции народу — не пропихнуться! Вот уж не думал Васька, что доведётся ему повидать на своём веку такое чудо — паровоз. Пароход на реке не в диковинку — та же баржа, только с трубой да шуму больше. Но тут... И шумит, и пыхтит, и свистит, а заревел — уши сквозь! Ни дать ни взять — змий книжный, только что огня из пасти нет, да вместо лап — колёса. Одному бы так и подойти-то боязно, ладно хоть свои рядом. Того ведь и гляди, что колесом, как конь копытом, по земле-то бить начнёт — до того застоялся. Васька опасливо покосился на страшилище, извергающее столько шуму на ровном месте, но Петрушка живо растолковал, что так оно и должно быть, чтобы он шипел да пыхтел. Под парами, значит, и, значит, везти готов.

«Но без команды он ни с места, сколько б ни шипел, так что не бойсь, Васюха, не затопчёт!» — смеясь, прихлопнул молодого родственника по плечу немало повидавший Петруша, и Васька, глядя на него, успокоился.

Какие-то военные чины быстро определили, кому где ехать, и Васька с роднёй да ещё с некоторыми уйдомцами скоро оказался на вагонных нарах. Ещё сколько-то времени вдоль вагонов туда-сюда возили большие тележки с мешками и ящиками, какие-то фляги неизвестно с чем. Потом всё стихло. Протяжно-пронзительно заревело пыхтящее страшилище, подпустило дыму, пару, часто-часто запыхтело, поднатужилось, и все почували, как их вагон, а с ним и весь состав, дёрнулся и медленно, как сквозь туман, покатылся вперёд сквозь облака пара.

– 2 –

Без малого полтора миллиона человек имела Россия под ружьём накануне войны, и почти четыре миллиона предстояло ей одеть в шинели за короткий срок. Только сорок дней отведено было ставкой на полное сосредоточение такой солдатской массы на западных границах. И чтобы уж тогда ударить во всеоружии. И понеслись по всем дорогам российским бесчисленные эшелоны в сторону фронта, и повезли в своих теплушках вчерашних рабочих и пахарей. А порой и просто ещё юнцов неопытных.

«Ты, Васька, куда бы хотел попасть служить?» — прервал его раздумья Петрушка.

«А мне бы вот на пушку поглядеть охота, а можот, и пальнуть хоть бы разок».

«У пушки-то, парень, сила-могута нужна! А ты велик ли?»

«А всё одно меня к железу больше тянет. И с деревом глянется возиться, а уж как железо попадёт — тут я сам не свой. Тайна какая-то в ём, што ли, прямо так и притягёт».

«А ты в пулемётчики спросись. Ноне пулемётчики в большом почёте в армии, на них пехоте вся опора».

«А велик ли сам-от пулемёт?»

«Насчёт этово не переживай, — успокоил Петрушка. — И невелик он, и не тяжельше, чем мешок с зерном. И таскают его вдвоём. Ленты, правда, надо ишо таскать впридачу, но всё равно вдвоём».

«Ну, мешок-от с зерном я выздымал».

«Ты чему парня учишь? — возмутился вдруг на свояка Степан. — По пулемёту-то какой огонь в бою? Забыл? И артиллерия старается накрыть, и все остальные — укошат тово часу!»

«А сам-от ты где? — отпарировал Петрушка. — Вас, пушкарей, будто и не стараются накрыть!»

«Меня никто не спрашивал, — буркнул Степан. — Как в солдаты попал — сразу к орудию и определили».

А и совсем не так всё вышло, как судили да гадали они дорогой. Не успели выгрузиться на конечной станции, как уже военные чины звонкими командами живо отобрали себе служивых, и Васька едва успел проститься со своими родственниками, их тут же куда-то увели. Недолго ждать пришлось и новобранцам, скоро оказались они в полевом лагере. Там всем выдали обмундирование, и началось... Стреляй, коли, копай, ползи! С утра до ночи. И никто их ни о чём не спрашивал; все, как один, стали пехотой.

Так продолжалось без малого две недели. Только один раз их построили всех, и высокий чин перед строем объявил, что обе армии их фронта успешно перешли германскую границу и начали победоносное наступление в Восточной Пруссии. Что, в связи с этим, их учёба прекращается, и в скором времени они будут приведены к присяге и отправлены на передовую. И время это не заставило себя ждать. Прошло ещё несколько дней, и Васька в числе других новобранцев оказался на самом правом фланге наступающей на Алленштайн 2-й русской армии генерала Самсонова.

– 3 –

«Откуда родом?»

«От Устюга нас брали».

«От Устюга, говоришь... У нас, кажись, у пулемётчиков был кто-то из устюжских. А ну-ка, пошли, — Васька вскочил на ноги, и они ходко зашагали вдоль линии окопов. — Эй, пулемётчики, — крикнул через какое-то время его долговязый спутник. — Из Устюга у вас есть хто?»

«Есть! — навстречу поднялся здоровый мордастый мужик и протянул Ваське толстую пятерню. — Здорово! Я сам-от вятский, а с Устюга у нас есть один... — он как-то осекся вдруг на полуслове. — Ты только поимей в виду: второго номера убило у ево севодня, шибко он переживает. Так возле пулемёта и остался. Можот, разговришь ево, дак полегчает человеку».

Мордастый хлопнул Ваську по плечу и поманил за собой. Они пошли назад вдоль той же линии окопов, и возле одного из них Васька заметил неподвижно лежащего ничком солдата. Тут же неподалёку стоял пулемёт.

«Арся! — позвал мордастый. Лежащий не пошевелился. — Я тебе земляка привёл, из пополнения, сказывает, будто бы из Устюга был бран. Можот, поговорите пока тихо, — лежащий снова ничего не сказал. — Побудь с им, парень», — шёпотом предложил пулемётчик и ушёл.

Лежащий повернулся и сел. Медленно поднял голову, и чёрной молнией секанул по Ваське острый взгляд его блестящих глаз. Какое-то время они ничего не выражали. Потом во взгляде сквозануло вдруг изумление пополам со страхом, потом глаза эти разом распахнулись во всю ширь, как два чёрных омута, и сидевший проворно вскочил на ноги. Ещё мгновение стоял он, чуть покачиваясь на широко расставленных ногах,

оглядывая новобранца с головы до пят, всё более и более впиваясь взглядом в его расплывающуюся в улыбке физиономию. Наконец, круглое лицо его изумлённо вытянулось, и с губ сорвалось недоверчивое:

«Ниужоли Васька?» — голос, даже заглубивший, Васька узнал бы из сотни, и широко раскинув руки, Власов воскликнул:

«Арся! Демидов!!»

В два прыжка одолели они разделявшее их расстояние и замерли в крепких мужских объятиях.

«Васька! — Демидов вдруг затряса головой на Васькином плече, как маленький ребёнок, а блестящие чёрные глаза его пролились облегчающими слезами. — Проньку убили!»

«Што станёшь делать... — тоном бывалого человека проговорил Васька, — на войне не без этого».

«Мы с ним, считай, всё время вместе были, — горестно продолжал Демидов. — Как я в пулемётную роту попал, так мне его вторым номером и определили. Душа в душу жили, как с братом родным. А вот севодня ево осколком... — Арся умолк на какое-то время, они уселись на землю, и Демидов поведал Ваське, как обстреляла их германская артиллерия и как один осколок снёс его напарнику полголовы. — Я-то к прицелу припал в ту пору, и мне только затылок чиркнуло, а Пронька, как на грех, голову зачем-то выдвинул...» — Арся заскрипел зубами, не договорив, и замолчал, низко опустив голову к поднятым коленям. На пёстрой ленточке заболтался светлый крестик, отделившийся от гимнастёрки, и Ваську шибко подмывало расспросить Арсю про этот крестик...

«Арся... а што это за крестик у тебя такой баской на груди-то?»

«Этот-то? — Арсений взял в пальцы интересовавший Ваську предмет и каким-то ново-незнакомым для Васьки голосом торжественно пояснил: — Это, Васюха, самая дорогая для солдата государева награда! Георгиевский крест называется, или попросту — «Георгий!»

«Ух ты! — воскликнул восхищённый Власов. — Неужто от самово государя?.. А за што?»

«Да было тут у нас недавно... Пластанул по уланам со всей коробки! Аж кожух зашипел... Повалились, как осенней лист!..»

«Неужто так метко попал?»

«Нехитрое дело — со ста аршинов лошадей табун скосить!»

«Как лошадей? — не понял Васька. — Ты жо говорил, што по уланам бил».

«Это только считается, што по уланам, а на самом-то деле — по лошадям. Дело верное; идут сплошняком, считай, все пули в цель! Вот они и летят, уланы-то, на всём скаку, да и через лошадиные головы. И мало какой неувечный-то остаётся. А ежели даже и останется — он без коня уж не вояка. Любой сопляк из винтовки собьёт али штыком заколёт. У уланов ведь вся сила в лошадях да в напоре, а на земле — пехота хозяйка».

«Жалко лошадей-то...»

«Ишо бы не жалко! Я как к прицелу-то припал, дак, веришь, нет, рука вспотела! Кони ведь!! Чем они перед человеком-то провинились? Весь век своей верой и правдой служат! А как увидел, што германцы на всём скаку наших пиками рвать начали на этих конях, — вся жалость пропала! Одно осталось — остановить! — Арсений часто, прерывисто задышал, переживая происшедшее. — Я как первую-то ленту выпустил — там всё смешалось... Наши окрысились, и я успел тут перезарядиться. Пронька — ох и молодец! — ловко помог. А уж вторую-то как очередь я дал — уж тут-то всё! Уланы и вовсе рассыпались: которы назад поворотили, которых наши добили и на угорышек тот скоро поднялись. И окопались там удачно. Уж вечером меня вызвали перед строем и, кабы не твой, говорят, пулемёт — ни хрена бы от всей роты не осталось! Да и батальону бы не сдобровать. А потом уж, через день, вот и «Георгия» дали...»

«Возьми меня к себе, Арся, — неожиданно попросил Васька. — Вместо Проньки...»

«Дак ведь не знаёшь жо ты ничево ишо!»

«А ты покажешь... — возбуждённо заговорил Васька. — Я перейму, перейму, ты не бойся! А вдвоём бы нам и веселей, и легче было — друг дружку поддержали бы».

«Так-то оно так, — задумчиво проговорил Демидов, — да ведь не всему и я хозяин. Есть и командиры же».

«А ты скажи им... што тебе, мол, надо так, скажи, што так для дела лучше, ужто не послушают тебя? Ведь ты жо кавалер теперь Георгиевский!»

«Да послушать-то, наверно, и послушают, — всё ещё как-то неуверенно-раздумчиво проговорил Демидов, — и дело бы нехитрое вообще-то... — и вдруг резко повернулся к Ваське и двумя сверкающими глазами, как острыми гвоздями, прямо в упор: — А не пожалеешь?.. Знаешь, как по пулемёту бьют в бою?» — метали острые иглы чёрные глаза.

«Знаю!.. Рассказывали!..»
«Ладно! Завтра всё решим».

— 4 —

Вопрос о Васькином назначении решился не гладко, но скоро. Васька быстро перебрал нехитрую науку, и Арся с полудня стал показывать уж и свою работу. Как прицел поставить, как пулемётом орудовать.

Через день с самого утра стало в окопах беспокойно. Запостреливала германская артиллерия, и Васька в первый раз в жизни увидел, что это такое — обстрел из пушек. В первый момент хотелось высунуться и рассмотреть получше, как оно выглядит — снаряды рвались вдалеке, — но Арся живо загнул ему голову за бруствер и грозно прошипел:

«Не выкукивай! И нам достанется».

И действительно, вскоре загромыхало совсем близко, и на дно окопа полетели порядочные комья земли вперемешку с камнями. Одним из них Ваське хорошо досталось по спине, и высовываться из окопа сразу пропала всякая охота.

Всё смолкло как-то разом, будто после грозы.

«Ну, Васька, по всему видать, сейчас атака будет!» — объявил Арся и осторожно поднял голову над окопом. Власов сделал то же самое и внимательно поглядел вокруг.

Впереди лежала ровная, немного всхолмлённая местность, то там, то сям утыканная островками кустов вперемешку с невысокими деревьями. За кустами кое-где угадывались какие-то строения, а середь некоторых древесных островков и вовсе виднелись красноватые крыши. Место для атаки — хуже некуда: всё как на ладони. Справа окопная цепь упиралась в довольно порядочный березняк, и оттуда можно было бы ждать подвоха, но за ним — Васька узнал — начинались позиции 1-й русской армии, которая тоже наступала на Алленштайн, но с востока. Возле этого города по замыслу командования обе армии Северо-Западного фронта, наступавшие по сходящимся направлениям, должны были соединиться и довершить разгром германской группировки в Восточной Пруссии. Оставалось совсем чуть-чуть...

«Ну, вот и поднялись... — проговорил вдруг Арся, и в ту же секунду Васька увидел, как на ровном пространстве впереди, будто из-под земли, вырос солдатский частокол и, подгоняемый резкими командами, ходко двинулся вперёд. Захлопали редкие винтовочные выстрелы справа и слева, не причиняя противнику никакого вреда, и Власов вопросительно посмотрел на Арсю. — Далёко! — отвечая на немой вопрос, ответил тот. — Да и идут-то как-то жидко, зря только патроны жечь».

Не знали друзья, что германская лобовая атака — лишь для отвода глаз и что главный сюрприз русским приготовлен совсем другой.

«Арся, смотри-ко! — радостно крикнул Васька и повёл рукой вправо. На опушку леса со стороны позиций 1-й русской армии густо высыпали конники и стремительно полетели вдоль окопов во фланг атакующей пехоте. — Ну, сейчас дадут жару!»

Только несколько мгновений наблюдал за скачущими всадниками Демидов, потом лицо его вдруг перекопилось яростной гримасой, и пронзительный крик перекрыл все другие звуки:

«Васька! Разворачивай пулемёт! — Арся схватил своё орудие за колесо и казённый, рывкнув ещё пуще: — Тяни!! — Васька поспешно ухватился одной рукой за второе колесо, другой за коробку с лентой и потянул вместе с напарником пулемёт по брустверу, разворачивая его вдоль своих окопов. — Германцы справа!» — орал Демидов, припадая к прицелу.

Конный вал катился вдоль линии окопов.

«Арся, стреляй!» — в ужасе закричал Васька, видя, что до первых всадников всего несколько саженей, и они летят прямо на пулемёт.

Над ухом громко забарабанило, лента затряслась, выскальзывая из Васькиных рук, и первая же лошадь, распластавшаяся в этот момент в полёте над окопами, будто споткнулась при приземлении и повалилась через подломившиеся ноги прямо на голову, загородив собой всё. Сидевший на ней германец вылетел из седла и уже в полёте получил свою порцию свинца. Большего Васька заметить не успел. Откуда-то справа, из-за клубов поднятой пыли, вылетел ещё один улан с нацеленной вперёд пикой, и Власов скорее почувял, как дикий зверь, нежели догадался, что сейчас эта пика достанется ему. Он инстинктивно бросил голову к земле, успев спрятать её за коробку с лентой, и тут же ощутил, будто его огрели колом. В ушах зазвенело, но память не отшибло. Васька вгорячах поднял голову из-за коробки и со всех сторон увидел только конников. Некоторые были уже позади, продолжая утюжить позиции батальона, некоторые объезжали справа и слева, но больше всего их неслось впереди. Вдоль линии окопов. От леса! Оттуда, где их бы и вообще не должно было быть, потому что там, за лесом, были русские позиции! Но они неслись, и их ничем нельзя было остановить — пулемёт молчал.

Васька повернул голову влево и увидел Арсю. Тот осел на дно окопа с какой-то шибко запрокинутой назад и в сторону головой и не мог встать. На левом плече его зияла огромная рваная рана, захватившая шею, и из неё, а особенно из шеи, обильно текла кровь. Демидов пытался зажать рану здоровой рукой, но пальцы скользили, кровь просачивалась между них и текла по локтю. Он всё время открывал рот, пытаясь, видимо, сказать что-то, но горло булькало, кривило, и Васька, как окаменелый, стоял не шевелясь.

«...О-о-о... -конь... конь!..» — прохрипел, наконец, Демидов.

«Конь? — переспросил Васька. — Какой конь?»

«О-гонь! — собрав силы, выдохнул Арся: — ...ась-а... о-гонь...»

Какой-то момент, уже поняв даже, что от него требуют, Власов ещё пребывал в оцепенении. Прямо перед ним, на расстоянии вытянутой руки, стоял исправный с почти полной лентой пулемёт, а от леса, вдоль окопов, над телами растерзанных однополчан всё продолжали лететь германские уланы. И Васька опомнился. Он вцепился мёртвой хваткой в рифлёные рукоятки, припал к прицельной рамке, как учил его Арся, и, увидев в прорезь несущуюся на него конную лаву, нажал гашетку. Ему показалось, что пулемёт заурчал, как сытый довольный зверь, настолько глухо и ровно полетели из него пули. В ту же пору через узкую прорезь Васька увидел, как густо повалились через головы коней всадники, а сами кони, спотыкаясь на передки, кувыркались через спины и на бок. В азарте он повёл стволом вправо и влево, пытаясь поразить рассыпавшихся в обе стороны конников, и те тоже стали падать на землю вместе с лошадьми. Напиравшие сзади ещё какое-то время летели по инерции вперёд, распалённые лихой удачной атакой, но ряд за рядом натыкались на смертельный рой летевших навстречу пуль и падали, падали, падали, устилая пространство вокруг своими и лошадиными телами...

Пулемёт смолк неожиданно, и в первый момент Ваське показалось, что он оглох. Он хлопнул себя по ушам, растерянно посмотрел на скомканную ленту и понял — кончилась. Совсем близко громко, жалобно заржала лошадь, бившаяся в агонии, и вывела Власова из оцепенения. «Ленту! — молнией перечертило мозг. — Скорее ленту!» — он судорожно вскрыл крышку ствольной коробки, быстро вспомнил всё, чему учил его Арся, и суетливо стал перезаряжать пулемёт. А с притихшего поля уже полетели звуки далёких чужих команд, а вместе с пехотой опомнились и уланы, вновь появившиеся из леса...

Непривычные к незнакомой работе пальцы не слушались, дрожали, ленту заедало, обильный пот заливал глаза, саднила и кровила раненная лопатка. А уже полетели от леса к Васькиному окопу уланы, неся неминуемую смерть, но он успел. Пулемёт снова заурчал, веером рассыпая смертоносный свинец навстречу конникам, и они отступили.

Васька поднатужился изо всех сил и волоком потянул тяжёлое оружие по брустверу, разворачивая его навстречу пехоте. Вовремя. Германцы были уже так близко, что первая же очередь скосила многих, заставив остальных залечь. А Власов всё строчил и строчил по врагам, не жалея патронов, в горячке боя не понимая, что делает это бесполезно.

...Первый снаряд разорвался в стороне от него, почти угодив в окопы. Земля встала на дыбы, и Васька, перестав стрелять, как завороченный, восхищённо глядел на эту невиданную картину. Огромный чёрный сноп земли, камней, корней, каких-то палок расцвёл на полнеба, будто диковинный цветок, во всю свою мощь и поначалу казался совсем не страшным. Близким громом заложило уши, всё видение казалось просто летней грозой, и лишь молния, всегда неуловимая молния долго висела в этой грозе над оглушённым полем чёрным, постепенно исчезающим занавесом падающей земли.

Второй снаряд ударил в нескольких шагах. Над головой треснуло, будто разом разорвали простынь в сто аршин, и уже весь мир, казалось, поднялся дыбом, загородив собою солнце. Ваську бросило на стенку окопа, чуть не оторвав при этом голову, и последнее, что открылось его взору — чёрная непроницаемая туча, густым мраком загородившая от него весь белый свет.

— 5 —

Его глаза открылись нескоро. Засыпанный землёй, посеченный осколками и оглушённый взрывом, он пролежал так почти полдня, а когда очухался — уже вечерело. С огромным трудом оторвал он от земли зачугуневшую голову и осмотрелся.

Было тихо. Никто не стрелял, не орал, не ржали больше подстреленные лошади. В вечереющем небе ласково светило солнце, колыхались уцелевшие травинки вокруг окопа, и при беглом осмотре ничто не напоминало о кровавой бойне, полыхавшей тут с утра. Но вот взгляд упёрся в уцелевший, хотя и порядочно засыпанный землёй пулемёт, пошарил по изувеченному разрывами полю, и тело больно заныло. Васька пе-

ревёл взгляд на особенно сильно саднившую руку и увидел, что маленько пониже плеча гимнастёрку разорвало, а из дыры выглядывает окровавленное мясо. Вокруг раны уже образовалась бурая корка, но середка саднила нестерпимо. Васька осторожно пошевелил повреждённой рукой и с радостью обнаружил, что она действует. «Господи всемилостивейший, оберёг!» — благоговейно прошептал он и стал перевязывать рану.

Голова его жестоко гудела, пальцы двигались с трудом, но тело слушалось, и Васька понял, что ему несказанно повезло. Разорвавшийся в нескольких шагах германский снаряд не только не убил его, но даже и ранил не шибко. Лишь оглушил крепко. Конечно, помогло то, что он был в окопе, и всё та же коробка с лентой да пулемёт, загодившие голову.

«А где же все наши? — подумал Васька. — Как это могло случиться? Откуда в лесу взялась конница? Ведь в той стороне наши...»

Не знал солдат всей полноты картины. Не знал, да и не мог знать, что командование Северо-Западного фронта отдало приказ о наступлении, ещё не завершив задуманного сосредоточения войск, потому что ещё больше этого наступления не ждали германцы. Зная о состоянии наших армий, они всю мощь своих войск вложили в удар на Запад, в надежде управиться там до завершения полной мобилизации России, и быстро достигли успеха. Оккупирован Люксембург, пал Брюссель, захвачена вся Бельгия, задрожала и отступила под мощными ударами Франция. Ещё немного усилий — и победа. И тогда всей силой можно будет обрушиться на Россию. И тогда русскому медведю не сдобровать.

Но Россия опередила. Она ударила раньше. Ещё не будучи до конца готовой, но ударила по Пруссии и тем спасла Францию от полного краха! А сама?

Ведь как легко пошли вперёд полки и батальоны 1-й русской армии генерала Ренненкампа! Успех за успехом! Как легко спустя три дня вонзились в германское тело корпуса 2-й армии генерала Самсонова! Как нож масло, проткнули они Восточную Пруссию с юго-востока! Германцы отступают. Они почти бегут! Их 8-я армия накануне полного краха, и, спасая войска от неминуемого разгрома, её командующий — генерал Притвиц — принимает решение полностью вывести остатки армии с территории Восточной Пруссии. Ах, если бы русские не остановились! Если бы тем же темпом организовали преследование...

Не организовали. Не поспешили вслед за бегущим противником дивизии 1-й русской армии, осел генерал Ренненкампа в захваченном Инстербурге вместе со всем штабом. И остановилось русское войско... Даже до парада дело дошло! Как будто уж всё позади!

Только ротмистр Пётр Врангель со своими конниками не выдержал позорного бездействия и ударил всем эскадроном по бегущему врагу. Ударил в азарте охотника перед видом убегающей добычи, разгорячённый ситуацией, возбуждённый состоянием его подчинённых, жаждущих дела, а не постыдного прозябания, ударил — и победил! Как единственный, крепко сжатый кулак, дрались бойцы его эскадрона, умело преследуя противника, и разили его беспощадными ударами своих сабель, густо устилая телами врагов обширное пространство.

Но ударил без приказа, лишь по велению солдатского сердца, по сложившейся ситуации, которая неотвратимо диктовала такой удар, и, несмотря на одержанную в бою победу, был примерно наказан командующим армией за проявленное самовольство.

И вот уже немецкий генерал Гинденбург, назначенный командовать 8-й полуразбитой армией вместо смещённого Притвица, видя отчаянное положение своих почти разгромленных войск, принимает безумное, с точки зрения военной стратегии, решение. Воспользовавшись пассивностью русских на фронте первой армии, он воплощает в действие запредельной дерзости план: снять лучшие силы с фронта перед 1-й русской армией, соединить их с уланами, переброшенными из Франции, и образовать из них мощный ударный кулак. А уж потом ударить этим кулаком во фланг стремительно наступающей армии Самсонова. Бесконечно рискованное решение — ведь оголялся весь фронт перед первой русской армией — но, как показали события, единственно правильное.

Удар был такой всеограшающей силы, что полностью смял боевые порядки войск 2-й армии! Рассыпалось боевое управление, перемешались отступающие потоки 13-го и 15-го корпусов, и некогда хорошо организованный стройный боевой организм превратился в бесформенное солдатское месиво! И 2-я русская армия перестала существовать...

Генерал Самсонов застрелился, не выдержав такого позора. Одних только пленных было взято во 2-й армии 30 тысяч, а всего потеряно в Пруссии до 250 тысяч человек! И все русские войска были вышвырнуты за пределы Германии.

Вот как раз силу этого-то удара и испытал на себе полной мерой Васькин с Арсеем пехотный полк и, в первую очередь, его правофланговый батальон, смятый и растер-

занный стремительной кавалерийской атакой германцев.

...Васька попытался приподняться над окопом, но всё тело тут же отозвалось острыми приступами боли. «Где же Арся? — подумал он. — Куда он-то делся?»

Его земляк, друг и напарник был совсем рядом. Арсений лежал на дне окопа в неловкой скрюченной позе, в которой пребывает обычно человек сидящий. Голова его и всё тело было изрядно засыпано песком, и первое, что бросилось Ваське в глаза, это было торчащее из-под земли Арсино ухо. Бледное или розоватое обычно, оно было у Арсения лилово-фиолетовым, почти чёрным. По нему суетливо ползала муха, время от времени выбираясь на засыпанную землёй шею, и Васька заметил вдруг, что кровь, так обильно лившаяся из раны напарника утром, больше не течёт. Как будто пролили внутри невидимый сосуд с бесценной жидкостью, и он весь вытек, разбежавшись по округе застывшей лужей... «Похоронить надо, — подумал Васька, — а где? Где же наши? Почему никто не ходит по окопам?»

Он тяжело приподнялся над землёй, опираясь на здоровую руку, и ещё раз огляделся. Всё пространство вдоль окопов справа и слева было безмолвным и безлюдным. То там, то сям высились бездыханные тела лошадей, скошенных его пулемётом, кое-где виднелись неподвижные фигуры германцев, и никого живого! «Господи боже мой! — ужаснулся от увиденного Васька. — Да ниужоли же я изо всех один остался? Ниужоли всех убило?»

Он ещё раз провёл взглядом по всему пространству вокруг себя и вдруг заметил передвигающиеся невдалеке по полю три человеческие фигуры. «Ну, слава тебе, Господи!» — облегчённо подумал он.

«Э-гей, мужики! Сюда! — голос, в который, как ему показалось, он вложил весь остаток сил, прозвучал, однако, глухо и негромко. Ходившие по полю никак не прореагировали на его призыв, и тогда Васька, морщась и охая от боли, подтянулся вверх, над бруствером, сколько смог, и снова крикнул со всей мочи, на которую только был способен: — Мужики! Помогите! — и уронил закружившуюся враз голову. Ходившие остановились и внимательно посмотрели в его сторону. Потом один из них махнул рукой, двое других взяли винтовки наперевес, и все трое пошли к Васькиному окопу. — Сюда! — обрадовался Васька, заметив их движение. — Сюда, мужики!»

Он замахал в воздухе здоровой рукой, снова попытался выбраться из окопа, но это ему снова не удалось. Тогда он торопливо опустил на дно и принялся откапывать тело Арси, стараясь как можно больше освободить его от земли, приподнять его. Он боялся, что его друга не возмут с собой те, которые идут помогать ему, Ваське, а он так хотел исполнить последний долг перед Арсей — похоронить его, как всех добрых людей, в могиле.

«Штэй ауф!» — вдруг услышал он над головой.

«Чево?» — не понял Васька и повернул голову наверх.

«Aufschtein! Ауфштайн! — громко прозвучал над бруствером тот же голос, и Васька увидел возле окопа трёх солдат. Солдатские ремни, солдатская форма, длинные штыки на винтовках, но зачем эти штыки направлены на него? Почему они не помогают ему вылезти, а стоят, как истуканы? — Хендэ хох!»

И Ваську осенило: «Господи! Да ведь это же германцы!» — догадался он и тут только заметил, что на солдатах всё чужое: и форма, и ремни, и даже винтовки, если приглядеться.

Стоящие, меж тем, о чём-то переговаривали меж собой, и двое опустили направленные на Ваську винтовки. Снова затараторили на непонятном Власову языке, время от времени махая руками то на пулемёт, то на трупы вокруг, то на Ваську, очевидно обсуждая его полубеспомощное состояние, и до него дошло: «Добивать будут! Не протят за своих...»

В груди тоскливо заныло и сделалось нестерпимо жалко самого себя. «Ниужоли это всё? Ниужоли вот сейчас, вот тут и кончится моя жизнь?» — металось в разгорячённом мозгу. Взгляд лихорадочно заскользил вокруг, ища хоть какую-то тропочку для спасения, и вдруг запнулся за пулемёт. Полузасыпанный, но исправный пулемёт с заправленной и ещё не кончившейся лентой. И три фигуры за бруствером...

«Если ходко поворотиться — не успеют!» — мелькнуло в мозгу. Он впился взглядом в рукоятки, которые предстояло схватить в гашетку, которую надлежало нажать, и весь внутренне подобрался. Ещё какое-то мгновение, как кошка, готовящаяся к прыжку, он постоял неподвижно и вдруг, резко оттолкнувшись спиной от стенки окопа, в которую упирался, рванулся вперёд. Не чуя боли в раненной руке, он вцепился в рукоятки пулемёта и резко рванул их на себя, поворачивая ствол на врагов. Палец потянулся к гашетке, и свинцовая струя его пулемёта вот-вот должна была решить — кто кого? Но сделать он больше ничего не успел: мощнейший удар обитого железом приклада по голове потушил свет в его глазах окончательно.

Глава шестая

– 1 –

Зима выскочила как из засады. В кои-то веки такое было, чтобы весь сентябрь тепло? Чтобы чуть не до самого Покрова комары толклись?! А после вдруг разом задуло, завертело, засвистело «сиверком», ударило морозом, и за одну ночь навалило снегу чуть не до полуголяшки!

«Гришка! — объявил за завтраком Прохор Алексеевич. — Мы, пожалуй, в Заболотье севодня с Олькой съездим. Лес тот, про который я тебе говрил, попроведам. Шибко ли попажа худая, посмотрим, а ты овин истопи. Не забыл, поди, как это делают? Олькиных робят себе в помощники возьми. По полену, по два они и дров те принесут, и снопы им поправлять на колосниках ловчая. Да и несподручно одному-то: не дай Бог искра какая... Глаз да глаз ведь надо за овином-то, покуда топится, — Прохор Алексеевич отхлебнул из блюда и продолжил: — Тебе, Алексанко, гумно расчистить».

«Татья, а зайчи?» — жалобно протянул Алексанко.

«Наловисся ишо зайчей-то! Вся зима впереди, а дело не терпит! — оборвал его отец. — Только смотри, штоб с самово утра весь снег с гумна сгребён был — голу землю пуще выморозит за ночь-то, — он помочил в блюде маленькую глызку сахара, пососал её, прежде чем припасть губами к горячему чаю, и, отхлебнув, продолжал: — Нюрка да Огашка тебе в помощники. Большоё сам отгребёшь, а им дашь виник и пусть дочиста метут — похоже, выпадка севодня не предвидитча, — Прохор Алексеевич допил чай и поднялся из-за стола. — Если всё благословесь — завтра молотить! — извещил он семью о своих планах. — Хоть один овин для начала, а то уж муки не стаёт, — хозяин заглянул за заборку и, увидев жену, добавил: — К Васе Антипову сходи. Вечор просил пособить овеч стригчи...»

«Ладно, — согласилась Пелагея, — счас схожу».

Погожее, по-зимнему снежное утро, не зажатое меж стенами, было ещё краше, чем в избе. Поскрипывал свежий снежок под ногами, пощипывал лёгкий морозец в ноздрях, а грудь просто распирало пьянящим чистым воздухом. Солнышко полным ликом улыбалось на чистом небе, и, глядя на эту его улыбку, тоже хотелось улыбаться, двигаться, веселиться, переделать всё на свете.

На задворках уже возился с Карьком дядюшка Ольга, запрягая его в сани. Работящая смиренная коняга то и дело фыркала во всю мочь, резко встряхивая голову, словно желая прочистить свои лёгкие от застоялого, пусть и тёплого, воздуха хлева и наполнить их свежим, бодрящим. Соседский пёс, пробегая мимо по каким-то собачьим делам, остановился вдруг напротив погребя, понюхал землю вокруг себя — и ну кататься через спину по свежевывавшему снежку. На звозе разноголоса гомонила ра-красневшаяся на морозе ребятня, катаясь кто на чём и не заботясь ни о чём. То-то всем весело, то-то хорошо да любо!

«Илейка! Ванька! — позвал своих братанчиков Григорий. Два егозливых пацана-медвежонка прервали своё развесёлое занятие и разруганными колобками подкатили к родственнику. — Овин пойдём топить. Вы — помощники».

«Ур-ра-а!» — звонко отозвались мальчишки и сорвались с места в сторону овина.

Гришка покорила их сразу, в первый же день своего возвращения. Что весёлый, что не ругачкий, что на балалайке играет и что по головке часто гладит. Уже на третий день их недоверие и отчуждение к нему прошло, и теперь оба пацанчика готовы были смотреть своему родственнику прямо в рот, мгновенно выполняя всё, что он пожелает. А тут такое дело! Шутка ли — овин топить?! Такого сроду не бывало, чтоб кому с мальцов такое доверялось; только взрослым...

Григорий подошёл к овину и, поглядев на ждущие приказаний сияющие рожицы мальчуганов, объявил свой план:

«Сделаем так: я счас снопы на колосники развешу, пока не затоплено, а вы той порой дров натаскаете. Понятно? — пацанчики энергично закивали головами, дружно угукая при этом. Им потрафило то, что Гришка не командует ими на правах старшего и взрослого, а распределяет обязанности как с равными. — Как дров натаскаете, — продолжал Григорий, — так все вместе соберемся и затопим. Понятно? — ещё энергичнее замотались вверх и вниз ребячьи головы. — Тогда вперёд! — подвёл Гришка итог разводу, и малыши тут же сорвались с места в свой обычный галоп в сторону поленниц. — Помногу, смотрите, не берите, — крикнул им вдогонку Григорий, — полено-два — не больше. А то переседитесь!»

– 2 –

Пелагея Антоновна тихонько постучала и осторожно открыла дверь в избу.

«Можно к вам?» — негромко спросила она, с почтением переступая порог.

Навстречу ей вышел моложавый сухопарый мужик лет сорока и, широко улыба-

ясь, приветливо распахнул руки, приглашая пройти.

«А-а-а, здравствуй, соседка! — ласково проговорил он. — Проходи, садись, — он вежливо проводил гостью до лавки и громко крикнул: — Манька!»

«Чево, татя?» — раздалось из горенки.

«Поди сюда! Пелагея Антоновна пришла».

Дверь в горницу быстро отворилась, и на пороге появилась высокая стройная девушка.

«Здрасьте!» — приветливо улыбнулась она.

«Вот... — виновато развёл руками хозяин, кивая одновременно и на свою дочь. — Уж не обесудь, Пелагея Антоновна, можот, от дела какво отрываём, но и нам край надо — овчи до самых глаз заросли. Да и тянуть уж дальше некуда — зима на носу. Хоть пообрустут маленько, пока не шибко студено».

«Ладно тебе, Василий, — остановила его Пелагея. — Дело житейское; век весь так прожили, друг дружке пособляя, а нонь и подавно нельзя нам порознь — эдакое лихо навалилось».

Хозяйка Васи Антипова — Авдотья — была бойкой работающей бабёнкой, но как-то враз её скрутило, повалило, на глазах зачахла, и вот уж скоро год, как Вася Антипов вдовствовал. Робят осталось пятеро: Манька — старшая — шестнадцати годов, да Катька — младшая — на третьем. А посередке, меж има, — шпанята, мал-мала меньше, как пестуны по избе. И помощники ещё худые — старшему десятый — и уж не в зыбке. Вот и перебегают из угла в угол — почти что всё хозяйство на Маньке.

«Хозяйка моя как-то всё одна с овчами-то, а мне и не к чему было, что да как, — смущённо оправдывался Антипов. — А топеря, вишь, вона как и вышло-то...»

«Всё сичас изладим, Василий Тимофеевич, — желая окончательно успокоить хозяйина, Пелагея Антоновна назвала его по отчеству. — Мария у тебя большая; где можот, где посмотрит, а где-то и сама. Ножнички-то есть ли?»

«Да ножнички-то я давно уж наточил, — оживился хозяин. — И мешки уже давно припасены для шерсти, только всё созвать-то неково да некак».

«Ну, счас мы всё изладим, — уже входя в роль хозяйки, подытожила Пелагея. — Давай первую».

— 3 —

Берёста треснула разок-другой, почуяв беспощадный огонёк, дымнула копотливо, свернувшись в трубочку, и вдруг, словно вспомнив о своём предназначении, затрещала часто, задымила густо и разом вспыхнула. Гришка сунул её в аккуратно сложенные домиком щепины с полешками и стал ждать. Вокруг него уселись на корточки оба брата-танчика, раскрасневшиеся, розовощёкие, как снегири, готовые вспорхнуть тут же при первой опасности или по первой команде, и шумно, часто дышали.

«Ну што, — потрепал их Григорий по головам, — залихтелись, помощнички?»

Те закачались под тяжёлыми братановыми ладонями, как лозинки под ветром, но в ответ дружно улыбнулись и запротестовали:

«Ишо чево! И нисколючко-то даже!»

«Смотри-ко, руки-то краснёхоньки! Замерзли, поди? — Гришка захватил холодные пальцы братанчиков в свои широкие ладони и осторожно помял их, согревая. — Суйте к огню поближе! — скомандовал он через мгновение, когда пламя закрепчало. — Сичас на жару-то живо отойдут, — мальчишки безропотно повиновались и потянулись к теплу. Сухие тонкие полешки быстро разгорались, и очень скоро жар от них явственно стал ощущаться даже на лицах. — Глаза только зашурьте, — подсказал Григорий, — а то, не дай Бог, искра отлетит — растопка-то елова».

Он потянулся к натасканным мальчишками дровам и стал перекладывать их из кучи в кучу, одновременно отбирая некоторые поленья и откладывая их в сторону.

«Чево это ты, Гришка?» — заметив непонятную сортировку, полюбопытствовал Илейка.

«А вот ёлку отобрать хочу», — пояснил свои действия братан.

«А зачем?»

«Не годится она, — тем же спокойно-рассудительным тоном объявил Григорий, — ни в овин, ни в баню».

«Как это не годится? — запротестовал Илейка. — Эвон ведь какая сухая! Зимусь наш татя с дядюшкой нарошно ельник-от рубили, штоб топилося лучше. Я сам видел, как за сушником-то с ими ездил!»

«Заприметил... — снисходительно протянул Гришка. — Молодец! А чул ли ты хоть раз, как маленькая печка-то зимой трещит от этово сушника?»

«Как ни чуть-то; каждый день ведь топим-то, как студено-то станет».

«А пошто трещит — знаёшь? — мальчишки переглянулись между собой и пожали плечами. — Вот то-то што! — многозначительно проговорил братан. — А дело всё в

том, што сушник-то еловый. Растопляется-то он легко, горит скоро, тепло даёт сразу, зато трескотни от ево-о-о-о...» — Гришка сильно растянул последнее слово, желая тем самым показать, как же много от такого топлива треску.

«Ну дак и што, што трескотни много, — вступил в разговор Ванька, — зато висилля».

«Да кабы в веселье дело, — продолжал Григорий, — наголо ёлкой бы топили!»

«А в чём товды?» — предчувствуя, что находится на пороге раскрытия какой-то неведомой ему доселе тайны, понизил голос Илейка.

«Искры от неё далёко летят, — просто пояснил Григорий. — Как треснуло — так, значит, искра и отлетела. И чем пушше треснуло, тем искра эта больше и летит дальше. В печке-то затворил дверку, и трешшы оно на здоровье — ни одна искра не вылетит. А в овине?»

Мальши переглянулись ещё раз, уже начиная понимать, к чему клонит братан, и Илейка, на правах старшего, осторожно предположил:

«Што, загореть можот?»

«В том-то и беда, што можот, — подтвердил Григорий. — Хоть и невилики шшыли меж настилом-то да стенами, а тяга-то какая?! А ну как выскочит какая искра да в снопы?! Много ли в дыму-то углядишь? А ведь снопы подсохнут — порох порохом! И што товда?» — Григорий вопросительно поглядел на присмиривших собеседников и многозначительно умолк.

Прожорливый огонёк давно уже перестал быть маленьким. Он весело расправился с предложенной растопкой и деловито облизывал теперь большие поленья, всё больше набирая силу. Все трое Демидовых молча смотрели на него, каждый думая про своё.

«А ты што, Гришка, разе боле татиново знаёшь?» — неожиданно нарушил затянувшееся молчание Ванька.

«А ты пошто так думаешь?»

«Нам татя эко-то ни разу не сказывливал!» — округлив глаза, изумлённо признался Илейка.

«Ха-ха-ха-ха! — громко расхохотался Григорий и крепко прижал к себе малышей. — Больше вашово тати, как и своево, я знать не могу, потому как они старше меня и видали больше моево. Но всему своё время, помощнички вы мои. Вы ведь помощники? — малыши дружно закивали головами. — Вот потому вы и не посланы овин топить одне, што не всё ишо знаете, а пока только помогать. А станете и дальше столь же усердно старшим помогать, как мне севодня, вот всему помаленьку и научитесь. Всему-то ведь нельзя жо сразу научиться, верно я говорю?»

«Ты прям как дядюшка, — проговорил Илейка. — И присказка евонна».

«Ну, дак и сын ведь я евонный, — весело хлопнул Гришка братанчика по плечу, вставая, — у ево и учусь всем житейским премудростям».

«И по севодняшний день, што ли, ишо учисся?» — изумился Ванька.

«И по севодняшний», — подтвердил Гришка.

«Дак ты жо ведь большой уж!» — всё так же круглил глаза малыш.

«Ха-ха-ха-ха! — снова расхохотался Гришка. — Ну и што, што большой; сколько человек живёт — столько и учится. Вы вот про ёлку розузнали севодня то, чево не ведали, а я про вас».

«А про нас-то чево?» — любопытствовал Илейка.

«А што помощниками оказались вы хорошими — вот чево! — улыбаясь, пояснил Григорий. — Хорошие мужики из вас выйдут, коли и дальше так жо усердие проявлять в работе будете! — ох, и любя малышам братанова похвальба! Разулыбались, засмутились, головёнки скромно опустили. — Выйдут, выйдут! — потрепал их прямо по нахлобученным шапкам Григорий. — Дайте только срок. Вон Алексанко, не мужик ишо, а уж работник. Дело самостоятельное поручено — гумно мести. И нехитрое оно — дело это — а он уж сам. И с помощниками! Смеаете?»

— 4 —

Дверь в избу отворилась, и в проёме показалась настороженная овечья мордочка.

«Давай, давай, Сераха, заходи!» — легонько подтолкнул овцу хозяин, и та нерешительно перешагнула порог. Как молоточки по сапожным гвоздикам, застучали маленькие копытца по половицам, и животное сделало несколько осторожных шагов по избе.

«Сера-а-аха! Басинька! — ласково приговаривая, поднялась навстречу ей Мария. — На, я тебе кусочка дам».

В руках девушки появился небольшой ломоток хлеба, и овечка вытянула настороженную мордочку навстречу лакомству. Осторожно взяла его губами и скоренько прожевала. Вкусно! Остренькая мордочка с любопытством потянулась к тёплым рукам ещё, ткнулась в них, и в Марииных ладонях появился новый кусочек.

«Шибко не потачь! — остерегла девушку Пелагея Антоновна. — Пусть знает, что

хлеб — лакомство! Оценит пуще, как дадут. Пойлом-то не поили?»

«Не-е, — замотала головой девушка. — Мне мама сказывала ишо раньше, што нильза овеч шибко кормить и поить перед стрижкой».

«Правильно сказывала, — подтвердила Пелагея Антоновна. — А то мало што со страху навалят, дак ишо и намочат! Куды с душой-то потом? Давай-ко ножнички, — Мария повернулась за инструментом, а Пелагея Антоновна сама потянула свои руки к животному. — Сераха, бас-с-сь! — раздалось её ласковое приглашение, и в руках тоже появился лакомый кусочек. Овечка повернулась к ней и протянула мордочку. — Ну, иди сюда, иди поближе, — приманивая кусочком, позвала её Пелагея Антоновна. — Иди, не бойся, никто тебя не обидит, — ласковые слова, душистый хлебный кусочек сделали своё дело, и овечка подошла прямо к женскому подолу. — Ну, вот и молодец! Молодец! — похвалила её Пелагея Антоновна. Погладила, потрепала животное за ушками, скормила хлеб с ладони. Овечка прожевала лакомство и потянулась ещё. Пелагея Антоновна дала ей обнюхать свои руки и, убедившись, что доверие установлено, попросила: — Ты, Маня, с ней поговри, пока я стригу. Поласкай её за ушками, погладь...»

«Нешто она понимает, о чём с ней говорят?» — усомнилась девушка.

«Понимает, понимает, — убеждённо подтвердила Пелагея Антоновна. — Говорю не понимает, дак зато добро и ласку знает. Стань-кося ругать да рывкать — много ли простоит? А добром да теплом, дак и не пошевелитча. И остригёшь скорая, — Пелагея Антоновна поправила разостланный под ногами полог и взяла ножницы. — Сначала поменьше бери и от головы, — пояснила она свои действия девушке. — С головы и шерсть помене, и захватить ловчяя. Опять же страху овче меньше, — она раскрыла ножницы, отогнула в сторону прядь шерсти, легко срезала первый клочок. Овечка прыгнула ушами и настороженно оглянулась на женщину. — Не бойся, Сераха, не бойся, — успокоила её та. — Мы тебя не обидим, — ловкие руки отрезали, меж тем, ещё несколько клоков, и на шее у овечки образовалась порядочная проплешина. — Ну, вот и хорошо, — продолжала приговаривать Пелагея Антоновна, — вот и славно, — а ласковые руки проворно теребили овечью шерсть, ловко отстригая клочок за клочком. Уже порядочный липень её свесился с овечьей шеи вниз к полу, уже начала оголяться спина... — Старайся, кожды будёшь сама стригчи, штобы шерсть не отрывать, а только отгибать, — наставляла Пелагея Антоновна Марию. — Отстриженный липень, как не оторвёшь ево, и шерсть оттягает, и под ножнички не ползёт».

Овечка на глазах «раздевалась», и очень скоро из пухлой и округлой превратилась в сухонькую маленькую ягущечку, покрытую со всех сторон коротенькой, в мелкий рубчик, щетиной.

«Ой! — всплеснула руками Мария. — Какая смешная!»

«Ну, вот, — подвела итог Пелагея Антоновна, отребая остриженную шерсть в сторону. — Давай топерь кусочка и проводи во двор. Синча подбрось покусняя — пусть ест — и давайте следушшу».

«Я борашка приведу, можно?»

«Всё равно ково, лишь бы серый, штобы полог не вычищать», — Пелагея Антоновна опустила на колени и принялась собирать остриженную шерсть в объёмистый мешок.

Очень скоро за дверями завозились, и на пороге появился круторогий осанистый баранчик. Он был не столь смиренного нрава, как первая овечка, но, видать, Мария знала против него какую-то словинку, и баранчик её слушался. К Пелагее Антоновне он подошёл настороженно и в ответ на протянутый кусочек хлеба опасно мотанул рога той головой.

«Ишь ты! — воскликнула та. — С норовом», — она снова протянула барану хлебшек, и снова тот угрожающе выставил вперёд крутые рога.

«Тёта Поля, а давай я попробую! — воскликнула Мария. — Он меня слушается, я с ним справлюсь».

«Ну, давай, давай, молодая хозяйка. Всё равно когда-то начинать», — ободряюще отозвалась Пелагея Антоновна и уступила своё место на лавке. Мария проворно уселась над пологом и взяла в ладони кусочек.

«Боренька! Боря! — позвала она, ласково выговаривая слова, и протянула руку с хлебом. Баранчик доверчиво потянулся носом к лакомству, и Мария, совсем как несколько минут назад её наставница, поманила животное к своему подолу. Баран подошёл, ткнулся губами в ладони девушки и смачно зажевал. — Боренька! Боря!» — всё так же ласково приговаривала Мария, почёсывая его за ушками. Баранчик осмелел, успокоился, и Мария взялась за ножницы.

«Токо шибко не старайся ишполкать ножничками-то, — остерегла её Пелагея Антоновна. — Пусть сначала попривыкнет, — первая заушная прядка благополучно повисла в воздухе. — Посерёдке, посерёдке простригай сперва, — подсказывала Пелагея

Антоновна. — Вишь, по хребту-то у их шерсть надвое разваливается, оттуда и застригайся, — ещё несколько осторожных движений, и у Борьки на хребте тоже образовалась длинная проплешина. — Ножнички старайся, штобы вдоль хребта всё время были, — делалась опытом Пелагея Антоновна. — И состригается ровняя, да и видко лучше, — Мария односложно поддакивала и всё увереннее и увереннее срезала густую длинную шерсть. — Не захватывай, не захватывай помногу-то, не торопись, — опять подсказывала наставница. — Рубчик меньше и стригчи легче. Да и баран смирияня стоит».

Баран, между тем, заинтересовался необычным занятием его молодой хозяйки и незнакомой женщины, повернул голову назад и с любопытством и удивлением разглядывал своё на глазах меняющееся тело.

«Ну, как вы тут?» — на пороге появился хозяин, и баран вздрогнул от громкого голоса.

«Боренька! Боренька, не бойся, не бойся», — ласково успокоила животное Пелагея Антоновна и протянула кусочек хлеба на ладони.

«Тятушка! Посмотри-ко, я сама боранчика остригла!» — радостно поделилась с отцом Мария.

«Ну?! — воскликнул изумлённый отец. — Так-таки и сама?»

«Сама, сама! — улыбаясь, подтвердила Пелагея Антоновна. — Овчу я остригла, а борана — она сама, с самого сразу!»

«И каково выходит?» — полюбопытствовал отец.

«Шибко хорошо выходит, Василий Тимофеевич! — восхищённо проговорила Пелагея Антоновна. — Девка как будто с ножничками родилась!»

«Ой, Полюшка, и не говори, — подхватил Василий. — С этими ножничками — чиста беда! С самово сызмалетства она их из рук не выпускает. Все, какие есть в дому, рямушки и лафтачки бросовые приберёт к себе и исстригёт опосля на своих кукол. Всё какие-то нарядки им справляет да примеряет. Мы чисто все испереживались с маткой за ие: а ну-кося да в глаз! Чево товды? Не приведи Господь, ведь ножнички жо!»

«То-то, я гляжу, она има не хуже моего орудует! — восхищённо проговорила Пелагея Антоновна. — Я одинова всево и показала-то, а она уж всё переняла! Я уж, грешным делом, подумала: да не шпакурит ли она надо мной, што созвала? Покажи, дескать, да постриги, а сама не хуже моего справляйтча! Смотри-кося, борана-то как опазгала — любо-дорого! — Мария смущённо зарделась от такой похвалы и, улыбаясь, опустила голову. — Молодеч! Молодеч, девка! — ласково погладила её Пелагея Антоновна. — Настоящая хозяйка растёт! И баская, и домовитая. Хорошо бы жониха ишо найти — вот бы тебе, Василий Тимофеевич, была отрада и подмога».

«Да уж... — неопределённо протянул хозяин, — хорошо бы кабы так-то, да только где жо их топерь, хороших-то, возмёшь? И какие попало-то будут нарасхват после эдакой войны, да и то не всем достанитча — эстоль девок-то нонь наросло! Как грибов после дождя! Мы с маткой-то уж тожо думали про ето, глядя, как Манька с куклами-то управляйтча, да только вишь вот как... матке-то и не пришлось...» — голос Василия предательски дрогнул при этих словах, и он торопливо отвернулся к окошку.

«Давай-ко, Василий, шибко-то не горюй, — попыталась утешить его Пелагея Антоновна. — Заживёт рана, а там, можот, ишо и жонисся. Какие твои годы».

«Ох, Полюшка! Добрая ты душа, да только хто жо на мою ораву-то пойдёт?» — с горечью выдохнул в ответ ей хозяин.

«А ты не думай про ето, Василий, — продолжала свою линию Пелагея. — Сам жо говоришь, што жонихи топерь в цене будут. А ты мужик видный, мастеровой, хозяйственный, робят жалиёшь, а чево ишо бабе надо? Таких и во всей-то Уйдоме напечёт, а не то што у нас в Потылихе».

«Ой, ладно, соседка, — остановил её Василий. — Спасибо тебе на добром слове, конечно, а только давай всё жо пособи овеч-то докарнать. Ведь всех-то сосчитать, там их ишо с десяток наберетча».

— 5 —

«Снопы-то каково вчерась посохли?» — спросил Прохор Алексеевич Гришку.

«Я шибко-то и не сушил. Рожь-то ведь не жито; пересуши-ко, дак и до гумна не донесёшь — вся чисто осыплется».

«Оно-то так, — задумчиво произнёс отец. — Ну, а по виду?»

«Да по виду вроде ладно, — немного разговорился Григорий, почуяв перемену в настроении отца. — Думаю, пудов-то двадцать всяко намолотим за севодня».

«Это хорошо! А то уж и муки совсем мало осталось. Ерушники, тово и гляди, не из чево скоро пикчи будет».

Прохор Алексеевич был всё больше доволен старшим сыном. Немногословный, хватистый в деле, точный в оценках хозяйственной обстановки — Гришка как будто и не уезжал никуда на эти три с лишним бесконечных, казалось, года. Будто тут и жил

всегда и неизменно был в курсе всех хозяйских дел. А с другой стороны, как его изменили эти годы?! Как зерно на гумне в хороший ветер: всю мякину отнесло, одна суть осталась. Выдуло пену пустую из головы, и оказалось, что суть эта — чистое золото!

Утро выдалось таким же погожим, как и накануне. Такое же незамутнённое поднималось солнце, так же высоко синело небо, только маленько потягивал ветерок, время от времени стряхивая куржавинки на берёзах. Они срывались вниз с тонких веток, блестящими искорками вспыхивали в своём последнем полёте, радуя глаз, и гасли в бесконечной снежной пелене. «Хорошо! — подумал Прохор Алексеевич, выйдя ещё раз на улицу посмотреть — много ли развиделось. — И сердцу любо, и глазу баско! Да и для дела шибко хорошо: и морозец, и ветерок. Зерно сразу и провеять можно». Он постоял некоторое время молча, не двигаясь даже, весь в созерцании природной красоты, и вдруг, словно устыдившись столь легкомысленной траты времени в преддверии важнейшей хозяйственной операции, резко подхватился и заспешил в избу.

«Полашка! — позвал он жену, едва переступив порог. — Ты тут давай-ко обряжайся да на стол ставь, как управился. А мы пойдём снопы подтащим той порой. Как ишь изладишь — созовёшь, а час нам время дорого. Пошли, Гришка».

После завтрака высыпали на гумно все до единого. Бабы да девки начали налаживать полог, чтобы сразу веять зерно, покуда есть ветер, мужики взялись выбирать себе цепи по руке, малыши горластыми воробьями суетились меж тех и других. И лишь один только Алексанко стоял, как неприкаянный, не зная, к кому примкнуть. Ясно, что не к бабам да девкам, но и не к малышам же.

«Иди-кося сюда, Алексанко, — заметив растерянность сына, позвал его Прохор Алексеевич. Подросток подошёл к отцу и остановился в ожидании. — Молотить будёшь! — неожиданно просто объявил Прохор, словно бы речь шла о расчистке гумна, а не об ответственнейшем крестьянском деле. Алексанко встрепенулся, засуетился, польщённый таким доверием, заметался в поисках места для себя, но отец, как будто зная всё это наперёд, спокойно осадил его: — Не торопись! Сперва мати в четвёрку встанёт, а ты приглядишь, как она это будет делать. А как измолим перву-то выстилку — мати с девками витья пойдёт, а ты заместо ие с нами и станёшь. Понял? — Алексанко радостно кивнул и кинулся выбирать себе цеп. — Мотовило покорооче выбирай! — строго подсказал отец. — А то, не дай Бог, по башке кому из нас заедёшь с непривычки-то. Да и умашисся помене для первого-то разу. Понял?»

«Понял, татя!» — радостно откликнулся подросток.

Алексанко окрылся! Он буквально летал по гумну туда и сюда, помогая поворачивать снопы, оттаскивать солому, делать вторую выстилку, а когда взял, наконец, в руки цеп и встал в четвёрку, аж язык высунул от старания и усердия!

«Шибко-то не колоти, — заметив это, подсказал отец. — Для первого разу тебе главно в попад угодить, да по горбу никоиво не огреть. А наловчися — потом и сила придёт. Понял?»

Но Алексанко только радостно сопел, стараясь изо всех сил не потерять это самое главное — чувство ритма слаженно работающей четвёрки. Без передышки хватался за увесистую кичигу, помогая уже женской половине молотильщиков домолачивать не промолоченные до конца пучки ржи, пока взмокшие от пота мужики отдыхали, и, казалось, совсем не знали устали.

«Не надорвись, парень!» — улыбаясь, попытался остеречь его дядюшка Ольга.

«Не-е-е!» — задорно возражал мальчишка и с ещё большим азартом бросался в работу.

Обедали наскоро и скромно. Похватили тёплой ещё картошки из чугуника, сгрызли по кавалку мяса, кваском всё сверху залили и опять за цепи. Ветер ко дню усилился, зерно стало провеиваться чуть ли не с одного разу, упустить такую удачливую погоду было никак нельзя. Только ближе к вечеру, когда уже совсем подошли к концу просушенные снопы, и стало ясно, что со всем намеченным управятся засветло, Прохор Алексеевич «отпустил поводья».

«Гришка! — распорядился он. — Бери Олькиных робят и загружайте овин. Дров пусть натаскают, но не затопляйте. Полашка — обряжаться, Алексанко — воды да дров в избу наноси, а мы тут с Олькой да девками одне управимся, — всё с той же неиссякаемой энергией младший сын бросился выполнять отцовский наказ, и уже вдогонку Прохор Алексеевич бросил: — Печки помоги матери истопить. И в нашей половине, и в дядюшкиной, понял?»

«Понял!» — уже на бегу крикнул Алексанко.

«Ты што это, Прохор Алексеевич, раскомандовался? — раздалось от дома, и все Демидовы, разом посмотревшие в одну сторону, увидели, что к ним приближается Захар Власов. — Бог в помощь! — бодро возгласил он, подойдя поближе. — Здорово живут!»

«Здорово, Захар Петрович! — поочерёдно поприветствовали деревенского старосту демидовские мужики. — Каким к нам ветром?»

«Знамо дело каким — попутным! Севодни он один на всех».

«Никак тожо молотили?» — высказал догадку Прохор Алексеевич.

«Молотили! — удовлетворённо подтвердил гость. — Севодни, считай, половина Уйдомы молотит».

«И каково?» — подхватил разговор Ольга.

«Да десяток-полтора пудов-то, поди, вышло, — задумчиво прикинул Власов. — Можот, и поболе... а у вас каково?»

«Да, пожалуй, всё сгрести, дак и два десятка набезит», — предположил Демидов-старший.

«Ну, у вас молотильщиков-то звон сколько. А мы с Федькой вдвоём; тут много не намашился».

Власов как-то посерел при этих словах, словно бы они его пеплом обдали али пылью какой, и поник. Все сразу поняли, что о родне своей, на войну ушедшей, вспомнил человек; как-никак на трое мужиков хозяйство-то уменьшилось, а работу-то никто не убавлял. Какое-то время слышно было, как пошумливает ветерок в голых берёзовых ветках, сбивая с них остатки снежного серебра, да постукивают поленья, которые таскали к овину Олькины пацанята.

«Н-да, — задумчиво протянул, наконец, Прохор Алексеевич. — Война, война...»

«Я вот чево хотел-то, — отогнав мрачные мысли, продолжил Власов. — Ты не ладишь ли нынче ржицы-то подмолоть, а, Ляксеич?»

«Да как, парень, не лажу! — воскликнул Демидов. — Муки уж ни стаёт совсем, ерушники пикчи, тово и гляди, не из чево скоро будёт».

«Дак, можот, завтра бы и съездить нам на мельницу-то? — предложил Власов. — Я с мельником уж договорился, а вдвоём-то нам сподручнее бы было; ты бы мешка три-четыре на воз-от, да я бы столько жо на свой — по первопутку-то, сам знаёшь, боле не с руки — зараз бы всё смолоть, дак и отходу меньше».

«Это-то бы хорошо», — оживился Демидов.

«А муку бы после пополам в те жо мешки», — закончил Власов.

«Ладно, коли так, — согласился Прохор Алексеевич. — Федька у тебя это дело знает, с Гришкой вдвоём и управятся».

«Сам поеду!»

«Чево так?»

«Да у Федьки баба на сносях, дома пусть побудёт — мало ли чево».

— 6 —

Уже порядочно стемнелось, когда Гришка, завершив порученное отцом дело, возвратился на подворье. Поставил в угол садника санки, на которых возил снопы, повесил моток верёвки на большую деревянную спицу, торчащую из стены, прислушался. Было тихо. Не слышно было обычной для этого времени суток хозяйской суеты, не видно Алексанка, который должен бы носить дрова для печи или воду, даже беспокойные весь белый день Илейка с Ванькой никак не проявляли себя. Только во дворе что-то тихонько постукивало, да доносился приглушённый басок, — очевидно, отец возился со своей кормилицей, готовя её к завтрашней поездке на мельницу. Гришка поднялся на мост, прошёлся по его тёмной длине и отворил дверь в избу. Пусто. Ни Нюрки, ни Огашки, ни Алексанка, а главное — матери. «Чудно! — подумал Гришка. — Куда все подевались?»

Он открыл дверь на мост, намереваясь пройти в дядюшкину половину, и вдруг столкнулся впотьмах с каким-то человеком. Потеряв равновесие, он судорожно обхватил неизвестного руками, чтобы не упасть, и мгновенно понял, что неизвестный — девушка. Не женщина, а именно девушка, потому что одной рукой Гришка почувствовал тонкую талию, а другая врезалась от неожиданного столкновения прямо в упругую девичью грудь. Не успел он и подумать — кто бы это мог быть, как левая щека его жарко вспухла от звонкой пощёчины, а насмешливо-шутливый голос игриво произнёс:

«Ты чево это, Гришка: пряниками не угостил, а уж заигрываешь?»

«Манька?! — оторопело выдохнул Гришка. — Ты чево тут?»

«Дело у меня», — задорно отозвалась девушка.

«Дело? — удивлённо-недоверчиво воскликнул Гришка. — Какое ишо дело?»

«К Пелагее Антоновне дело», — обиженная Гришкиным тоном, сухо уточнила девушка.

«Нету ие. Сам искать взялся, да вот... на тебя напоролся».

«Так-таки и напоролся?!» — недоверчиво-игриво возразила Мария.

«А как ишо? — всё тем же сухим тоном возмутился Гришка. — Знамо дело, напоролся. Чуть не упал даже».

«Ну-ну, — опять многозначительно отозвалась девушка. Помедлила немного и добавила: — Как объявится Пелагея Антоновна, передашь ей вот это», — и сунула в

Гришкины руки небольшой парусиновый мешочек. Её тёплые мягкие пальцы на мгновение встретились впотьмах с Гришкиными, тот хотел их сжать, хоть на немного, но Мария быстро отдернула руку.

«Што это?» — спросил Гришка, имея в виду мешочек.

«Мак. Пелагея Антоновна сказывала вчерась, што любит пикчи с маком, а ево у ей нету. А у нас мама завсегда маку целу грядку садила, вот я и посулилась».

«Ты зашла бы, — опомнился, наконец, от своей неловкости Гришка. — Я ие сичас найду — сама и передашь».

«Да нет уж, — отказалась Мария, — как-нибудь в другой раз».

«Ковда в другой-то?» — спохватился Гришка.

«А ковда поласковой встречать будешь готов, товда и в другой!» — кокетливо ответила девушка и повернулась на выход.

«Маня! — попытался остановить её Демидов. — Мария!..»

«Пока-а-а, Гришенька-а-а! — уже через порог певуче отозвалась та. — Пелагее Антоновне поклон от моего тати», — и исчезла в загустевшей темноте улицы.

«Да где жо, в самом деле, все? — уж и с тревогой подумал Гришка. — Ведь хоть бы хто-нибудь бы был...» Он замер, затаив дыхание, и прислушался.

Во дворе беспокойно постукивала корова — наверное, рогами об ясли — раза два-три бебкнули овцы, и тут вдруг до Гришкиного слуха долетели какие-то глухие звуки, напоминающие редкий хохот. Он не успел ещё сообразить, что бы это означало, как дверь на мост из дядюшкиной половины распахнулась, и в полосе света, шедшей из избы, Гришка увидел Лину. Она буквально вылетела на мост, вышибив на ходу дверь вытянутыми руками, и странные эти звуки, заглушённые стенами и напоминающие редкий хохот, со всей обнажённой обрушились на Гришку горчайшими безутешными рыданиями! Лина повернулась на мосту по направлению к выходу, но его проворно загородила собой Пелагея Антоновна. Девушка резко развернулась в противоположную сторону и, страшно разметав во все стороны длинные раскосмаченные волосы, бросилась прямо на Гришку. Наткнулась на него впотьмах, толкнула так, что он отлетел в сторону, будто пустой куль, и выскочила на улицу.

«Лина! Линушка!!» — бросилась за ней следом её мать, но девушка бежала слишком быстро, чтобы её могла настичь 45-летняя женщина.

Из дверей выбежали все младшие Демидовы, все с рёвом, кроме Алексанка, и ничего не понимающий Гришка подал, наконец, голос:

«Чево сдялось-то?»

«Гришенька! — грохнулась перед ним на колени тётушка Нино. — Гришенька, догони её, ради Христа! Ради Христа, Гришенька, догони скоряя, ведь она на Курженьгу топича побежала!» — последнее слово подхлестнуло Гришку, как кнутом. Он вскочил на ноги и, не спрашивая больше ни о чём, что есть мочи бросился в погоню.

Лины уже не было видно даже на улке. Гришка пронёсся до самого её конца и только на спуске, под угором, разглядел кое-как маячившую в темноте убегающую чело-веческую фигуру. И неизвестно, догнал ли бы он её вообще — уж больно резва на ноги оказалась его сестрёнка — да только подвернулся ей на бегу ни то камень, ни то кочка какая, она запнулась и со всего маху полетела на снег. И встать уж больше не пыталась... Только выла страшным воем, как собака по покойнику, да била кулаками в иступлении по замёрзшей земле без передыху.

«Лина! — навалился на неё Гришка. — Линушка! Што ты?!»

«Пусти! — сквозь непрерывные рыдания яростно, дико закричала девушка. — Пустите меня!.. Вы!.. Все!.. Пустите!!»

И, как обезумевшая, набросилась на Гришку, мгновенно рассадив ему в кровь и рот, и нос, и щёки — всё, до чего достали её маленькие остренькие кулачки. Гришка загородился от неё руками, пытаясь хоть как-то защититься, — она заколотила его по рукам. Он попытался схватить её за локти — ему это удалось, но Лина яростно боднула его головой по зубам с такой силой, что у Гришки потемнело в глазах.

«Пусти! Пустите меня!! — всё тем же диким нечеловеческим голосом верещала сестрёнка на всю округу, пытаясь вырваться из Гришкиных рук. — Я всё равно утоплюсь! Я всё равно не буду жить без него! Не буду! Не буду!! Не буду!!!» — она ещё сильнее замотала головой, яростно отбиваясь от Гришкиных объятий, и тот еле успевал убирать своё лицо от новых ударов. А с угора уже бежали одна за другой две женщины. А от деревни уже катилась плачущими колобками вся демидовская малышня, оглашая округу пронзительным криком.

«Линушка! Доченька моя!» — первой добежала и упала рядом с дочерью тётушка Нино. Её руки накрыли плечи девушки, сама она привалилась сбоку и сверху, будто стараясь отгородить свою кровиночку от жестокой беды, и плечи её затряслись от крупных рыданий. С другого боку припала к спине племянницы подбежавшая Пелагея Антоновна, обхватила её руками, прижалась плотно, словно бы хотела втянуть та-

ким способом её боль на себя.

«Дитяtko ты сердешное! — воскликнула и заплакала так же горько, как плакала и сама Лина. — Горюшко ты горемычное горькое!»

А с угора той порой скатились колобки-малыши, выстали сторожкими столбиками вокруг лежащих на снегу плачущих матерей да сестрѐнки и заскулили тоненько по-щенячьи, не сознавая ещё до конца, но понимая неокрепшими умишками, что большое горе ворвалось в их мир. Их нестройный хор всё более и более крепчал, по мере того как усиливались причитания матерей, и по тоскливости своей стал походить уж более на волчий, чем на пѐсий, и тогда не выдержала этой заунывной симфонии тѐтушка Нино. Она оторвалась на мгновение от земли и от дочери, которую укрывала и утешала, воздела высоко к тѐмному небу руки и разразилась безысходной совершенно неожиданной скороговоркой и мольбами по-грузински.

Ошарашенный, молча стоящий рядом на коленях Гришка совсем ошалел при виде такой словесной тирады, впервые им услышанной, непонятной и оттого ещё более пугающей. Он даже кровь, обильно сочившуюся из разбитого носа, перестал вытирать и уж совсем сгорать начал от любопытства — за что ж его так размолотили, но рот, видя состояние плачущих женщин, открыть всё ж таки не решался.

Неожиданно Лина сама резко повернулась, лёжа на земле, и, отбросив руки утешавших её тѐтушки и матери, села.

«Нету мне без ево жизни, мамушка! Весь свет белый для меня без моего Миколушки потух! Незачем мне на ево глядеть, незачем жить!..» — всё с той же мрачной решимостью выкрикнула она и резко замотала головой из стороны в сторону, не сдерживая опять нахлынувших рыданий.

«Убили! — догадался Гришка. — Миколу «Котѐнка» на войне убили! Ах ты, Господи...» Он засуетился бестолково, всё так же стоя на коленях перед плачущими родственниками, не зная, чем облегчить их страдания. Вскочил на ноги, снова припал на колени, наклонился к Лине, отпрянул... «Так вот от ково нынче на Покров она сватов-то дожидалась! Дак вот от чево засмушалась-то на встретицах, когда про это все заговорили! — заполошно забились в его голове новые догадки. — Ах ты, Господи!.. Ах ты, Господи!..»

Зашумело в лесу от холодного ветра, закачались под его порывами длинные макушки ёлок, и полетела редкая снежная пыль с деревьев в густеющую темноту.

«Пойдѐм, Линушка! — жалобно попросила тѐтушка Нино. — Пожалей ты нас всех, не плоди горя дальше, ведь даже все ребята изревелись за тебя, посмотри-ко».

Она накинула на плечи поднимающейся дочери свой платок и обняла её одной рукой. С другой стороны племянницу поддержала Пелагея Антоновна, и все трое медленно побрели по улке в угор. Следом зашевелились присмирившие малыши, один Гришка только ещё остался на своём месте. «Это как жо она ево жалела, коль топичья побежала? — потрясѐнно подумал он. — И ведь не скажешь, глядя на ие! Ах ты, Господи! Ах ты, Господи!»

Из разбитого носа густо капала кровь. Он загрѐб пригоршнями свежий снег с земли и приложил к разгорячѐнному разбитому лицу, желая остановить её. Подержал так, пока снежок почти весь растаял, загрѐб новый, снова приложил. Вспомнилось, как залиvisto играла на власовских проводинах Миколина гармошка, как весело отплясывали под её лихие переборы власовские гости. Вспомнилась и сама Лина — улыбающаяся и раскрасневшая в разудалой пляске, озорно и игриво бросающая быстрые взгляды на гармониста. Вспомнилась притихшая толпа у ворот церкви, провожающая мужиков на войну, и его сестрѐнка, присмирившая и впервые открыто прижавшаяся Миколу под руку. Вспомнилось и то, как Лина, одна из немногих, долго шла в обнимку с Миколой по его солдатской дороге, не проронив за всё время ни единой слезинки, ни разу не всхлипнув даже, но и не улыбнувшись. И вот теперь Миколы больше нет... И все слѐзы, и вся горечь, застрявшие тогда в девичьей душе, лавиной выплеснулись сегодня при известии о его гибели.

«Ах ты, господи! Ах ты, господи!» — как молитву, как святое заклинание уж и вслух всё повторял и повторял потрясѐнный Гришка, уже поднявшись, уже медленно потащившись в угор вслед за своей роднѐй, не находя никаких других слов. Ещё никогда столь близко и столь остро не касалась его боль людская от потери близких на войне, и было невыносимо тяжело сознавать, что это лишь самое первое известие. Что таких тяжѐлых извещений ещё будет много, и очень много ещё прольѐтся горьких вдовьих и девичьих слѐз на русской земле, покуда не утихнет эта жестокая схватка с германцем. И с горем этим надо научиться как-то жить.

...Наутро он приехал к церкви первым. Долго сидел на возу в ожидании Захара Петровича, уже начал было зябнуть под свежим утренним ветерком, уже собирался сам поехать к Власовым, и в это время на дороге показалась их кобыла, тянувшая сани с зерном. Но только на возу, как подъехали поближе, вместо хозяина Гришка не ожи-

данно увидел Федьку вместе с его младшим сыном.

«Здорово, Гришка», — как-то уж очень серьёзно, нисколько не улыбнувшись, приветствовал его друг.

«Здорово, — озадаченно отозвался Демидов. — Ты же должен был дома остаться. Отец твой сказывал, что Настасья твоя на сносях. Чево ж поехал-то?»

Федька как-то странно помолчал, глядя куда-то вдаль, и, не поворачиваясь к другу, тихо проговорил:

«Лукерья наша всю ночь со вчерашнево вечера воем воеет и головой по полу да по стенам, как припадошная, лупит. Мати вся занемогла через это — татя и велел мне место ево ехать»...

«А што с Лукерьей-то?..»

«Степана у неё убило».

Глава седьмая

— 1 —

Голубые человеческие глаза раскрылись... повернулись направо, потом налево, пошарили выше и ниже — зацепиться не за что. Только тяжёлый каменный свод над головой, да кое-где массивные кольца из толщи этого свода. Глаза закрылись, замерли, часто-часто поморгали, раскрылись снова — картина не менялась. «Где это я?» — шевельнулось в голове, которой принадлежали глаза... Тело, на котором росла голова, зябко поёжилось, и в то же мгновение всё его в мелкие ключья разорвали острейшие когти безжалостной боли! Голова громко вскрикнула от этой боли и тяжело, протяжно застонала. Болело всё: ноги, почему-то босые и ободранные, поясница, которую, казалось, переломило надвое, сама голова раскалывалась на множество частей и тяжело гудела, как набатный колокол, живот, весь сжавшийся в один большой комок сплошной боли, но особенно саднила рука. Голова повернулась вправо, и в слабом луче света глаза её заметили большую повязку на плече, закрывающую боль...

Голова принадлежала Ваське Власову... После того убийственного по силе удара германского приклада в окопе его с остервенением германцы ещё несколько минут потом лупили в три приклада. Лупили не жалесь, куда ни попадя, наотмашь и наутычку, до предела осатанев и не помня себя. Лупили, вымещая, очевидно, на нём и зло за своих посеченных его пулемётом соотечественников, и взбешённые его отчаянной, но не удавшейся попыткой скосить и их самих из того же пулемёта... И забили бы вконец его в том окопе, да разорвалась от одного из ударов власовская гимнастёрка, и вывалился поверх её медный крестик, надетый на Ваську при крещении. И остановили враги занесённые для очередного удара приклады. И каждый из них пришёл к простой мысли: «А ведь у меня-то такой же!» И устыдились германцы от содеянного. Не от того устыдились, что убили неприятельского солдата, а от того — как убили! Как нехристи какие, басурманы безбожные... И ушли своей дорогой, даже не подумав, что он ещё жив.

И умирать бы Ваське в безвестности и забытии, да крепок оказался его жизненный корень и жилистым тело. В беспамятстве пролежал он так, на дне окопа, до утра, а с восходом солнца сжалилась над ним судьба его и проявила милосердие. Пришло оно к нему в виде старой немки, которая на другой день, прихватив с собой свою 20-летнюю дочь, пошла по полю, где накануне полыхало жестокое побоище. Пошла с единственной мыслью: не нужна ли кому из соплеменников её помощь. Долго бродили они меж бездыханных тел лошадей и людей, выискивая среди них признаки жизни, но всё вокруг было мертво... Душина!!.. Но две женщины — старая и молодая — всё ходили и ходили вдоль окопов, часто крестясь, в надежде хоть кого-нибудь да живого найти. Никого. То ли похоронная команда накануне своё дело чисто сделала, то ли там просто никого живого не осталось после столь жестокого боя.

И собрались было женщины домой, да вдруг как вроде кто-то состонал. Переглянулись — нет, не почудилось, да только кому стонать-то? Да и звук как будто бы из-под земли... Снизу откуда-то. Глянули под ноги, а там двое: у одного лишь голова торчит наружу из песка, да и вся синяя, а вот другой хоть и не шевелится, но синевы в лице не видно. Уж не этот ли? Впились в него немки пристальным взглядом, дабы убедиться в своих предположениях, а лежащий снова состонал. Отчётливо, хоть и тихо. Старая немка и полезла в окоп.

«Мама! — протестующе воскликнула её дочь. — Это же русские!»

«Молчи! — строго сказала старая немка. — Помоги лучше».

«Наш император с русским царём воюет! — не унималась дочь. — Может быть, сейчас русские солдаты стреляют в нашего Карлушу, а мы что же? Помогать?»

«Молчи! — снова строго приказала мать. — Наш Карлуша воюет во Франции, и русские солдаты не могут в него стрелять. А у этого, видишь — крест на груди? Такой

же, как у нас. Он был врагом, пока стрелял! А сейчас он беспомощен. И бросить его, не помочь ему — грех! Исполним свой долг, как велит нам Бог, глядишь, и к Карлу нашему Господь будет милосерден. Добро — добро плодит. Помогай!»

Они с превеликим трудом оторвали от земли обмякшее Васькино тело, долго тужились, куда вытащили его наверх, и потом до изнеможения тащили на себе в сторону дома. Вконец обессилив, оставили его в тени и сходили за тележкой, которая выручала их в хозяйских делах. Перевалили Ваську на неё и уж на тележке довели до своего хутора. А куда дальше?

«В подвал его», — решила мать.

«Но там же сыро и холодно, мама!» — возразила дочь.

«А мы ему туда сена натаскаем, соломы побольше, одеялом укроем, сверху опять сеном — не замёрзнет».

– 2 –

За стенкой каменного мешка состукало, и через мгновение зашаркало что-то в дальнем и тёмном углу, словно бы там скреблась мышь. Васька не успел ещё понять природу этих звуков, как тёмный угол осветился вдруг призрачным светом и разошёлся узкой невысокой дверью. На каменных ступенях, ведущих вниз от двери, появилось прелестное создание в длинном, чуть не до полу, одеянии, подпоясанное цветастым передником и укутанное в лёгкий платочек. Порхая по тяжёлым камням, словно ангелочек, оно сделало несколько привычных, судя по всему, шагов вниз и вдруг наткнулось быстрым взглядом на широко раскрытые от удивления Васькины глаза. На мгновение их изумлённые взгляды схлестнулись и замерли недвижимо от этого изумления и испуга.

«Ой!» — воскликнуло «создание» уже в следующую секунду и, круто повернувшись, исчезло из виду, оставив незакрытой дверь.

Снаружи слышались возбуждённые голоса, снова какой-то шум, и на верхней ступени каменной лестницы появилась старуха. Конечно, фрау Марта ещё не была старухой по возрасту — ей только начался седьмой десяток — но жизненные потрясения до срока износили её. Она подошла к Васькиному изголовью, низко наклонилась над его лицом и встретилась с осмысленным открытым взглядом его голубых немного испуганных глаз.

«Wasser!» — коротко бросила она в пространство какое-то непонятное слово.

«Ангельское создание», оказавшееся за спиной старухи, с необычайным проворством взлетело вверх по каменным ступеням и исчезло в двери. Мгновение — и оно уже вновь на пороге с большим кувшином в руках. Девушка подала кувшин своей повелительнице и во все глаза уставилась на Ваську. Старуха наклонила кувшин и плеснула себе на руку. Провела смоченной ладонью по лицу лежавшего, и, ощутив на губах живительную влагу, Васька почувствовал, как же нестерпимо ему хочется пить.

«Дай!» — он схватился за кувшин обеими руками, потянувшись за ним при этом, но в ту же секунду громко охнул и со стоном повалился назад.

Старуха буркнула чего-то молодой, та быстро забежала Ваське за голову и бережно приподняла её вверх. Строгая приказчица опустила на колени и осторожно поднесла кувшин к Васькиным губам. Он вцепился в него и зубами, и руками, готовый прижать к себе, как ребёнка, и долго, захлёбываясь и кашляя, пил, пока кувшин не опустел. С последним глотком он беспомощно отвалился и, протяжно выдохнув, обессиленно закрыл глаза.

«Noch!» — опять коротко бросила старуха непонятное слово и протянула опустевший сосуд молодой.

Та мгновенно сорвалась с места, направляясь к выходу, но через минуту появилась в подвале опять, снова неся в руках полный кувшин воды. На сей раз Васька не проявил к нему никакого интереса. Старуха, меж тем, что-то тихо сказала молодой, и та, послушно опустившись рядом с ней на колени, стала лить из кувшина воду на сухие сморщенные ладони своей повелительницы. Набрав в них воды, та осторожно обмыла Васькино лицо, шею, руки. Откуда-то из-за головы его достала полотенец и тщательно, но осторожно всё вытерла... Потом, повернувшись к молодой, опять ей что-то пробормотала, и та через несколько минут притащила посудину, похожую на горшок, из которого поднимался лёгкий парок. Обе заняли прежние места вокруг Васьки, и старуха, придерживая горшок одной рукой, зачерпнула из него другой полную ложку чего-то ароматного. Осторожно поднесла её к Васькиным губам и повелительно произнесла:

«Essen!»

Это была овсянка. Жидкая, как похлёбка, но запашистая и, судя по всему, намоле. Васька тихонечко схлебнул её и судорожно проглотил. Истерзанное, забывшее пищу тело дёрнулось, как будто внутрь его проталкивали растопыренного ерша, но очень скоро первые острые реакции сменились ощущениями приятного расслабляю-

щего тепла. Старуха, меж тем, уже держала наготове новую порцию, и Васька с удовольствием схлебнул и её. Третья ложка каши прошла по проторённому пути уже без напряжения, и, уяснив это, Васька со всё большим желанием и аппетитом схлёбывал новые и новые порции, покуда не съел всё. По всему телу разлилась приятная истома, голова стала погружаться в сонное забытё, и Васька снова закрыл глаза.

«Спасибо!» — успел прошептать он разбитыми губами и забылся. Старуха заботливо подоткнула под его бока одеяло, прикрыла всё сверху сеном, и обе женщины тихо ушли.

Остаток дня Васька спал. Нормальным человеческим сном, изредка постанывая от укусов боли, которые испытывал при попытках пошевелиться, и слегка посапывая. Он не слышал, что ещё дважды заходило в его подвал «небесное создание» и подолгу сидело у его головы, с любопытством разглядывая Васькино лицо. Хотя чего там было разглядывать: живыми там были только одни глаза, на тот момент закрытые. Остальное — сплошное красно-синее месиво, поросшее местами кустиками волос в виде Васькиных усов, бровей и, уже теперь порядочной, бороды. «Создание» горестно вздыхало при виде столь ужасающей картины и жалостливо куксилось.

— 3 —

Марта Фогель никогда в своей жизни не была красивой или хотя бы привлекательной. С самого детства она росла каким-то нескладным угловатым дичком, сторонившимся окружающих, и когда пришло время округляться в девические формы, изменений её тело так и не претерпело. Оно только ещё более вытянулось, подчеркнув худобу и угловатость Марты, и это новое обстоятельство лишь усилило её замкнутость.

Она была младшим ребёнком в семье, где все четверо детей были девочки, и по мере того, как они, взрослея, разлетались по вновь обретенным семьям, она чувствовала себя всё более спокойно и просто. Что своим присутствием на свете, своей нескладностью она не обременяет никого больше или, по крайней мере, обременяет не сильно. Родители её, видя какой растёт их младшая, всерьёз встревожились за её судьбу уже после выдачи замуж третьей из дочерей, но было слишком поздно. Марта ушла в себя и никого не хотела пускать в свой тесный мирок-скорлупку. Даже родителей. Тихо переживала своё одинокое состояние, иногда плакала горестно, оставшись одна, что она не такая, как все, но изменить что-либо была не в силах. Никто из мужчин не обращал на неё ни малейшего внимания.

Когда ей исполнилось 27 и все мыслимые и немыслимые сроки нормального замужества миновали, мать отвела её в церковь, где и открылась в своей и дочерниной беде тамошнему священнослужителю. Одна Марта не сделала бы этого, конечно, никогда. Им повезло. Они были внимательно выслушаны, душевно утешены, насколько это было возможно, и девице Марте был дан простой совет: если она действительно и всерьёз хочет завести семью, то должна усердно и неустанно просить об этом Бога в искренних молитвах. Марта не имела в тот момент столь жгучего желания, и прошло ещё семь долгих для родителей лет, прежде чем такое желание по-настоящему проявилось.

Когда Марте сравнялось 35 и она впервые остро почувствовала весь ужас своего положения, равно как и отчётливую перспективу навсегда остаться старой девой, она словно бы спохватилась о безвозвратно потерянных годах. На какое-то время её охватило глубокое отчаяние, и она чуть было не утопилась от ощущения безвыходности положения, но в последний момент вспомнила о совете, полученном в церкви восемь лет назад. Воспоминание это подхлестнуло её, и Марта начала столь истово и усердно молиться, что ей мог бы позавидовать любой фанатик. Она и раньше-то исправно соблюдала все каноны веры: регулярно посещала церковь, терпеливо постилась и, словом, вела себя вполне послушно Господу. Но делала это скорее по инерции или по какой-то обязанности — ведь все так делают — не жели по истинному движению души.

И вот пришёл такой день. И встрепенулась её душа, и потянулась, и запросила, и застонала в желаниях познать все муки и лишения истинно верующего человека, и Марта преобразилась. Она перестала замыкаться в себе, стала больше бывать на людях, ещё усерднее исполнять все церковные заповеди, и молиться, молиться, молиться.

И ведь случилось! Уж и родители-то перестали верить, что в судьбе их младшей дочери что-то может измениться, а ведь изменилось! И года не прошло, как попалась она на глаза отставному военному, который и жил-то неподалёку, и встречал, быть может, Марту, да и она, возможно, видала его. Видала, да не замечала. А он и тем более, поскольку был занят службой и семьёй. Собственно, и семья-то — всего двое: он да жена — не дал Бог детей. Но вот жена умерла от какой-то болезни (а может, и от попытки полечиться от бездетности), и бывший кавалерист остался совсем один. Имение его было небогатым, прислуги немного, служба уже не занимала столько времени, как раньше, и стареть бы ему в одиночестве весь век свой, вернее его остаток, да услышал он как-то историю Марты, а вскорости и увидал её. И как уж он там на неё посмотрел, каки-

ми такими глазами, или, может, жалость взяла своё, но предложил он остороженько (чтобы не ранить сильно, в случае чего, ни себя, ни её) пожениться — она и согласилась. И хоть было между ними двадцать с лишним годочков, и Марта ему в дочки бы годилась, а сошлись. Да и ведь зажили же! Вот ведь чудеса какие жизнь порою делает!

Будто почка спящая древесная, дремало в душе Марты не востребованное материнство, а как срубили основной ствол жизни безжалостным топором прожитых годов, почка-то и проснулась. И потянулась вверх, потянулась, согретая теплом другого, и расцвела ведь! Год с небольшим минул — родила она своему мужу первенца! Чуть не умерла при этом, но родила, мало не сведа его с ума от такой радости, да и сама едва не лишилась рассудка от обрушившихся первые — в таком-то возрасте! — материнских впечатлений. А дальше уж разохотилась; ещё бы надо, да не получалось сразу-то. Только распечатав пятый уж десяток, разродилась она дочкой, но тоже в таких страшных муках, что решила: большего подарка от судьбы и Бога ей желать уже не надо и, видать, сам Господь посылаемыми муками указывает ей — вложить себя без остатка в то, что получила. И она вложила. Всю себя вложила в мужа и детей!

Жили они складно и дружно. Уставший от военных походов муж как бы заново родился, оттаяв в домашнем тепле. Он души не чаял в своих детях, столь неожиданно появившихся уже в безнадежном, казалось, положении, а супругу свою просто боготворил! И вот ведь опять чудо: изменилась Марта! Чисто внешне изменилась. И формы её округлились, и поведение, и отношение к жизни. Красавицей писаной она, конечно, не стала — не дала природа — но привлекательность, несмотря на 40 с лишним прожитых лет, вполне появилась. А если добавить любвеобильность её к детям, мужу и окружающим, которая расцвела ярким цветом, то получалось уж совсем хорошо.

Но мало. Недолгим оказалось её семейное счастье. Карлуше только 10 лет минуло, как заболел его отец неизлечимо. Сохнул и гас на глазах, лишь усиливая страдания домочадцев, и никакие лекари помочь ему не смогли. Схоронили. А ещё раньше похоронила Марта своих родителей. И вот снова осталась одна. И замкнулась опять, как и до замужества. Ушла в свою, ей одной ведомую скорлупу, словно в келью, и отгородилась от остального мира, как стеной.

Одна отрада в жизни осталась — дети. Только для них она старалась оставаться прежней Мартой. Той, которую они знали и которой отвечали любовью на любовь. Для всех остальных она исчезла, закрылась, растворилась, превратилась в привидение, молчаливое и пугающее. Носить стала всё чёрное, будто монашка, и платок на голову тоже всегда надевала тёмный. Слово поздний снег под вешним солнцем растаяла расцветившая её было привлекательность. Она опять высохла, потемнела, а под грузом свалившихся на неё лет и горя пострашнела, почти как русская баба-яга, и совсем постарела.

Пожили сколько-то в имении покойного мужа и переехали. В своё. Не вынесла душа у Марты этих стен, уже не согретых мужниным теплом. Чужие они ей стали и холодные, как стены склепа, и уехала она жить к себе. Тоже не дворец — не шиковали её родители при жизни — но всё же своё. Знакомое с детства и родительским духом да теплом обогретое. А как Карлуша вырос — стал в отцовском доме полноправным хозяином. Но покуда это произошло, старалась Марта за двоих вложить в своих детей добро и любовь. Любовь к людям и добро к миру. И ещё трепетное почитание Бога, в котором неизменно пребывала сама, и искреннюю веру в него. И всё это ей вполне удалось. Её дети выросли добрыми, внимательными, и к ней, и к окружающим, и в безусловном почитании и вере в Бога. Карлуша пошёл по стопам отца и стал военным, а ласковая маленькая Анхен с малых лет тянулась к музыке и животным.

Так и прожили они ещё 10 с лишним лет в уединении и затворничестве, покуда в их тихий и спокойный мир с рёвом и грохотом не ворвалась война, а мирное поле за домом, на котором проливал свой пот ещё дедда и сама Марта в девичестве, не превратилось в обезображенную взрывами, заваленную трупами лошадей и людей пустыню.

— 4 —

«Небесное создание» появилось гораздо раньше, чем это можно было предположить. Васька ещё дремал или просто лежал в раздумье с полузакрытыми глазами, когда в тёмном углу знакомой мышью заскребся большой ключ в старом замке, и узенькая дверь осторожно отворилась, пропустив вперёд маленькую немку. Она почти неслышно спустилась вниз и тихонько подошла к тому месту, где лежал Власов. Васька всё это слышал, но нарочно не стал открывать глаза, чтоб не напугать девушку, как в первый раз. Немка подошла к Васькиной лежанке и осторожно присела перед ним на корточки. Как и поздно вечером, она принялась разглядывать раненого русского, всё больше и больше проникаясь состраданием к нему. В какой-то момент ей даже захотелось погладить его изуродованное лицо, но она сдержала себя, боясь разбудить лежащего, и осталась в прежней позе. Зато Васька, то ли почувствовав желание вошедшей, то ли

просто решив, что пора, осторожно, будто просыпаясь, немного приоткрыл глаза. Немка не испугалась, как накануне, она просто встретилась с ним взглядом и приветливо улыбнулась.

«Guten morgen!» — знакомые слова резанули по сознанию, но голосок немки был ласков, приятен слуху, и Васька улыбнулся ей в ответ, не зная, что сказать.

Немка тоже смешалась в растерянности, и какое-то время они молча разглядывали друг друга. Повязка на Васькином плече заметно белела в сумраке подвала, притягивая к себе внимание, и девушка осторожно протянула к ней руку, слегка коснувшись маленькими пальчиками.

«Kranke...» — полувопросительно-полуутвердительно почти прошептала она и тихо, ласково погладила раненое плечо. Прикосновение, даже малейшее, к повязке, под которой было живое мясо, вызывало острую боль, но голосок немки был так ласков, маленькие пальчики так нежны, что Васька стерпел, ничем не показав, что ему больно.

«Wie haist du? — продолжила она тем же ласковым голосом, но Васька, хоть и уловил вопросительную интонацию, только улыбнулся в ответ. — Wer ist du? Ефан, ia?» — перемежая непонятную речь с явно русским именем, исковерканным на германский лад, снова вопросительно произнесла немка. Ваську покорило это «Ефан», и он несколько раздражённо, но всё же спокойно сказал:

«И никакой я не Иван, а Васька. Понятно? Ва-ся!» — догадался произнести он с расстановкой последнее слово и уставился на немку.

«Вась-я... — осторожно произнесла та. — О, Васья! — и просияла открыто, по-детски радостно, стерев возникшую было у Васьки раздражённость. — Ich bin Anhen! — радостно сообщила она через мгновение. — Anhen! — и легонько толкнула себя в грудь. — Verstehst?»

«Анхен, — мысленно повторил про себя Васька дважды услышанный звук. — Анхен... Похоже, что это её имя».

«Тебя зовут Анхен? — произнёс он вслух. Заметил смущение на лице девушки и коротко добавил: Ты — Анхен?»

«О, ia, ia! — радостно закивала та. — Ich bin Anhen! Und du bist Васья, ia?»

Васька уже догадался, что многократно сказанное «я» означает у германцев совсем не то, что у русских, и поняв хотя бы это, поправил:

«Не Васья, а Вася. Понимаешь? Просто Вася. Ва-ся», — снова произнёс своё имя по складам в завершение.

«Ва-ся... — осторожным эхом откликнулась девушка. — Ва-ся», — повторила ещё и вдруг радостно захлопала в ладоши, смеясь и без ошибок повторив новое слово несколько раз.

Дверь в подвал отворилась, и на каменных ступенях появилась знакомая уже старуха.

«Das ist meine mutter!» — звонким колокольчиком прозвенело «небесное создание»; заметила растерянность в Васькиных глазах и добавила, ласково поглаживая по дошедшую по ногам: — Muti! Muti!»

«Мути... — повторил про себя Васька. Сравнил услышанный звук с созвучным русским словом, поглядел, как ласково гладит маленькая немка этот «костяной столб», и догадался: «Мать! Это её мать! Мути... мутэр... хм-м, а ведь похоже на нашу».

Старуха, меж тем, что-то строгое сказала своей дочери, отчего улыбка на её лице потухла, но глаза всё равно радостно лучились навстречу Ваське. Вдвоём они проделали все вчерашние утренние процедуры, почти не разговаривая при этом, накормили Власова знакомой кашей-похлёбкой и так же молча ушли... После съеденного завтрака приятное тепло вновь заполнило всё его тело, и он быстро забылся в цепкой дреме.

Разбудил его всё тот же мышиный скрёб из угла, где находилась дверь в подвал, и, открыв глаза, он увидел на ступеньках Анхен. Дневной свет сильнее проникал в подвал, чем утром, очевидно за стенами светило солнце, усиливая его, и в этих условиях Васька мог уже получше разглядеть маленькую немку. Она, несомненно, была прекрасна! Явно не повторила лицом свою мать и совсем не походила на неё изящной точёной фигуркой, которую не мог скрыть даже длинный сарафан, или как он там у них назывался. Её маленькие ножки легко носили в пространстве лёгкое тельце, и порой казалось, что она порхает над землёй, как мотылёк с цветка на цветок. Светло-голубые её глаза неизменно лучились тёплым светом, а на остреньком личике почти всегда блуждала лёгкая приятная улыбка. Вот и сейчас она быстро подошла к лежащему, и малиновый звоночек её голосочка прозвенел:

«Guten tag!»

Васька наблюдал за ней от самой двери, был готов к каким-то её словам, и сказанное не стало для него неожиданностью. Быстро сравнил прозвучавшую фразу с утренней, прикинул, сколько времени прошло, и догадался: «Таг» — это день. А «гутэн» —

наверное, добрый. Как она давече сказала про утро? Как же она это сказала?.. Эх... не запомнил! Надо будет завтра. Если скажет...»

«Здравствуй! — произнёс он вслух, на что немка так округлила глаза, что ему показалось — выпадут! Васька понял, что слово это ей очень трудно, и по складам, с расстановкой повторил: — Здра-а-авству-у-уй! — помедлил малость и неожиданно для себя добавил: — Анхен!»

При последнем звуке девушка вся просияла обворожительной улыбкой, встрепенулась, что-то быстро-быстро застрекотала, как кузнечик, но до Васьки не дошло ни единого слова. Немка спохватилась, что русский не понимает её языка, и с медленной расстановкой стала произносить:

«Meine muti ist weggegangen, — и показала пальчиками на маленькой ладошке, как шагала её мать, уходя из дому. — Top, top, top, — добавила она без перевода понятный звук, — und ich komme zu dich Verstehst? Verstehst mich?» — повторила она, помедлив, но из сказанного Васька понял только то, что мать куда-то ушла и их разговору не помешает.

«А где отец? — задал он давно мучавший его вопрос о мужчинах. — Где твой отец?»

В ответ немка мило застенчиво заулыбалась и виновато пожала плечами:

«Nicht verstehe»...

«Ну, вот мама — ушла... А папа? Где твой папа?»

«Vater? Mein vater?»

«Фатэр... — повторил Васька, — ну, фатэр, где он?»

Нет, Анхен была понятливой девушкой. Просто она впервые в жизни слышала русский язык, да ещё звучащий из разбитых губ Власова, но она поняла его вопрос.

«Vater ist gestorbt», — скорбно опустив голову, тихо произнесла она, и на этот раз Васька, прикинув возраст матери-старухи, с ходу догадался о значении слова «гешторбт»...

Они ещё какое-то время пытались общаться смесью звуков и жестов, но это было так трудно, что у Васьки скоро разболелась голова, и он провалился в забытьё.

Так продолжалось несколько дней. Анхен часто навещала его. Иногда на минутку, если мать была дома, иногда подольше, если матери не было, и молодые люди с каждым днём всё больше и больше понимали друг друга. Васька уже начинал скучать, если девушки долго не было, радовался, если она появлялась одна, и огорчался, если вдвоём с матерью.

Отношение к нему старой немки не изменилось. Оно было по-прежнему заботливым и внимательным, несмотря на внешнюю сухость, а вот её короткие реплики в адрес дочери с каждым днём становились всё строже. Васька быстро поправлялся, и, замечая, как её дочь общается с этим русским, старая немка, очевидно, опасалась за последствия такого общения и всё больше суровела.

И вот наступил день, когда Власов впервые сам вышел на улицу. Анхен попыталась поддержать его на ступеньках, но он отвёл её руки и, осторожно переставляя ноги, поднялся наверх самостоятельно. Стоял погожий денёк середины осени. Светило тёплое ещё солнце, в лучах которого горела золотом не опавшая ещё листва на неизвестных Ваське деревьях. Непривычные его глазу цветы ещё вовсю пестрели возле построек, вызывая смешанное чувство нереальности бытия. Ведь на родине в это время года давно мороз. Такое же чувство вызывал и вид самого дома, в подвале которого он провёл столько времени. Привыкший к северным рубленым избам, Васька почти с изумлением и даже страхом оглядывал массивные кирпичные кладки, из которых на усадьбе было сделано всё: и сараи, и сеновалы, и скотный двор, и баня, и сам дом, и ещё какие-то пристроечки да приступочки, назначения которых он не знал.

В полное же смятение его повергла крыша! Привыкший к деревянному жёлобу глаз никак не мог поверить, что и крышу тоже можно покрыть кирпичом! Конечно, это был не такой кирпич, как на стенах, скорее, он походил на рыбью чешую, изогнутую жёлобом, но всё равно это было так чудно, что Ваське немедленно захотелось залезть наверх и посмотреть — как же эти чешуины держатся на скате. Ведь так круто! Но лазить по крышам ему было ещё очень рано, ибо закружившаяся то ли от множества впечатлений, то ли от переизбытка свежего воздуха голова живо напомнила о его недавнем беспомощном состоянии. Ваську повело, качнуло в сторону, и стоявшая рядом Анхен судорожно обхватила его за талию, не давая упасть. Васька тоже инстинктивно, в поисках опоры, наткнулся рукой на девичье плечо и крепко обнял его. Оба вскрикнули: Васька от боли в груди, Анхен от неожиданности, и в этот момент из-за дома появилась мать. Она остановилась в растерянности, увидев свою дочь, стоявшую в обнимку с русским, и в первый момент не нашла, чему больше удивляться: то ли этим, неожиданным для всех троих, объятиям, то ли тому, что русский вообще тут стоит, вместо того чтобы лежать в подвале. Анхен что-то быстро-быстро заговорила, не отпуская, однако, Ваську, и на какое-то время уголки губ её матери дрогнули от этих слов,

начав расплзаться в разные стороны. Но старая немка быстро подавила зародившуюся было улыбку, и сквозь сжавшиеся вновь сухие створки губ просочилось что-то вроде команды. Анхен встрепенулась, быстро оглядевшись по сторонам, и поспешила развернуться вместе с Васькой к подвалу. Уже оказавшись внизу, несколько раз промокнула вспотевший, видимо от слабости, Васькин лоб и убежала.

Прошло ещё два дня. В каждый из этих дней Васька теперь вставал по несколько раз, стараясь двигаться хотя бы по подвалу, а когда приходила Анхен, выбирался на улицу и расхаживал по двору, с каждой прогулкой всё больше и больше чувствуя, как силы вливаются в него расширяющимся потоком вместе со свежим осенним воздухом. А на третий день...

А на третий день в его подвал пришли германские солдаты. Их было трое. Старая немка открыла дверь в подвал, и два германца в форме спустились вниз, оставив третьего с винтовкой на входе. Один из спустившихся — по-видимому старший — подошёл к тому месту, где лежал Васька, и властно скомандовал:

«Aufstehen! — какое-то время Васька неподвижно лежал на своём месте, пытаюсь сообразить, как оказались здесь солдаты, но стоявший у его ног конвоир поднял винтовку, направив штык прямо в Васькину грудь, и старший коротко рявкнул: — Schneller! — даже без общения с Анхен, благодаря которому Васька знал уж теперь не меньше сотни немецких слов, было ясно, чего хотят пришельцы, и Власов повиновался. — Vorwärts!» — последовала команда старшего, когда Васька оказался на ногах, и Власов покорно зашлёпал босыми ногами по каменным ступеням.

Он прошёл мимо солдата, стоявшего на выходе, и очутился на крыльце. На его ступеньках стояла старая немка, держа в руках стоптанные сапоги. Она кинула обувь к Васькиным ногам и, развернувшись, ушла в дом. Власов вопросительно посмотрел на конвоиров и, не увидев в их действиях ничего протестующего, начал обуваться. За этим-то занятием его и застала Анхен. Она вывернулась из-за угла дома и, испуганно замерев, не отрываясь, стала смотреть на Ваську. Сапоги были впору, только немного ссохлись, и нога плохо влезала в них. Болели бока, всё ещё плохо работала правая рука, и Ваське составляло немало труда засунуть в сапоги свои ноги. Анхен встрепенулась, видя это, и, подбежав, хотела помочь, но старший конвоир резко скомандовал ей:

«Zurück! — и девушка отступила. Наконец, Власов справился с трудной задачей, стоптанные сапоги угнездились на его ногах, и он поднялся со ступенек. — Vorwärts! — опять скомандовал старший, и Васька шагнул вслед за тронувшимся впереди конвоиром. Сзади за ним тут же пристроился второй с винтовкой наперевес, и вся группа направилась к выходу из усадьбы. Анхен метнулась было за ними следом, но старший властно остановил её рукой и снова бросил повелительное: — Zurück!»

Васька обернулся на голос конвоира, и его взгляд встретился со взглядом Анхен. Глаза девушки были напуганы и широко раскрыты, в лазурной глубине их перемешались страх и сострадание, а неожиданные слезинки, выкатившись из них, только подчеркнули эту глубину. До мучительной сердечной боли Ваське стало жалко эту немецкую девушку, сделавшую ему так много добра, и, немного поперебиравав в памяти известные от неё слова, он, старательно копируя её интонации, произнёс:

«Danke! Danke schon, Anchen! — и, не зная как это сказать по-немецки, добавил по-русски: — Прощай!»

Будто хлестнутая пастушьим кнутом, девушка резко подняла к глазам передник, круто развернулась и, громко безудержно зарыдав, кинулась в дом.

«Мама! Мама! — со слезами бросилась она к старой немке. — Откуда здесь солдаты? Почему они уводят Васю? Ведь он болен! Он не вылечился от ран!»

Мать строго посмотрела на плачущую дочь и буквально оглушила её неожиданным сообщением:

«Я сама их привела!»

Глаза Анхен ещё больше расширились, она даже перестала плакать на какое-то мгновение, а с губ сорвалось только одно:

«Но почему?! Почему?»

«Это русский солдат! — всё так же сухо проговорила мать. — Наш император воюет с русским царём, ты сама это сказала, и мой патриотический долг — сообщить о солдате властям».

«Но ты же говорила, что наш долг в другом! — не унималась Анхен. — Ты говорила, что наш долг в том, чтобы помочь ему!»

«Много ты понимаешь — что такое долг! — сухо оборвала её мать. — Он встал на ноги после ранений, и мы помогли ему в этом, исполнив свой долг. А теперь наш долг — передать его властям, и мы сделали это!»

«Мы предали его! — в свою очередь перебила её дочь, и новая порция рыданий сотрясла её худенькие плечи. — Он нам поверил, а мы предали! Предали!! Предали!!!»

Глава восьмая

– 1 –

А ведь не растаяло! Уж сколько бы ни говорилось в народе, что первый снег недолговечен, ненадёжен, как и всё первое, что удел его — исчезнуть, раствориться, превратиться в грязь, только усилив хлюпающее вязкое месиво под ногами, — а не растаяло. А уж как синело полуденное небо за Курженьгой, набрякшее тяжёлыми, явно не зимними тучами, а уж как истошно орали вороны, предвещая потайку. До хрипоты вороньей, до одури, — а ведь не растаяло. Натянулось только снежное покрывало, плотно, будто поднатужилось изо всех сил, сопротивляясь и тёплым ветрам из-за Курженьги, и набухшим тучам с южной стороны, — и выстояло. А уж как река-то стала, тут и вовсе нечего было думать о возврате тепла. Завсегда так бывало: покуда по реке шугу несёт — всё что хочешь в природе может случиться. А уж как шуга эта схватилась, замерев за одну морозную ночь неподвижной ледовой крышей над могучей рекой, тут уж всё! Шабаш! Прощевай, землячка, до самой весны, и зимушка северная, сколько бы ветры тёплые ни бились, своего не упустит.

С ледостава закружило, снежку малость подбросило, чернотроп, ещё где оставался, совсем убрало, и давай дедушка мороз свои тугие завёртки завёртывать да ежовыми рукавицами прихлопывать. Что дале, то боле! Что ни день — всё пуще! До Рождества ещё мало не месяц, а уж придавило так, что хоть полшубки одевай! Околенки затянуло узором до самого верху, и пальники, как головёшки, на берёзах повисли. Чтобы хоть маленько солнышка захватить, покуда оно светит, да зоб себе хоть мёрзлыми почками набить.

Зайцы как с ума сошли! Таких троп вокруг деревни понаплели, что хоть шагай по ним, ровно по полу, али по дороге. Да и то сказать: деваться-то куда косым? Мороз-то по ночам давит не жалесь! Днём-то хоть отсидеться где-то можно в укромном месте, да и потеплее, а ночью? Да ведь и поглотать же что-то надо...

Вот уж Алексанку дорвался! Цельными днями в лесу запропадал. Да ведь и удачлив же, шельма! Иной его ровесник по лесу выходит не меньше, а домой пустой идёт. В крайнем разе зайчишку-другого захудалого принесёт, а этот — каждый раз вязку! Уж мене-то двух — ни разу не бывало. А то всё три да четыре, а случалось ведь и больше. Обвесится с головы до ног зверьками — как и на угор-то выползает?! Уж не раз и батько с маткой, и дядюшка с дядиной его удаче дивовались. Да и Гришка... От старшего-то брата особо любо было Алексанку доброе слово услышать. Шибко он его уважал. И подражать старался во всё, что брат делал. Не отцу, а именно брату.

«Ну, Шурка, старайся! — не раз говаривал уж Прохор Алексеевич младшему сыну, одобряя его охотничью удачу. — Нонича в Устюг сам со мной поедешь, коли много наловишь. Сам и торговать станешь своим товаром. Чево хошь потом покупай на то, что выручишь, — всё твоё будет, ничево не возьму!»

Алексанку любо это было слушать и радостно. И то, что в Устюг его батько первый раз с собой возьмёт, и то, что волю в деньгах даст. А пуще другого любо своё имя было так-то слышать — Шурка! Это у батька редко случалось, всё Алексанку да Алексанку — обыденно. А Шурка — это вроде как празднично. Когда шибко злился, тоже Шуркой звал, но это уж со злостью. Однако ж когда и доволен был сыном, опять же редко выговариваемое вспоминал. Но уж с одобрением. Мать, конечно, сразу, как хохлатка: куд-куд-куда, мол, ты парня в эдаку дорогу? Мал ещё, замерзнет ведь, но Прохор Алексеевич и ей живо укорот устраивал:

«Как же — мал! Четырнадцатый год парню идёт, а ты всё «мал»! Зайчей вон цело стадо переловил один, молотил сам, а ты — «мал»! Ты мне смотри, мужика не порть! А то под старость лет и сама нареवेशь, и баба, какая за его пойдёт, тожо нареветься, что хозяин — рохля. Сказано — в Устюг нонича возьму, значит, возьму!..»

– 2 –

Погожий зимний денёк крепко взял власть в свои руки. Надёжно подпер безоблачное небо высокими дымными столбами из печных труб на заснеженных избах, выгнул на берёзы полусонных пальников из их мягких снежных кроватей, раскаркался проснувшимися воронами. Засверкал сотнями осколков в заиндевелых околенках, расширился непоседливыми озабоченными воробьями, разбежался в разные стороны вечно занятым делами людским муравейником.

На демидовском подворье последние приготовления перед очередным выездом в лес. Уже пофыркивает на морозе выведенный из тёплого двора Карько, на спину и шею которого нахлобучивает сбрую дядюшка. Возится с верёвками у саней Гришка, тут же суетятся и дядюшкины пацанята, с любопытством вникая в весь процесс подготовки к выезду.

«Гришка! — поглядывая за сыном, не утерпел хозяин. — Подсанки короче вяжи,

штобы за самыми санями шли, а не мотались по дороге. После перевяжем, если што... Алексанко! — окликнул отец младшего сына. — Чево стоишь, как неприкаянный? Сена из копны нашиньгай! Да поболе — дорога дальняя...»

«Сичас», — живо подхватился подросток.

«Из-под подпор старайся, там полегче шиньгать-то, — крикнул вдогонку отец. — А вы чево без дела? — с напускной строгостью спросил Прохор Алексеевич маленьких племянников. Те втянули головёнки в воротники поглубже и недоумённо пожали плечами. — Вон за братанчиком следом дуйте да пособите ему сена притащить!»

Чтобы кто-то во дворе стоял без дела в то время, когда сам он в хлопотах, — этого Прохор Алексеевич представить себе не мог. Каждый должен тянуть свою часть общего воза, — справедливо полагал он, — тогда и хозяйство будет крепким, и семья дружной, если все вместе общее дело делают.

В саднике показалась Пелагея Антоновна с узелком в руках.

«Хлеб-от куда?» — махнула она узелком.

«Знамо дело куда, — забирая узелок и засовывая его за пазуху, коротко отозвался хозяин. — На воле-то попробуй провези-кося на эдаком морозе, после и не угрызёшь! Овёс готов?»

«Готов».

«Ташшы сюда, коли готов, время поджимает! — Пелагея Антоновна вынесла торбу с овсом и протянула мужу. — В сани клади, — сказал тот, — да посере́дке, штоб не выпал, и под сено. Алексанко!.. Готово у тебя?»

«Сичас несу», — от копны за двором отошёл подросток, неся здоровенную охалку душистого сенца, следом дядюшкины малыши подхватили ещё по охалочке. Покрякивая, вальнули свои ноши на сани, примяли сверху, как взрослые, отшагнули.

«Ну, всё, что ли?» — обращаясь к домочадцам, спросил Прохор.

«Да всё, кабыть», — отозвался его брат.

«Тогда с Богом! — Гришка с дядюшкой Олькой залезли на сенную горку посере́де саней, Прохор Алексеевич ещё раз осмотрелся и уселся сам. — Н-н-но, Карько!» — властно крикнул он и тронул поводья. Послушный конь натянул гужи, сани стронулись, полозья взвизгнули пронзительно по мёрзлому снегу, и демидовские мужики отправились в очередной выезд за стройлесом.

— 3 —

А в это самое время на другом конце Уйдомы в маленькой деревушке под названием Бурачиха в полупустом родительском доме отряхивали от себя остатки сна два никчёмных пустых человечиска. Их было вообще-то трое братьев, когда умер их вдовствующий к тому времени отец — Антоха по прозвищу Отроха. Мать преставилась ещё двумя годами раньше, не выдержав тяжёлой жизни, а больше того распутства и безобразий своих непутёвых старших сыновей Фоки и Микола. Обоим было уж под сорок к той поре, а ни у того, ни у другого ни семьи, ни дома.

Младший — Тимоха — появился уж на самом сходе матери с бабьей колеи и поначалу заметно отличался от двух старших, радуя постаревших родителей разумным и основательным отношением к жизни. Но, мало-помалу взрослея, он тоже начал примерять на себя замашки непутёвых братьев... но приспела пора в солдаты, а как оказалось, прямо на войну. И пошёл Тимоха «под ружьё», ещё не шибко издурачившись, подарив отцу надежду на спокойную старость. Но немного, оказалось, отпущено было веку Антохе. И вот теперь два брата-лоботряса хозяйничали на пару в освободившемся от родителей доме. Хотя какое там — хозяйничали; бродяжничали да сколдышничали, как всегда, по Уйдоме, покудова не надоедали всем до чёртиков и покуда ворота перед ними открывались...

Старший из братьев Фока накануне воротился из уезда и застал Миколу пьянущего прямо посере́де нетопленной избы в мертвецком сне. Запелал его кое-как на голбец, закутался в чего нашёл сам и, не раздеваясь, уснул. И вот теперь с утра топил печь и грел воду.

«Вставай, пропойца! — недовольно пробурчал он, услышав, что Микола зашевелился и стал чего-то мычать. Тот поворотил голову на звук, приподнял её, похлопав мутными глазами, и опять уронил на прежнее место. — Вставай, кому говорят! — грозно рявкнул на него Фока, подойдя вплотную к лежанке. — Уж светло широко, а ты всё валяйся! — Микола опять промычал что-то тяжёлое, кое-как оторвал голову от катаника, на котором она лежала, упёрся дрожащими руками в голбец и, наконец, сел. — Купца я вчерась встретил из Койдольсково уезда, — начал Фока. — Он кое-каково товару в наш уезд привёз, а главно, шибко лесом интересовался. У их хорошошо-то лесу близко нет, а тот, который ближе всех, к нашему уезду отнесён. Понял?»

«Ну, дак и што с тово?» — не понял брат.

«А то, што строиться задумал тот купец — вот чево! — пояснил Фока. — То ли но-

вый дом надумал сгношить, то ли старый поддатать, то ли ишо чево — не шибко-то ево я и расспрашивал. Главно дело — лес ему нужен. И хороши деньги он за лес готов положить».

«Уж не топором ли помахать ты меня собрался подрядить?» — перебил Микола.

«Што я, дурак, што ли? — возразил Фока. — Ты Прошку Демидова знаешь?»

«Это с Потылихи-то которой?»

«С Потылихи... Прошка этот с братом да с сыном Гришке своему лес нынче на избу заготовляет».

«Ну, дак а нам-то што?»

«Да очухайся ты, дурень!.. Они жо на койдольском волоке лес-от этот рубят! В Заболотье. А оттуль до Койдолы-то и десятка вёрст, поди-кося, не будет».

Лицо Миколы вытянулось больше обыкновения, под свалывшейся бородой обозначилось какое-то осмысленное выражение, но тут же растворилось в новом вопросе:

«Хм... в Заболотье... Заболотье-то потому и Заболотье, што к ему со всех сторон болота. А с койдольской-то стороны ведь ишо больше».

«Да ты совсем башку-то пропил, што ли?.. Прошка-то ведь не дурня нас с тобой, коль взялся эку даль рубить. Знать, лес там самый што ни есть первостатейный! А за ево какую цену могут дать — ты знаешь?.. И ведь увезти-то ловко! Койдольской-то волок вокурат через ихну вырубку проходит, и дорога торная! Грузи да вози вместо Уйдомы-то да в Койдолу — нихто и не прознает, што это наших рук дело. На койдольских грешить станут».

«Ну, а болота-то? Болота-то?» — не унимался младший брат.

«Да по болотам-то севогуда, как по полу — визде проидёшь!.. Вишь, ведь морозит-то как! Дерево в лесу хоть и не рвёт, а болота всё равно схватились — понял ты али ишо нет?»

«Дак ты што, этот лес ладишь койдольскому купцу продать?»

«Тише ты! — прищипнул на брата Фока, как будто в избе ещё кто-то был. — Знамо дело. У их уж там порядочно нарублено, а возят мало. Вот мы им и подсобим...»

«Хэ... Как будто у тебя коней табун! На чём вывезем-то?»

«Да на этот счёт уж я с купцом договорился обо всём... Он и лошадей нам даст... и даже задаток дал».

«Ну? — оживился Микола. — Ниужоли?»

«Да! — подтвердил Фока, доставая из кармана «трёшку». — Во, взгляни!»

Вид редко водившихся у них денег подействовал на Миколу лучше всякого отрезвляющего средства, и он, вскочив, забегал по избе, готовый хоть сейчас запрягаться.

«А как жо ты возить-то станешь? — опомнился он вдруг. — Они жо каждый день рубить ездят. Ночью, што ли?»

«Зачем ночью-то? Зачем ночью-то?.. Послезавтра обоз на Устюг собирается, и Прошка тожо. А до Устюга, сам знаешь, туда да сюда боле трёхсот вёрст — ни скоро доберешся. Да покудова торгуешь — нидиля проидёт. И завтра в лес они уж точно не поедут — коню отдых нужен перед дорогой. Смекаешь? — Микола молча кивнул. — И поидёт он уж всяко не один, а с Гришкой. Так што в лес за это время уж нихто из них не сунется, — продолжал Фока. — А за нидилю мы с тобой всё свозим и деньги получим, понял?»

«Дак товды нам как мога надо в Койдолу севодня попадать, штобы не тратить время зря», — окончательно протрезвел, наконец, Микола.

«А я чево тебя, дурака, с самово утра тормошу?..»

— 4 —

Закаменела настывшая под нешуточным морозом ядрёная древесина. Уж нашто востёр демидовский топор, нашто силён и ловок Гришка, а всё равно со звоном и нехотя вгрызалось лезвие в древесную твердь. Не то что летом, али в другую какую тёплую пору, когда топор аж всхлипывает, залезая с одного раза чуть ли не в полдерева. Теперь не то. Один удар, другой, третий — а от ёлки только маленькая щепочка и отлетела! Но она уже выбрана — лесная красавица. Она уже много повидала на своём долгом веку, и не одна тысяча её детишек-семечек разлетелась по лесу, разбежалась с вешними водами и пустила корешки, продевая род ёлочный. А теперь ей намечено послужить людям в ином качестве. А значит, надо покориться воле и силе человеческой.

Но гордая ёлка не сдавалась. Она выстояла под всеми ветрами, которые за много лет не раз бушевали над её кроной и нещадно клонили к земле её зелёную голову, пытаясь согнуть, сломить, повалить. Не согнули! Не сломали и не повалили, сколько ни старались, так почему же теперь? Но востёр безжалостный топор, но настойчивее всех самых сильных ветров упрямый рубщик, и вот уже почуяла еловая королева, что дорубился бездушный холодный инструмент до её середины. Ну, что ж, человек, я своё пожила. Сумел меня покорить — пользуйся. Возьми моё богатство, моё здоровье

и обрати себе во благо. Пока я в силе, пока я в зените своей мощи, потому что дальше придёт и моя старость, а с ней болячки. И уж никому будет не нужно моё тело, которое я так берегла и растила, холила и лелеяла, никому, кроме ненасытного огня. Твоя правда, человек! Ты силен, ты разумен, ты победил...

Треснула под напором крепкого кола могучая красавица и сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее полетела в последние объятия матери-земли. И вот уже ухнул лес протяжным эхом, будто прощаясь со своей сестрой, взметнулось над ним белое облако снежной пыли, словно последний салют, и упокоилась вековая ель, покорившись силе рук человеческих.

«Гришка, едрёна корень! — громко крикнул рубивший неподалёку отец. — Упреждать надо! Мало ли чево — эдакая велита!»

«Ладно! — согласился Гришка, направляясь к поваленному дереву. — В другой раз загайкаю».

«Ты погоди карзать-то, — остановил его Прохор Алексеевич. — Мы сичас с Олькой свои свалим, тогда вместе и окарзаем».

«Поберегись!» — раздался тут же звонкий голос дядюшки, и вторая зелёная принцесса, роняя по дороге роскошный белый убор, рухнула в холодную снежную перину.

«Поберегись!» — эхом отозвался Гришка, подталкивающий в тот момент особо крупную ёлку, доставшуюся отцу. И в третий раз ухнул зимний лес над упавшим деревом, в третий раз взметнулась над делянкой снежная пыль.

«Гришка, накладй огня — сучьё свалим», — распорядился отец и принялся отрубать первое бревно.

Звенья топоры, шуршат и трещат отрубаемые сучья, гудит набравшее силу пламя.

«Поберегись!» — разносится над поляной звонкий Олькин дискант, и белое облако взметнувшегося вверх снега окутывает и рубщика, и упавшую ёлку.

«Поберегись!» — басит старший Демидов, и ещё одна поверженная ель в снежном плену.

«Поберегись...»

Жарко. Давно уже отброшены в сторону армяки вместе с кушаками, давно уж затемнели рубахи от выступившего на спинах пота, запарили на морозе. А стоять нельзя... «Мороз невелик, а стоять не велит!» — это даже ребёнок знает. И снова «поберегись!» раздаётся над лесом, и снова гулкое эхо бежит по верхушкам от дерева к дереву. И звон топоров да мощный шум пламени огромного костра будто звуки победной симфонии.

...Быстро бежит времечко в эту пору года. Вот уж и солнышко, хоть и холодное, но всё же ласковое залезло на самую верхушку намеченного на день пути и ниспослало земле свою лучистую благодать. И веретья еловая заметно заплешивела свежееобразовавшейся поляной, лишившись немалого числа своих зелёных долгожителей.

«Всё, робята! Шабаш! — воткнул в пень свой топор Прохор Алексеевич. — Гришка! Сходи повесь коню торбу с овсом... Пусть поест ладом, сичас возить станём, — Демидов-старший медленно подошёл к огню и устало сел на большой пень неподалёку. Рядом, накинув на разгорячённые плечи армяк, устроился на бревне брат. — Ну, чево там? — разворачивая узелок с едой, поинтересовался Прохор Алексеевич у подходившего к огню сына. — Повесил торбу?.. Ест?»

«Ест».

«А сено?..»

«Да тожо съедено порядошно. С тово, что дадено-то, мало и осталось».

«Ну, слава Богу! — удовлетворённо проговорил отец. — Ему сичас не мене нашово достанитча! Попона-то на месте ли?»

«Да он смирённый ведь, куда бы ей деваться».

Гришка прошёл к бревну, на котором сидел дядюшка, и уселся рядом. Прохор Алексеевич извлёк из узелка два увесистых куска зайчатины, один из которых протянул Гришке:

«Ешь! — Гришке повторять два раза не надо. Намахавшись от души за полдня топором, он так проголодался, что, кажется, готов бы съесть зайчатину всю вместе с костями! — Дёржи, Оляксан! — вытащив из узелка ещё один кусок, Прохор протянул его брату. — Топерь и нам не грех поись, коль животина обихожена».

На какое-то время воцарилась тишина. Только гул могучего пламени костра да треск сгораемых сучьев нарушали её. Демидовы же молча усиленно зажевали...

«Ты вот что, Гришка; бери-ко счас коня да начинай-ко вывозить к дороге брёвна, те, которы есть, — объявил Прохор Алексеевич после трапезы. — Мы с Олькой тебе пособим на перво время, а потом дальше валить станём».

«Всема бы, можот, братко, вывозить-то, — осторожно предложил дядюшка Оляка, — мало ли чево...»

«Оно-то так бы, Оляксан, — понимая, к чему клонит брат, раздумчиво проговорил

Проخور, — да ведь рубить-то надо как мога, пока не шибко студено да не запало. А ну как выпадка, не дай Бог, да большая, што товды? Набурхамся в снегу-то до подпазух — много ли нарубишь-то, коль так? А покудова не шибко замело, мы лес-от выташшим к дороге, а уж там-то всяко увезём за зиму-то домой... Только ты, Гришка, поостерегись, смотри! Штоб ты лисиной не зашибло ненароком. Складывать станёшь — штабель высоко не катай, смотри! — наставлениям отца, казалось, не будет конца. — Боле трёх рядов не надо. И закатыть те легче будёт, и грузить потом ловчая. Понял, нет?»

«Понял, татя, понял!»

«Ну, товды с Богом!..»

И снова звенят топоры над лесом, снова ухают наземь поверженные огромные ёлки, снова гудит огромный жаркий костёр, пожирая лохматые сучья. Но теперь и Карько трудится наравне со всеми. И тоже до поту. Бревно-то из лесу выволокли волоком — не всё равно! Ведь кабы по голу. А то ж пенье, коренье разное... Вон один растопырился какой... совсем рядом, и — эх, незадача, соскользнуло-таки на него комлевое бревно, упёрлось ройками! Дёрнулся конь — встал.

«Н-но, Карько! Н-но!!» — Гришка на него.

Снова дёрнулся, поднатужился четвероногий помощник — ни с места бревно.

«Да понюжни ты ево попуще! — крикнул от своей ёлки отец, заметив ненужную заминку. — Неужто одново бревна не сорвать!»

«Н-н-но-о, Карько!» — огрев лошадь вожжами, рявкнул Гришка.

Конь отшатнулся назад, сколько мог и, напрягая все свои силы, резко рванул упряжь. Ах — и скользнула верёвка по мёрзлomu бревну, так и не сдвинувшемуся с места, и полетел конь со всего размаха на передние бабки! Ходко соскочил, дёрнулся в горячке ещё, потом ещё, опасаясь нового удара, ещё...

«Тпру-у-у-у! — натянул вожжи Гришка. — Татя, приташи-кося кола — отворотить надо комель-то, зачалило шибко».

Вдвоём с отцом они навалились на поддетое колом бревно и, крякнув, отворотили его от злополучного корня.

«Понюжай!» — коротко скомандовал Проخور, и Гришка тронул поводья.

«Н-но, Карько!»

Высвобожденное из ловушки бревно поддалось, и Гришка повёз его к дороге.

«Х-х-хек! — вгрызается в древесную твердь прохоровский топор, отрубая меж тем новое. — Х-х-хек! Х-х-хек! Х-х-хек!»

«Татя!» — раздался вдруг от штабеля громкий Гришкин голос.

«Чево ишо?» — недовольно отозвался отец.

«Иди-кося сюда!» — голос сына необычно требователен, встревожен.

Проخور нехотя выпрямился и пошёл к дороге.

«Чево тут у тебя ишо?» — раздражённо бросил он сыну, подходя.

«Кабыть да Карько ногу росшибил. Посмотри-ко...»

Проخور встревоженно повернулся и подошёл к коню. Карько стоял возле штабеля брёвен и не шевелился. Уши его непрерывно крутились каждое в отдельности и оба вместе, чутко реагируя на всякий звук, мясистые губы часто и беспокойно перебирали удила, несмотря на всю их ненавистность. По всему было видно, что животное сильно нервничает и очень беспокоится за дальнейшее развитие событий. С приближением хозяина конь поднял, на всякий случай, голову повыше, чтобы не достали, если что, но с места не пошевелился. Левая передняя нога его опиралась на землю всем копытом, а вот правая... Правую конь держал почти на весу, лишь едва прикасаясь кромкой копыта о снег. Проخور легонько потрепал животное по взмокшей шее, и опустил перед ним на колени.

«Ах ты, господи! — воскликнул он, глянув на подпухшую ногу лошади. Карько успокоился, опустил покорно голову, поняв, что зазря не попадёт, и хозяин осторожно потрогал его ногу. Она мелко-мелко дрожала под его пальцами, будто от холода, а колено её уже заметно отличалось по толщине от другого. — Эка ты ну! — горестно воскликнул Проخور, осторожно ощупав эту опухоль со всех сторон. — Росшиб, да и порядошно. На ногу-то хоть пристуаёт?»

«Да пристуаать-то пристуаёт, — ответил Гришка, — только храмлёт».

«Эка ты ну! — всё так же горестно повторил Проخور Алексеевич. — Накин-кося ему попону на спину-то; взмок ведь весь, тово и гляди — простынет. Оляксан!.. Иди-кося сюда!..»

Теперь и Олька, как несколько минут назад и его брат, полез под лошадь. Долго щупал повреждённую ногу со всех сторон, осторожно мямл припухлое место пальцами, внимательно наблюдая за реакцией животного. Но конь не пошевелился. Он только прядал пугливо ушами, очевидно когда становилось особенно больно, со своего же места так и не сдвинулся.

«Косьё кабыть как цело, — предположил Олька. — Но росшиб шибко».

«То-то и оно, што шибко! — огорчённо воскликнул Прохор, соглашаясь. — Делать-то чево топеря будём?»

Олька ещё раз опустился к повреждённой ноге лошади, ещё раз всю её ощупал и осторожно попробовал повести животное в поводу. Конь повиновался, пошёл, но сильно захромал при этом.

«Всё, братко! На севодня отвозились!» — заключил Олька.

«Да это-то ясно! — раздражённо согласился Прохор. — Домой-то попадать как станём — вот я про чево?»

«Придетча пешкодралом, — развёл руками Олька. — Куда коня с такой ногой да в сани? Остатки лошадь-то нарушим!»

«Н-да, — невесело согласился брат. — Тут ты, пожалуй, прав... Вот што, братко... вы счас жо с Гришкой собирайтесь и выводите Карька напростой».

«Што, и хомут снять?» — поинтересовался Гришка.

«И хомут сними», — подтвердил Прохор.

«А ты? — встревожился брат. — Ты што, разе не с нами?»

«А я тут останусь! — как об окончательно решённом объявил Прохор. — Угоить надо то, што свалено уж. Выпадка, не дай Бог, ночью — што товды? Карзять-то сучьё по снегу — не шибко ловко, сам жо знаёшь. Да и хлысты на брёвна надо разрубить. Часом нога у Карька-то пройдёт, сколь снегу-то навалит к той поре, напетайся потом. А я счас всё разрублю, на лёжки подыму — потом только зачаливай да вывози!»

Дядюшка Олька поскрёб озадаченно в затылке и неуверенно предложил:

«Можот, всё жо всема выйдём? Болись с им и с лесом-то, коль эдака оказия с конём. Сбрую в ельник спрячем — хто найдёт?»

«Нет, братко, — твёрдо возразил на это Прохор. — Я и так-то уж давно про это думал — на ночь тут остаться. Шибко время много выездка занимает: утром час, не мене, да вечером около двух — сколь время-то впустую пропадает! А нам бы как мога рубить счас надо, штоб до Рождества всё заготовить. Дальше-то, сам знаёшь, западёт ведь. Много ли по снегу-то наползаёшь?»

«А ночевать-то где ты, татя?» — озабоченно поинтересовался Гришка.

«Хо, ночевать! — воскликнул Прохор. — За ночёвку-то у меня заботы нет. Избушка-то отсель версты с две, да и тово, поди-кося, не будет».

«Возле болота-то котора?» — уточнил дядюшка Олька.

«Возле болота, — подтвердил Прохор. — Порублюсь тут до потёмок, а как засумерничает — и пойду...»

И ничего уже нельзя было возразить Прохоровым доводам. Так на его месте поступил бы любой настоящий хозяин, ибо, конечно же, главное во всей этой истории — конь! А ну как обезножит совсем? Что тогда? Что за хозяйство без своего тягла? Недолгим было молчание Демидовых. Натянули на себя армяки Гришка с дядюшкой, подпоясались да топоры за пояс — и на дорогу.

«Завтра с самого утра поедём! — уже удаляясь, крикнул Прохору Алексеичу брат. — Всяко лошадь-то найдём».

«Ладно, давай, — успокоительно махнул рукой Прохор. — Подите с Богом!»

— 5 —

Утром рано, ещё затемно, двое ничтожных людишек, падких на чужое добро из-за нежелания и лени наживать своё, уж копошились у коней. Уж торопились побросать на сани самое необходимое, даже хлеба не считая, только бы успеть скорее к делу. Пакостному делу и греховному. Да только что им один грех, коли вся жизнь их — уж давно сплошной непрерывный грех. Коли в брюхе пусто, да и дома негусто... И понюгнули они добрых коней не жалес — а чего жалеть, всё равно чужое — и понесли их свежие кони к роковому месту. Только снежок под полозом завизжал!

...А Прохор Алексеич спал крепко в лесной избушке. А и чего бы не поспать доброму человеку после доброго дела? Лес он валил аккуратненько, урона молодняку старался нанести поменьше, за собой после рубки всё прибрал... Всё чин чинном — можно и поспать. И Прохор Алексеич спал. Без снов и беспробудно.

Добрая была срублена избушка. Маленькая, на мху, и натопливалась скоро. Таких немало было наставлено вокруг Уйдомы, без них, если лесоват пойдёшь зимой — пропадёшь. Всяко ведь бывало в лесу-то, и ночь, бывало, припрятёт. Далёко ли уйдёшь впотьмах-то да на морозе?! Да ведь и волки же... И избушки эти — людские спасительницы — пуще своего подворья охотниками оберегались. На подворье-то, если чего не сделаешь — не беда, можно и в другой раз сделать, а в избушке лесной? А тут другого раза могло и не быть. И потому смольё, запас дров у печки, спички на печурке — это уж, как закон, всякий ночевавший обязан оставить обязательно. И запереть всё после себя; и от зверья, и от ветра.

...Чуть ещё только развиднелось, когда братья Отрохичи подъехали к демидовской

вырубке. Подъехали и остолбенели — сани!! Сани демидовские стоят с подсанками возле штабеля. Переглянулись меж собой Фока да Микола, смекнули: что-то тут не так. Что-то у Демидовых не так сложилось, как они рассчитывали. Иначе-то с чего бы сани тут? Да ещё и с подсанками.

«С лошадьё у их чево-то сдиялось! — догадался Фока. — Напростой, видно, выбрались, коли сани тут».

«Охти! — всполошился Микола. — Дак ведь топерь приедут скоро».

«На чём? — коротко возразил ему брат. — Ежели лошадь нарушилась, на чём приедут-то?.. Утре в Устюг половина Уйдомы собралась — кто те лошадь перед эдакой дорогой даст? Подводи лучше своего коня поближе, с твоего возу зачнём».

...И Прохора Алексеевича тоже рассвет поднял. Сладко потянулся он на толстой сенной подстилке — хорошо поспалось! — отметил. И на улицу. А там уж который раз подряд день ясно встал. Небушко чистое морозное, и тихо. И верхушки на ёлках уж запосверкивали! Залюбовался пожилой человек на красоту природную. Эка невидаль, казалось бы, ведь уж столько прожито и сколько раз всё это видано, а всё равно залюбовался. Баско же! Шапки снежные под восходящим солнышком сверкают на ёлках да соснах, куржак на берёзах разными узорами горит. Ветерок лёгонький его щекочет, узоринки срываются с веточек и так это игриво под порывами ветряными крутятся, куда до земли долетят! И над всей этой хрупкой зимней прелестью небушко ясное. Высокое-высокое, будто у него и дна-то нет, и голубое-голубое, будто его ночью кто покрасил!

...Скоро навалили первый воз. Хоть и немало набухали, а скоро... Отгонил Микола своего коня маленько в сторону вместе с возом, сенца ему под нос сунул, чтобы стоял смиреннее, — да к брату. А тот уж свои сани подогнал и уж поката изладил. И на сани, и на подсанки — только катая брёвнышки демидовские с демидовского-то штабеля. И ведь покатали! И руки ведь не отсохли, и ноги не оступились!..

«Вяжи! — командует Фока. — Ишо два поверх накатим, и хватит».

«Тяжело будет, — перечит Микола. — Уходим лошадь-то».

«Да и хрен с ей, с лошадьё-то!.. Не повезёт, дак, буди, отвалим по дороге где. Нам только бы отсюдава отъехать поскорья, беспокойно мне што-то на душе... Чево ты там порхайся-то?» — со злобой и нетерпением зашипел Фока на брата, глядя, как тот не может пропихнуть верёвку под копылья.

«Да узол тутока... — кряхтит Микола, — зачало... пехаю, пехаю, а не лезёт».

«А-а-а, ворона! Дай-кося сюда! — Фока торопливо подскакивает к брату и хватается за верёвку. — Уйди-ко! — падает на колено и толкает конец её под брёвна. — Тяни! — сердито шипит через какое-то время. Микола поспешно перебегает на другую сторону воза, хватается просунутый кончик верёвки, тянет. — Всю вытягай! — командует Фока и перескакивает на другой край воза. — Давай сюда конец, — Микола суетится, торопится, конец верёвки выпадает из рук его в снег... — У-у-у-у, похарукой!..» — злится брат.

«Да не ори ты! — не выдерживает его нападок Микола. — Тяни лучше», — и подаёт ему верёвку. Фока вытягивает её, поднатуживается, чтобы получше затянулось, и... и летит в снег прямо на спину!

«А-а-а, мать твою... — потирает ушибленный зад. — Чево там у тебя?»

«Чево, чево... — крысится Микола, — изорвалось — вот чево!»

«Давай связывай скорья, чево стоишь?!»

«Да вяжу, вяжу...»

Увязали-таки первый ряд воришки. Худенькая верёвка попалась, а посмотреть-то некогда им было — торопились. Бросили на сани да и в путь, а вот теперь затёрло.

«Давай скорья поката наверх переставляй! — всё так же верховодит Фока. Суетятся Отрохичи, порхаются в снегу, а подачи-то мало. То воткнут не туда, то положат не так, — дело вроде пустяковое, а всё как-то взадерёжку идёт. — Кати давай! — командует старший, когда поката улеглись, наконец, по местам. Здоровенное бревно еле оторвалось со штабеля и тяжело загремело по лёжкам. — Поднавались! — кряхтит Фока, когда бревно подкатилось к подъёму на воз. Оба брата, кряхтя, поднатуживаются, и толстенный кряж нехотя стал подниматься на воз. — Ишо! Ишо навались! — краснеет от натуги Фока. Изо всей силы даванул плечом Микола, и... ах — соскочили по обмёрзшим брёвнам поката, и огромное бревно бухнулось на землю. — А-а-а-а!! — благим матом орёт Фока. — Ногу-то, ногу-то прижало... — Микола суетливо подбегает к брату, хватается за конец бревна, силится поднять... — Кол ташшы, бестолочь! — орёт Фока. — Ты разе выздынёшь руками эку тягость?!»

Младший Отрохич торопливо бежит за колом, подсовывает его под дерево, наваливается на крепкий дрын всей тяжестью своего тела, и огромное бревно медленно поаётся.

«Хорошо на мягком хоть стоял, дак и не шибко, — прихрамывая, расхаживает под-

битую ногу Фока. — А кабы нога на лёжке аль на чём другом твердом — розмяло кость-то бы».

Они торопливо пытаются подпихнуть поката под упавшее дерево — концы их круто задираются вверх, далеко выходя за воз.

«Да и хрен с ним, с этим бревном! — не выдерживает Микола. — Давай другое покатим, а это второй ходкой возьмём».

И снова улеглись поката на штабель, снова покатилось по ним тяжёлое бревно.

«Р-р-раз, два, взя-я-яли! — тужится Фока. Оба брата резко наваливаются на бревно и толкают его на воз. — Ещё раз, взя-я-яли!..»

«Это што жо вы, сволочи, тутока делаете?» — голос Прохора Алексеевича падает на головы воришек, как гром небесный.

Отрохичи отпускают бревно, и оно с грохотом скатывается обратно на штабель... Как остолбенелые стоят братья возле недогруженного воза. С полусогнутыми спинами, будто собираясь забраться на этот воз, забиться под него, спрятаться. Смотрят на Демидова и пошевелиться не могут — попались!

«Ах вы, варнаки проклятые! — подходя поближе, узнаёт проходимцев Прохор Алексеевич и выхватывает из-за пояса топор. — Ну, я вам счас задам!»

Уж неизвестно, зачем он это сделал — выхватил топор, — ведь не собирался ж им орудовать, но страху на воришек нагнал — больше некуда! Микола даже руки задрал кверху, загоразиваясь ими от карающего удара, — а ни с места! И ведь отрезвил этим Прохора; понял тот, что топор-то у него уже в руках. Ещё бы миг — и раскрыл наполам вгорячах разъярившийся мужик непутёвую голову бродяги. И никакие руки бы не помогли! Но шибко уж, видать, рассвирепел хозяин брёвен. Эстолько труда в них вложено, и тут кто-то другой на дармовщину!

«Н-н-на тебе, сволочь!» — подлетая к остолбеневшему Миколу, засветил он ему по уху со всего плеча. И ведь успел-таки топор-то отбросить, одним кулаком засветил.

Но тяжёл демидовский кулак: кувалда кувалдой, — Микола, как сноп, на снег повалился! А вот Фока той порой опомнился. За колом потянулся, и чем бы дело кончилось, не изловчись Прохор, — никому неизвестно. Но Демидов изловчился: как кошка лесная, напрыгнул он на Фоку, едва тот за колом-то наклонился! Напрыгнул и смял его под себя. И опять от ярости весь обезумел. Как обручи на бочку, набросил он крепкие пальцы больших рук на Фокино горло и с такой ниоколёсной силой их сдавил, что у противника тово часу язык выехал!

«Мико... Мико... ла... — захрипел варнак из последних сил, не имея никакой возможности выбраться. — Колом... лом ево! Кол... башк...»

Его брат-разбойник вскочил — да и за кол. Размахнулся со всей силы, и... пошёл кол-от со свистом резать воздух по пути к демидовскому телу и лишь в последний момент увернул от головы — на спину. Обмяк Прохор Алексеевич, хватку свою железную на Фокином горле ослабил, и вывернулся из-под него Фока...

Хоть и шибко хряснуло под колом-то, да, видать, ещё не хребёт. А коли так — вставать надо: сдачи дать! Да не успел... Только на ноги-то с коленок вставать начал Прохор, тут-то на него новый кол и обрушился. Фокинский! И прямо на голову! Вернее сказать, на то место, где голова-то к шее прирастает. Вот уж тут-то хрустнуло так шибко, что и Отрохичи чули! И голова у Прохора Алексеевича отвисла, и сам он в снег ткнулся. Задёргались, задрыгались ноги-то часто-часто, и руки ещё пальцами-то заскреблись, но скоро и это всё затихло. И опять Микола как столб застыл. Стоит у ног Прохора-то и не шевелится.

«Ты жо ево, братко, застегнул ведь...»

«А ты хотел бы, штоб я приголубил ево, што ли? — рывкнул Фока. — Хватай ево за ноги да попёрли под ёлку... К комлю ближе подволакивай. К комлю!» — пыхтя, командует Фока.

Они уложили тело Прохора рядом с деревом, и Фока схватил топор. Примерился, чтобы ёлка пошла в нужном направлении, и торопливо начал рубить... Вдвоём они торопливо подрубили дерево с двух сторон и нажали его в сторону лежавшего Прохорова тела. Подрубленная ёлка, словно противясь злодейскому замыслу убийц, долго не поддавалась нажиму, но ещё несколько ударов топором сделали своё дело. Огромное дерево, жалобно скрипнув напоследок, тяжело и гулко рухнуло на землю. Точно на то место, где лежал убитый. Сыграло, как водится, комлем при падении и всей массой ствола плотно вдавило лежащего в снег.

...На другой день после похорон всеми уважаемого в Уйдоме Прохора Алексеевича Демидова, ближе к вечеру, в маленькой деревне Бурачиха возле дома Отрохичей появились двое. Они натаскали досок да кольев и крест-накрест забили ими окошки. Никто их особо не высматривал... А памятуя о том, что каждый год Отрохичи куда-то уходили в скитания, и дощатым крестам, появившимся на окошках их дома, никто на другой день не удивился.

Глава девятая

– 1 –

Тимохе Отрохичу довелось попасть в 1-ю русскую армию, которая к тому времени, успешно ворвавшись в Восточную Пруссию, за несколько дней обратила неприятеля в бегство. И Тимоха вместе с другими солдатами от нечего делать грел в окопах пузо на солнышке, которое хоть и было предосенним да осенним к той поре, но тепла давало ничуть не меньше, чем иной раз и летнее в родной Уйдоме. И невдомёк было ему и таким же, как он, солдатам, которые прохлаждались рядом с ним и скучали от безделья, что в это самое время германцы, вроде бы побитые и убежавшие от них, оборотили всю свою силу на соседей. И что рвут они в мелкие клочья 2-ю русскую армию, которая, истекая кровью последней агонии, так нуждается в их помощи и поддержке.

Но а и что бы они могли поделаться? А хоть бы и знали об этом?.. Без хлеба ведь да каши ещё как-то можно поднатужиться, а без снарядов да патронов? И как раз снарядов-то да патронов в армии генерала Ренненкампа катастрофически не хватало. Не подвезли... И разделались германцы со 2-й русской армией, отбивавшейся в одиночку, как повар с картошкой! Уж как ни горько это русскому уху слышать, но что было — то было. А уж после и до 1-й добрались.

Пока не увидел, что Миколу «Котёнка» убило да Стёпу Колесникова, Тимоха всё думал, что кого-нибудь убьют... а уж его-то — нет. А вот как уйдомцев-то стало убивать, тут-то и заподумывал Тимоха, что смерть-то косит всех подряд... Стёпу Колесникова на его глазах снарядом разнесло, только клочья во все стороны взлетели от Степана-то! Куда рука, куда нога, куда чего — прямое попадание было... Вот уж где страх-от душу заледенил, так заледенил! Как от того места ко своим бежал — уж и не помнит Тимоха... И всё в душе Тимохи теперь переменялось. Всё время теперь перед глазами видение это стояло — снарядный разрыв — а в ушах звон после него так вроде бы и не умолкал.

– 2 –

Другую думку в голове держал Палуша Майков. Нет, он, конечно, тоже страшился, как и все живые, и снарядов германских, и пуль, и всякой прочей военной напасти, но воспринимал это как неотъемлемую необходимость войны. Ну, вот как, к примеру, мороз зимой. Хоть страшишься его, хоть не страшишься, а всё одно на Крещенье затрещит! И всё одно и на улице надо, и в лес надо — да мало ли каких дел по хозяйству. Вот так и войну Палуша воспринимал: и ухаёт от пушек, и свистит она пулями от винтовок да пулемётов так, что и голову поднять невозможно, а всё одно воевать-то надо. И в атаку идти, коли подымут, и отстреливаться, если уж германцы сами полезут, и всё иное прочее. А вот думка в голове его была совсем другая. И даже не в голове, пожалуй, а больше где-то внутри. А думка эта — Маня Антипова.

Палуша — парень смиренный сызмалетства. В драки первым шибко не полз, хотя сдачи и давал всегда, а время подошло по девкам бегать — и вовсе заробел. Не то что другие его ровесники — от одной да к другой. Это у него не получалось. Палуша больше глазами: поглянется какая, и он её долго везде и всюду взглядом провожает. Нет чтобы подойти да заявить обо всём — не смеет. И так до тех пор, покуда она кому-нибудь другому не достанется. Погорюет Палуша, погорюет, а вскоре опять на кого-нибудь глаз положит. И опять всё сызнава. Сколько уж раз так было в его жизни, и неизвестно, сколько повторилось бы ещё, но вот попалась на его глаза Манья Антипова, и перевернулось всё в душе парня.

Манья, ежели вспомнить, хлюст хлюстом была, пока с соплями возилась, а заневестились — до того баская сделалась, что всякой ребячей душе любо! И тут Палуша сам себя узнавать перестал. К Манье, как и к другим, всё так же робеет подойти, но и никого из парней к ней близко не подпускает. Где она — там и он, а если кто посмеет ближе его подойти к ней — кидается на соперника, как рысь на зайца, и смертным боем лупит, если тот не уворачивается. Уж многим в Уйдоме досталось от Палушиных кулаков, и уж все парни от Маньки отступились. Кому охота в ухо получить на ровном месте? Есть их, девок-то, на всех хватит. Один только Гришка Демидов про всё это не знал и Палуше под горячую руку на власовских проводинах подвернулся. Смял он-таки тогда Палушу, остудил его пыл, хоть и не до конца понял что к чему, а вот Палуше это теперь как нож в сердце. Он-то на войне, а Гришка-то дома! И Маня дома... Как только про это подумает Палуша, так и не мил становится весь белый свет. И тоска, и злоба, и отчаяние — и всё вместе на одну голову наваливаются. Одну душу точат. И хоть вроде бы не благоволила ему Маня, хоть и чего бы, казалось, горевать-то — всё равно же не привечает девка — а вот поди ж ты! Ничего не мог с собой Палуша поделаться, и как Тимоха Отрохич в обнимку со своим страхом на войне жил, так и Палуша Майков в каждую свободную минуту о своей зазнобушке думал да о родной деревне.

– 3 –

Тимоха Отрохич бежал по мокрой луговине, отделявшей их позиции от германских, с винтовкой наперевес в орущей солдатской массе, и это ощущение общности со всеми, сознание того, что ты не один заигрываешь в догонялки со смертью, как-то притупляло страх, преследовавший его повсюду. Он словно бы сбросил его, как надоевшую и мешавшую на бегу шинель, или просто обогнал его и забыл о нём. Но вот в рядах атакующих ухнул один германский снаряд, гулко треснул поблизости другой, земляной столб совсем рядом поднял третий, и шеренги нападающих заметно поредела. Часть упала на землю в последний раз, другая часть без всякой команды залегла, пережидая артиллерийский налёт, и страх быстро нагнал Тимоху. Отрохич упал на краю порядочной выемки в земле и, ходко перебирая руками и ногами, стараясь не подниматься над землёй, заполз на самое дно этого естественного углубления.

В то же самое время в ту же самую атаку по той же самой луговине вместе со всеми бежал и Тимохин однополчанин Палуша Майков. И неизвестно, как бы на его судьбу повлиял огонь германской артиллерии, если бы не мокрый скользкий камень-голыш, попавший на бегу под ноги. Наступил на него Палуша и, само собой, хрясь на землю, да во всю свою длину на ней и растянулся! «Тьфу ты, пропасть!» — только и выругался, вскакивая на ноги, и опять вперёд. За всеми. В атаку! А нога-то одна с каждым шагом всё больше и больше заскакивалась. В горячах-то и ничего сначала Палуша не заметил, а как саженой-то сто пробежал ещё — уж и захромал. «Эка ты ну! — промелькнуло в голове у Палуши, когда уж занемог бежать. — Срам-от какой — не приведи Господи! Не от пули, не от осколка, а от Бог его знает чево от своих отстать. Подумают-то чево, как опосля сойдемся? Сдыгал, парень, скажут, за чужие спины спрятался?»

Палуша ещё попробовал ковылять, опираясь уж на винтовку, но шибко колено заболело, и от того шагать стало уж не вмоготу. В эту-то пору и загрохотало всё вокруг от снарядных разрывов — куда теперь побежишь, да с такой ногой?! Завалился Палуша на землю, уж по своей теперь воле завалился, и пополз по луговине в поисках укрытия. А всё голо и ровно впереди, некуда приткнуться. В стороне только заметил солдат что-то вроде холмика. Что есть мочи к нему пополз, а за холмиком и рытвина открылась. Туда! На самое дно! Да поглубже, чтоб осколки не летели. Змеей скользнул Палуша по рытвине, глядь — а там уж двое. И оба вроде как неживые, да и друг на дружке. Пригляделся — нет, один зашевелился.

«Эй, браток! — крикнул Палуша. — Ты что, ранен? — лежащий сверху как-то вздрогнул, будто его палкой по горбине вытянули, и повернул голову к Палуше. — Тимоха?! Ты ранен?»

«Да не... ничево», — растерянно бормотал Тимоха.

«А это кто?» — кивнул Палуша на лежащего возле Тимохи солдата.

«А это... это Афоня Пряхин».

В полку всем хорошо известен был этот солдат. Ему «Георгия» сам генерал перед строем вручал за храбрость и выучку.

«Чево с ним?»

«Убило ево... Я когда заполз, он уж тут лежал и неживой»...

Тимоха спрятал беспокойно бегающие глазки и какое-то время полулежал потупившись. Вокруг по-прежнему ухало и гремело... Но вот постыхло, и окромя ружейной трескотни уже ничто не стало долетать до человеческого уха. И почти в то же время середь лежащих атакующих цепей послышались команды, подгоняемые этими командами цепи поднялись, и атака на германские позиции продолжилась. И подхватился тогда Палуша, ойкнул от боли в ноге, но подхватился, чтобы вперёд со всеми.

«Стой! — почему-то шёпотом зашипел на него Тимоха. — Куда ты, дурень?! Не видишь, что ли, как палят-то? — Палуша уставился на земляка непонимающими глазами. — Возьми! — протянул ему Отрохич свою винтовку прикладом вперёд. — В голяшку мне... в голяшку пальни, а то неловко мне — винтовка шибко долга... Упору нету, тово и гляди — кость заденет»...

«Да ты што, рехнулся, што ли?» — как от собственной смерти отпрянул от него Палуша.

«Это ты рехнулся!.. Не видишь, што ли, куда нас гонят? На погибель верную нас гонят, Палуша, — вот куда!.. Разе ты тут уцелеешь?.. Стреляй, Палуша! — уже с откровенной мольбой в голосе попросил Тимоха. — А после я тебя стрельну, куда ты скажешь, — и заметив, как отшатнулся от него при этих словах Палуша, почти уж вылезши из укрытия, закричал без надежды: — Погинем ведь!.. Погинем же, Палуша!!»

Но Майков вскочил и побежал вперёд вслед за атакующими однополчанами. И даже нога в ту пору отпустила... И уж винтовку он схватил было наперевес, но грохнула опять германская артиллерия со всех, видать, стволов, и опрокинуло Палушу на спину со всего маху близким разрывом. Обдало жаром горячего ветра лицо, и прямо по глазам да по всему телу лупануло комьями луговой грязи. Грязи и осколков.

– 4 –

Но не убило Палушу Майкова тем снарядом германским. Шибко, однако же, оглушило-то, да и посекло изрядно, — но нашли его, беспмятного, скоро и в лазарет доставили без промедления. Там и оклемался Палуша на третьи сутки. Сперва голова шибко гудела, и уши кровили, а потом ничего, прошло. Все остальные дырки в теле лекари признали неопасными, а вот ногу всю до паха затянули в бинт. Треснуло чего-то там, в Палушином колене, и никак нельзя было иначе. Первое время Палуша по этой причине и не вставал, но сроки подошли — и помаленьку заходил. Только голову всё шибко обносило, и почти совсем не слышал...

В это-то вот время и столкнулся он с Отрохичем. Тимоха лежал тут же, в том же лазарете. Левую ногу к той поре ему уж оттяпали едва не по колено — видать, пальнул-таки себе Отрохич по голяшке в той канаве, и чего боялся, на то и попался: задела пуля кость и раздробила. И вот теперь, конечно, ему путь один — домой. Но разве о таком пути мечтал Тимоха? Разве думал он, что в молодости лет вернётся в семью инвалидом? Хотя какая там, к чёрту, семья; одни братья-пропойцы да пустой дом. Но всё равно кому охота землю деревянным копытом дырявить остаток жизни?! А ведь жизнь-то в самом что ни на есть начале. Ещё и не женатый же... Вот и лежал Отрохич на своей койке день и ночь, не поднимаясь, и, лишь завидев Палушу, задвигался. О том с ним поговорил, о сём как с однополчанином, а однажды отозвал его в сторонку и, как змей болотный, в ухо зашипел:

«Ты вот што, Палуша: ежели про то, чево в канаве с нами было, кто прознает — берегись!»

«Да не шипи ты! — озлился на него Палуша. — Не боюсь я тебя нисколько!»

«Не боисся, да забоисся! — зашипел опять Отрохич. — У меня ведь два братка до-ма-то остались».

«Да и хрен с има, и с братками-то с твоими! — ещё больше разобрало зло Палушу. — Тоже мне, нашёл чем испужать!»

Тимоха жалким каким-то в его глазах казался, и уж брезгливо возле него стоять Палуше стало, отойти захотелось, но Отрохич опять одёрнул его и уж угрожающе процедил:

«Дак вот ты знай: ежели чево — братки мои Маньку твою из-под земли достанут. И испохабят её так, што ни приведи Господи! Уж это они могут — я-то знаю!..»

«Да ты... — Палуша побелел и мёртвой хваткой вцепился в Тимохино горло. — Удуш-шу гада!!» — и ведь удушил бы в одночасье — до того озверел — но, на Тимохино счастье, пошли мимо их санитары с носилками и хоть едва-едва, но оторвали-таки Палу-шины пальцы с Тимохиного горла...

Глава десятая

– 1 –

Ох, недаром говорят в народе, что беда за бедой идёт, да и бедёнка за ручку ведёт! Ох, недаром... Уж как они навалились на власовский дом, эти беды, — ведь не отбиться же! Ладно, Васька; хоть и на войну проводили — но ведь не на смерть же. Да и не он один. А дальше? Только Анисьину беду разгребли — пожарище да похороны — бац, у Лукерьи ещё того не легче! Мужика баба лишилась. Боле недели проревела, считай, что без передыху! Уж думали — умом баба тронется, эдак убивается. Да и то сказать: Степан-от ведь не рохла какая-нибудь. За ним же, как за стенкой каменной!..

Степанида вся над дочерниным горем извелась, уж не знает, как и утешить. А Захар и вовсе на белый свет букой. Брови сдвинул, как узлом завязал — не растащить! За день, другой раз, и десяток слов не скажет — всё молчком. Чуть что не по ему — сразу в крик! Уж не знать, как и подойти, чем и угодить. И так всем тяжело и трудно зажилось во власовском дому, что тягости этой не выдержала невестка — разродилась раньше времени. Робёночек малистённый народился, худенький, а у Настеньки, как на грех, и молока-то нет! Плачут обе: и дитё, и матери, — а что ты станешь делать? Коровьего молочка-то наладили, давать стали — кормить-то чем-то надо — а робёночка запучило, запучило — ись совсем перестал. Ещё дня три помаялся и помер.

Теперь и Федька сделался не лучше батька своего. Тоже всё молчком, и тоже брови узлом. А Настенька его, считай, что и с кладбища не уходила, как робёночка-то схоронили. По дому чего надо обрядится — и тенью на погост. Сядет у могилки дочки-ной, безвременно умершей, и сидит так-то часами. Ни слова, ни плача, ни причитания! Шибко уж ей хотелось дочку-то; и пацанов уж двое есть, да и по хозяйству вторая по-мощница была бы матери... И на тебе! Вот как всё приспелось да сложилось.

Одна отрада взрослым — Лукерьин сынишка. И хлопотно с ним, и беспокойно и днём, и ночью, а рассмеётся во всю круглую рожицу, зубья свои первые навывказ — и будто солнышко в избе власовской засветится!

Лукерья как известие о мужниной гибели получила, так, считай что, на жительство в отчий дом и перебралась. Свой-то большущий соорили, а пусто в нём стало казаться и страшно. Сходит Лукерья во своё гнёздышко, как в гости, со скотом обрядится да скорей назад. К родителям. На виду-то ещё таки сдерживает себя, а уж как одна-то останется — сядет над своим робёночком в зыбке али на руки его возьмёт, и слёзы сами кап-кап-кап, будто вода с сосуллек! И не причитает тоже, и звука никакого от её плача, а только слёзы и слёзы из глаз! Горше всего, пожалуй, так-то. Выреветься-то легче бы, наверное, да ведь как? Батько ж в доме... а ну как осерчает? Что тогда? Только первое время Лукерья шибко голосила. А как на слезу-то безмолвную стала исходить — тут уж мать вся за дочь в переполохе. Уж и словами разговрить, и ласками старалась, а дочь на все слова одно:

«Не верю я! Не верю я, что Степанко мой погинул! Не может он погинуть! Не может!»

Так вот, от горя да к горю, и вошли Власовы в зиму.

– 2 –

Но, как говорится, горе горем, а жить-то как-то надо.

«Вот што, Федька, я тебе скажу, — начал однажды утром, прямо за столом, Захар Петрович, — собирайся-ко ты завтра на погост».

«Чево?» — Федька поначалу аж опешил от отцовского предложения, не разобрав, про какой погост речь.

«Наберёшь воз на продажу — и поезжай!» — как ни в чём не бывало, продолжил отец.

Погостом в Уйдоме звали волостной центр — большое село Завидово, стоящее на почтовом тракте, через которое круглый год шли и ехали пешие и конные купцы и ремесленники, служивые люди и просто бродяги. Продавали, покупали, меняли, предлагали, и особенно это движение оживлялось с приходом зимы. Устюжские купцы наезжали с возами, а то и вовсе с обозами, и скупали у местных у хозяев зерно оптом и прочие продукты. Из окрестных деревень крестьяне выезжали торговать, ремесленники железо всякое везли, и над всем этим товароворотом верховодила волостная церковь. Оттого и погост.

«А чево брать-то?» — включаясь в обсуждение, полюбопытствовал Федька.

«Перво дело — ржи возьми, — начал отец, — хоть меры три. Жита калышечку, ягод красных. Клюквы не бери; и цену не дадут за ие, и полёжит ишо».

«А ягод много ли взять?»

«Тожо много не набирай, — наставлял Захар и дальше. — Их ноне порядошно наросло, вдруг да не пойдут».

«Можот, грибов захватить?»

«Грибов возьми. И грузлей возьми кадушечку, и сухих мешочек».

Захар продолжал перечислять свои задумки, почти ни на кого не глядя, разговаривая будто сам с собой, но и этой, не шибко весёлой, сцене все домашние были мертвы рады. Ещё бы, хозяин ведь! И ожил, судя по всему. Или оживать начал после всех ударов судьбы.

«Вобшом, смотри сам, — подытожил отец напутствия сыну. — Главно твоё дело — попроведать, што там нынче и как. Што по чём берут и помногу ли?»

«А нам-то чево брать, ежели торг пойдёт?» — теперь уж и Федька, целиком окунаясь в дело, задал свой вопрос.

«Сам смекай, — опять уклонился отец. — По ценам смотри. Ежели ломить шибко не будут — косу надо бы, хоть одну. Топор опять же, ежели крепкой попадёт. А то лони купил — на што гож? Дрова только колоть и то не всяки! Дёгтю не стаёт, мази колёсной...»

«А это-то сичас на кой болись? — перебил отца Федька. — Зима ведь...»

«Не мели! — оборвал его Захар. — Я ведь не сказал, што купи, я только сказал, в чём нужда есть».

«А-а-а», — понимающе протянул сын.

«А вот товару красново привези обязательно! — понизив голос, продолжил отец. — Даже если дорого заспрашивают — возьми! А то бабы наши совсем загасли, пусть им хоть столько радости будет. Сошьют чево да покрасуются! Нам-то с тобой и так такосько — мужики всё жо — а им надо. Ну, и робятам, само собой, пряник какой прихвати али леденец — понял?» — Захар поднял голову и прямо, открыто, впервые за многие последние дни, поглядел на сына.

«Понял, татя!»

«Ну, вот давай, коли так. Севодня собирайся, а утре поезжай. Да поране, штобы к рассвету уж на месте быть», — закончил напутствие отец.

...Федька воротился на сутемёнках. Молча слез с возу и как-то вяло начал выпря-

гать кобылу. Обычно добрый до живности, на сей раз то и дело раздражённо тпрукал на лошадь, отчего та испуганно прыдала ушами и вздрагивала всем телом, вызывая ещё большее раздражение у Федыки.

«Чево на животину лютуешь? — заметив это, попенял спустившийся в садник отец. — Дай-кося! — решительно перехватил у сына поводья Захар. На какое-то время в холодном саднике повисла напряжённая тишина. Только кобыла изредка пофыркивала, с нетерпением ожидая, когда её освободят от сбруи и можно будет покататься по мягкому снежку. — Чево молчишь?» — первым не выдержал Захар.

«Не пофартило мне! — глухо отозвался Федыка. — Считай, што зря съездил».

«Чево так?»

«Да всё почти што взадь привёз!» — горестно махнул рукой Федыка.

«Што, совсем покупателя нету?» — удивлённо спросил отец.

«Да покупателя-то скоко хошь! Даже целые обозы пустые с Устюга».

«Дак чево товды?»

«Цену ништо не даёт! Против прошлогднево-то на зерно, считай, на четверть сбросили обозники, и ништо не уступает. Ни оне, ни мы!»

«А хто мы-то?»

«Да были там ишо кое-кто с зерном из других деревень. Обозники-то думали, што-де у нас терпения не хватит и мы к вечеру сдадимся — не везти же возы взадь, — а мы ни в какую! Шутка ли — четверть цены терять! И так-то мало дают. А уж как они стращали ходили, уж как стращали — а мы устояли!»

«А чем стращали-то?»

«Да вот, мол, всё одно у вас хлеб отоберут. Ежели и не задаром, то совсем уж за бесценок. И тово не заробите, што мы даём вам. А только наши всё одно не поддались! — горячо рассказывал Федыка. — Как это — отоберут? Мы разе варнаки какие, штоб у нас отобирать? Своим горбом всё ростили, все подати выплатили, всё честь честью — не может быть таково! Так и розъехались».

«И што, совсем уж ничево не продал?» — недоверчиво спросил отец.

«Да не-е-е, маленько-то продал. Я овса с собой куль захватил ддя всякого случая, а у обозников, видать, с етим делом туго. А ведь коню-то дров не сунешь. И у наших тоже токо рожь да жито — вот я цену и взял! — Федыка помягчел голосом при последних словах и расплылся в довольной ухмылке. — За грузли тожо хорошо дали, ягод красных маленько разошлось».

«Грузли наши завсегда ценились, — согласно подхватил отец. — Вода у нас чиста, и склад в ей особый, грибу скус придаёт и крепость. Другие против наших не стоят: чуть маленько потепляя — сразу кисиль!»

«Вот-вот, — согласился Федыка. — Я как товар-от предложил, обозники сразу же ко мне: откуль, мол, грибы привезены? А как прознали, што из Уйдомы, — сразу цену дали! Я и продал всё зараз, — Федыка совсем повеселел и высоко поднял голову. — И уговор наш исполнил», — добавил, поворотившись уж к отцу.

«Привёз?» — поняв, о чём речь, спросил тот.

«Есть маленько, — прогудел в ответ Федыка. — И всем большим бабам обновка будет, и Дашутке на какой-нибудь сарафанчик останется, — Федыка вытащил из-за пазухи увесистый тугой свёрток и осторожно отогнул его уголок. — Баская! Цветастая! Я сам-от не силён в этом деле, вот и давай за бабами присматривать. Гляжу — вертятся у одново в лавчонке и уж так нахваливают ево материю, так нахваливают... Видать, глянется, а тот — не будь дурак — цену и завернул. Бабы попялятся, попялятся — да и отходят. А я посмотрел на их да и думаю: а чево мне, две цены, считай што, за овёс взял, ниуж наши с тобой бабы, татя, не могут побасся нарядиться? Ведь и вправду эстолько напастей-то свалилось! Ну и хашнул я на всё, што было! На гостинцы робяттам только и оставил».

Федыка говорил быстро, всё более и более распаляясь своим рассказом, энергично размахивал при этом руками и совсем не замечал, что взволнованный его рассказ отец слушает как-то не шибко внимательно. Даже рассеянно, ежели приглядеться, хотя это и была его идея — порадовать баб домашних красным товаром. И уж совсем не ожидал Федыка, когда сразу после радостного рассказа об удачной покупке отец вдруг совсем невпопад спросил:

«Дак чем, ты говоришь, оне стращали-то вас, ну-ко обскажи-кося поболее?»

«Кто стращал? — не понял Федыка. — Ништо не стращал!»

«Как не стращал? Сам жо говорил, будто зерно отоберут».

«А, дак это обозники! — вошёл в тему Федыка. — Да што их слушать, татя? У их одно на уме: скупить всё подешевше, а потом всё сбыть втридорога на устюжском базаре али ишо где. Им лишь бы жилы из нас вынуть, вот и выдумывают всякую страсть».

«А откуль обозники-то, говоришь?»

«Да болись их знает откуль! — досадливо отмахнулся Федыка. — Они разе скажут».

«Постой-постой, — остановил его отец, — дак оне што, и не устюжские, што ли?»

«Да не знаю я, татя. Не примечал я шибко-то, да и какая нам корысть — знать, откуль оне? Всё одно жульё и проидохи».

«Нет, парень, ты погоди. Тут дело не простое; не забывай — война. Ну-кося, пообскажи-ко ишо раз, чево они там говорили?»

«Ну, говорили, што, мол, хлеба государю много надо, армию, мол, потому што кормить надо...»

«Ну, а вы чево?»

«Чево мы, — недоумённо протянул Фёдор, — мы ничево. И так ясно, што надо армию кормить».

«А оне?»

«Ну, а оне, што, мол, казна у государя опустела.»

«А вы?»

«А нам-то што? — возмутился сын. — Мы все подати выплатили — с чево казне-то опустеть? И при чём тут наш хлеб? Кто задолжал ежели, вот тот пусть и думает, как ему долги отдать, а у нас-то с чево отобирать? Это не по закону!»

Федька умолк, ожидая, что ещё спросит отец, но тот тоже замолчал. Кобыла, освобождённая меж тем от сбруи, нетерпеливо перебирала ногами, торопя хозяев поскорее дать ей простор. Захар потянул поводья и вывел лошадь из садника на улицу. Та быстро опустила голову до земли, там да сям понюхала снег под ногами и, видимо выбрав наиболее подходящее место, плавно опустилась на передние бабки. Сразу же после этого осторожно положила голову на снег всей боковой пластью и, плавно укладываясь шеей и лопатками, грациозно перекадилась на спину, задрав вверх все четыре ноги. Потрясла ими в воздухе с наслаждением и перевернулась на другой бок. Понравилось. Оттолкнулась от твёрдого, и опять ноги кверху! «Порядочно уж находила, — подумал Захар, увидев, как широко распласталось по мягкому снегу расслабленное и располневшее лошадиное брюхо. — Пожалуй, пора уж и поберегчи животину. Всё благословесь — к весне приплод».

Лысуха, меж тем, ещё несколько раз повторила приятную для неё процедуру и, видимо решив, что хватит, поднялась на ноги. Постояла некоторое время и, энергично затряс головой, а следом и всем телом, подняла вокруг себя целое облако сухих мёрзлых снежинок. Захар подошёл к ней вплотную и коротко похлопал по гладкой шее. В ответ Лысуха вытянула шею, оттопырила верхнюю губу и осторожно пошамкала ею торчащее из-под шапки хозяйское ухо.

«Ну, ну, ну, — высвобождаясь от лошадиных нежностей, одобрительно проворчал Захар. — Будя, будя!» — и потянул помощницу во двор. А той уж давно того и надо. Намёрзлась за день, натягалась — а во дворе тепло... А во дворе сухо... Сенцо свежее... водичка... И можно, растянувшись на тёплом, похрумкивать хоть всю ночь! О чём ещё можно помечтать кобыле зимним вечером да после трудной работы.

«Вот што, Федька, я подумал, — обрядившись с лошадью, начал отец. — Нам надо как мога топеря в Устюг попадать. Ишо до Рождества».

Не ожидавший такого поворота сын в первый момент только безмолвно глядел на отца в ожидании.

«Дак ведь Лысуха же жерёба», — нашёлся он, наконец.

«Вот именно што жерёба. По то нам и нельзя нисколь час мёшкать. Я нонь совсем не лади в Устюг ехать, а коль такое дело, бежи-ко ты сичас до Стуковых да разузнай у их, ковды они собрались выезжать. Я чул, што со всей Уйдомы как будто бы до дюжины возов-то набирается, а Стуковы на двух лошадях сряжались шкуры вывозить и вроде как за главных. И мы бы с има».

«А чево ты вдруг-то? — поинтересовался Федька. — Ведь не думали жо севогуда».

«А то, парень, што, сдаётся мне, не просто так обозники-то те про государеву казну упомянули. И цену на зерно неспроста опустили. Думаю я, што дале будёт хуже».

«Што ты, татя?! — изумился Федька. — С чево хуже-то?»

«А с тово, парень, што война, видать, не так пошла, как думалось. Нам-то тут не видно этово и вроде не касаемо, а кто в больших-то городах живёт, те примечают всё. С чево бы это иначе пустой обоз на погосте в эку пору? Ковды такое было? И цену опустили... Што, ты думаешь, они дураки?»

«Да будёт тебе, татя, — опять недоверчиво возразил сын. — Токо страсти нагоняешь. Знаю я этих обозников; всё равно у их одно на уме: как бы нажиться поболе. Чево хошь выдумают ради этово и сичас, поди, всё выдумали. Не верю я им!»

«Не-е-е, паря, они не дураки! — будто и не слыша сына, продолжал Захар. — И они знают, что ноне хлеб не сбыть за прошлогоднюю цену. Государева казна действительно поиздержалась на войну, а дале ишо больше издёржится».

«И чево товды будёт?» — осторожно спросил присмиривший Федька.

«А ты сам смекни — што будёт, — предложил отец. — На государево место себя

поставь и смекни».

«Ну, ты хватил, татя! — замахал руками Федька. — Где уж мне до государя!»

«А ты попробуй! Попробуй! Ты ведь мужик?»

«Ну... мужик», — не понимая, к чему клонит отец, согласился Федька.

«Вот и государь наш тожо мужик! Токо што хозяйство у ево поболее твоево, а всё похоже, — Захар Петрович подобрал конскую упряжь и продолжил: — Вот ты и представь: на тебя напали, тебе надо своё хозяйство-госудаство оборонить. Оружье надо, армия... А чем кормить ие? Пока казна полна, купил кормёжку — и воюй себе скоко хошь! А ежели деньги на оружие занодобились? Чево товды? С голыми-то руками да с бадогами ведь воевать не побежишь!»

Совсем присмирел Федька, слушая, как разговорился его отец. И от мыслей его умных присмирел, и вообще от сознания, что отец хоть, слава Богу, заговорил, чего давно уже с ним не было.

«Чево притих?» — подтолкнул сына Захар.

«Да слушаю я...» — отозвался Федька.

«Ты лучше думай, чем слушать. Слушать — оно, конечно, хорошо, но думать — лучше; пользы больше. Для жизни. Тебе ведь жить? Так или нет?!...»

«Дак ты што, думаешь, нонь за хлебом и по деревням поедут?» — осторожно поинтересовался Федька.

«А куды ишо! — резко подтвердил отец. — В городах-то хлебушок ведь не растёт!»

«Да я не о том».

«А о чём?»

«Я о том, што... што ниужоли отбирать будут?» — всё ещё с сомнением рассуждал сын.

«А как воевать, ежели армия голодна? Как хлеб взять, если казна пуста? — словно двумя ружейными выстрелами пульнул в сына двумя вопросами Захар. — Можот, конечно, и не будут отобирать силком — скоряя всево, не будут, а то ведь народ подымет-ся против власти. Товда-то уж всемо конец!»

«А как будут?»

«Ну, можот, взаймы как-то, али другое какое послабление будёт — розьяснить как-то станут — но ведь выхода-то другово нету!» — Захар заговорил горячо и убеждённо, и запал этот в его разговоре подействовал на Федьку, пожалуй, посильнее, чем сами слова.

«Ну, ниужоли уж нет выхода совсем?» — осторожно вставился сын.

«Есть! — уж будто корабельным залпом главного калибра бабахнул в ответ отец. — Штыки в землю и руки кверху — вот какой ишо есть выход! Товды не надо будёт ничево отобирать по деревням, да только уж хозяйничать в России будут инородцы! Ты што, этово хошь?!» — глаза Захара сверкнули острыми искрами в сторону сына и застыли в ожидании ответа.

«Ну, што ты, што ты, татя! Кто жо эдако захочет!»

«А коли нет, дак нам товды всем миром поднатужиться придется! И штобы уж совсем-то пуп не оголять — продать хлеб надо, как мога, и што необходимое купить для жизни, — огласил свои выводы Захар. — А в Устюге на Рождество всегда торги большие; и своё с выгодой продашь, и товару купишь подешевше. А то ведь, тово и гляди, доживем-ся, што за иголку с нитками мешок зерна отдашь, лишь бы она была! Ведь и такое можот быть, — Захар умолк, очевидно истратив запас красноречья, и с ожиданием уставился на сына. Но тот молчал, сражённный, вероятно, отцовыми выкладками, не находя, что им противопоставить своё. — Ехать надо, Федька! — продолжил отец после небольшой паузы. — Как мога скоряя надо ехать в Устюг и везти нараз всё, сколько сможем. Дале кобыла не даст».

«Ну, татя, ты прямо как государевый министр рассуждаешь! — восхищённо проговорил Федька. — Я бы до эдаково и не дотункал».

«Молод ты ишо, Федька! — снисходительно отозвался отец помягчевшим голосом, явно польщённый высказанной сыном похвалой. — Ето дело житейско и с годами приходит само собой. Ежели, конечно, на печи лежнем лежать не будешь. Туда-то уж точно ничево не придёт! Но ты, слава Богу, вроде бы не из таких и с моё-то проживёшь, дак и похлеще ишо рассуждать, можот, научисся! — теперь уж Федькин черёд пришёл присомлеть от отцовского одобрения, но расслабляться ему долго тот не дал: — Бежи-ко ты топеря, парень, к Стуковым, да розузнай у их про всё! — строгой постановкой проговорил Захар сыну. — А то оне уж, можот, ехать-то наладились, а мы тут рассосливаем попусту».

Стуковское хозяйство, пожалуй, в Уйдоме первейшее. Ну, а как ещё скажешь, ежели и дом у них попросторнее власовского, положим, и полос да покосов поболее бу-

дет, и скотины всякой во дворе. Одних только лошадей аж две сразу, да и коров тоже.

Глава дома — осанистый чернобородый мужик сорока с лишним годов — пользовался у земляков искренним и глубоким почтением. Мастеровитый, ухватистый, он всякое дело старался обратить себе на пользу. Присмотрел где-то на стороне, как кошёвки гнут, попробовал — лучшие кошёвки во всей волости теперь, пожалуй, только у него и получаются! Был как-то зимой на отхожем промысле, насмотрелся, как шкуры выделывают скотские, — теперь за сыромятиной к нему, считай, что вся округа. Мастерскую отдельно поставил со складом поближе к воде — шибко хорошо у него это дело пошло! Мало ли надо сыромятины-то, особенно если конь в хозяйстве есть. Ольку Стукова шибко народ зауважал. Шутка ли: и ехать никуда не надо — вот он, товар, под боком — и крепости сыромятина не хуже привозной, а главное, берёт хозяин недорого. Не то что на погосте, али ещё где. И полосы у него завсегда ухожены, и покосы угоены, и скот весь, какой есть, и дом крашенный. Да и робята не избалованы. Двое сыновей-подростков — семнадцати и четырнадцати годов — уже вовсю отцовскую науку перенимают, себя в его делах пробуют, а дочка десятилетняя — матери помощница. Всех-то робят, конечно, было больше, да мерли, как и у других, кто от чего, вот только трое и осталось.

Батько его Миша такой же осанистый и основательный в жизни, уж совсем оправдывал данное ему при крещении имя. Всю жизнь маленько сутуловатый, руки мало не до колен, борода лопатой, волосье долгое смоляное — он и на исходе седьмого десятка походил на медведя-шатуна, который и в зиму не знает покоя, а топчет землю весь век своей в поисках дела и применения силы своей. Седина только в последние годы стала выдавать, а то ведь столкнёшься с таким в лесу на узенькой дорожке — закрестишься!

Миша был крепким старовером; в церковь не ходил, «щепотников» презирал, но все посты и прочие обряды соблюдал строжайше! Сыну своему — Ольке — старался привить старую веру, но Олька пошёл в церковь и жить стал, как и большинство уйдомцев, за что Миша охладел к нему и как-то отгородился. Вот и выходило, что в одном большом дому существовало как бы два хозяйства: одно — отцовское, а другое — сыновье. И оба крепкие, как и сами хозяева. Лошадь сначала одна была, но Олька не вытерпел тягостных с родителем отношений, поднатужился и вскоре после женитьбы завёл свою. Отец с той поры маленько помягчел к сыну. Понял, что тот, хоть и не крестится двуперстием, а тоже чего-то стоит. Хозяйства их сколько-то сблизились, но всё одно при этом каждый гнул своё.

Так продолжалось до тех пор, покуда не захворала хозяйка Стукова-старшего, которую по мужу все в деревне так и звали — Мишиха. Хворала долго, мучая и себя, и родню, и год назад угасла. Миша после этого совсем запёрся во своей избе и шибко затужил. Видя такое дело, Олька сам пришёл к отцу и предложил мировую. Уважаю, дескать, я тебя как родителя за то, что ты жизнь мою зачал и уму-разуму научил, но и ты меня уважай. У меня и хозяйство крепкое, и робята растут не дураки. Давай, дескать, сделаем так: поскольку ты в доме старший и есть мой батько, я признаю за тобой право хозяина. Пока ты в силе и во своём уме — хозяйничай. Но разумно! И меня слова не лишай — тогда у нас толк будет. И старость я твою теплом и хлебом обеспечу — за это будь спокоен. А что в церковь я хожу — это мой выбор, и ты его тоже уважай, как и я тебя. Словом, татя, давай жить миром и не будем под старость лет смешить людей. Миша и сдался! И заботы сыновьи на себя принял, и дела его. И помогать стал в том, что было по силам.

А по силам ему, считай что, всё оказалось: хоть кожи мять, хоть кошёвки гнуть, хоть за сохой ходить. Ну, соху-то, положим, к той поре они уж и на плуг заменили, однако ж всё равно. Так вот и вышло, что к полному расцвету своей жизни фактический хозяин своего подворья Олька Стуков добровольно передал эти права стареющему, но ещё очень крепкому отцу, и зажили они теперь уж одним общим хозяйством.

И главным делом в их хозяйстве всё больше и больше становилось производство. Уж маловатой стала казаться мастерская, вроде и недавно построенная, где отец и сын трудились, не покладая рук, и уж совсем мал оказался складик при ней. Потому что прознал народ в округе про местных мастеров, и со всей волости к ним кожи повезли. Кто на выделку, кто просто на продажу — вот складик-то и стал маловат. Заподумывал Олька его расширить, а отец ему другое предложил: заводик новый построить. В пять верстах от Уйдомы дорогу на погост речушка разрезала. И вся-то в две сажени шириной — немного, может, больше — а вода, как слёзка! Вся на ключах да лесных ручейках. Опять же по пути, и пожни в берегах порядочные — есть где развернуться — а главное, воды, которой для дела надо много, сколько хочешь! Вон она, бежит себе мимо да пожурчивает по камушкам, только черпай! Олька и загорелся отцовской идеей. Да и то сказать: сыновья ведь на подходе. И двое сразу. Скоро и им дело понадобится. И нужда есть; звон сколько кож-то везут! Ведь уж и с других волостей стали приезжать да просить выделатъ или купить.

Решили. И вот теперь все усилия семьи были направлены на воплощение этой задумки в дело. Хозяйствовали, крестьянствовали, сколачивали капитал, и нынешней зимой собирались уж и лес заготовлять для будущей стройки и кое-какой инвентарь для работы. Оттого и грузились уж не в первый раз полными возами на погост, да и в Устюг тоже. За этим занятием и застал их Фёдка.

«Здорово живут, соседи!» — разглядев копошащихся в сумерках всех стуковских мужиков, поздоровался Власов.

«Здорово, дядя Федя. Здорово!» — первыми отозвались подростки.

«Здорово, Фёдка! — подошёл и их отец. Олька старше Фёдкиного годов на пятнадцать, и робота у него большие, однако же мужика в Фёдке признаёт, несмотря на его молодость, и руку подал первым. — Какой нуждой к нам?»

«Да вот прознали мы, что будто бы вы в Устюг собираетесь, татя и послал меня проведать — когда поедете?»

«Утре и поедем, — ответил Олька. — Счас вот возы довяжем да и спать, чтоб отдохнуть перед дорогой».

«Татя у меня тожо засобирался».

«Дак и поехали вмистях! В чём дело-то? — просто отозвался Стуков. — Грузить, если занодо, дак пособим — время есть ишо».

«Да кобыла у нас несвежа, — досадливо пояснил Фёдка. — Я с час какой назад с погосту воротился, а она жерёба».

«А-а-а, — понимающе протянул Олька. — Ну, это вы смотрите сами, а у нас, парень, уж налажено всё, и завтра утром мы выезжаем. И не мы одне».

Олька отвернулся к возам, полагая, что разговор с Фёдкой на этом закончен, и стал поочерёдно дёргать за прядки верёвок, проверяя, крепко ли увязано. Фёдка, стоя рядом, мучительно соображал, что бы такого ещё можно было предложить, но ничего толком так и не мог придумать. Ночи отдыха перед столь трудной дорогой для жерёбой кобылы было явно недостаточно.

«А можот... — вдруг осенило его, — а вы где перву-то ночь ночевать ладили?»

«Ну... как дорога...» — уклончиво ответил Олька.

«Слушай-ко, Оляксан, ведь всё одно за одну ночёвку не доехать до места... Дак, можот, до погоста завтра доберемса и там перву ночь ночуем? — предложил Власов. — Ведь там у всех родня, и кони отдохнут в тепле. А то ведь с уйдомских-то угоров да лесом воза вывезти — сам знаёшь...»

«На погосте, говоришь?» — задумался Стуков.

«Ну да, на погосте! — уже увереннее подтвердил Власов. — А дальше по ровну мы бы с одним ночлегом до места и доехали бы. А Лысухе нашей как раз бы одного дня завтра и хватило бы, чтоб отдохнуть. И ночь потом опять в тепле...»

«Хм... — озадаченно почесал затылок Олька. — Слышь-ко, татя, Власовы-то чево нам предлагают?»

«Чую! Не глухой!» — отозвался всё время молчавший до этого Стуков-старший.

«И што ты скажешь на это?»

«Можно и так сделать, — отозвался Миша, — для дела большой разницы нету. А Захара Петровича надо уважить, коли так».

«Ну, дак што, на вечер отнесём выезд-от?»

«Можно и на вечер, — тем же глуховатым басом пробурчал Стуков-старший. — Токо ты, Фёдка, поимей в виду, што тебе всех наших попутчиков придетча упреждать, што выезжаем завтра не с утра. Севодня упреждать. Тебе надо — ты и бегай! Согласен ли ты на такое дело?»

«Да это-то я сделаю! — обрадовался Фёдка. — Вы только подскажите мне, к кому бежать, а я уж мигом».

«Ну, товда слушай и запоминай!» — начал гнуть пальцы Стуков-старший.

— 4 —

Устюг для северян, что Нижний Новгород для центральной России. Хоть и калибра они разного, и народу в Нижний больше собирается, но значение для своих территорий у них одинаковое. Оба на воде, попажа к обоим, по этой причине, ловкая, вся беда желающим попасть — на эту самую воду выбраться. Особенно северянам. Леса-то там ого-го-го! А лесными волоками не шибко-то разъездишься. Одна надёжа на зиму. На санный путь. И те из жителей северного края, которые не имели возможности попасть в Устюг по водному пути и торговать летом, зимы ждали с особым нетерпением. Пусть и небольшими партиями — не сравнишь же с баржой лошадиный воз, а хоть бы и обоз — но свой товар вывезти на торги в Устюг мог всякий крестьянин, имевший лошадь.

И вывозил. И торговал с выгодой для себя. И укреплял тем свой дом и хозяйство своё. А заодно и сам Устюг. С торгов-то тех городская казна немало имела. А как же

иначе? Беспокойство горожанам, шум, гам, суета торговая и всё такое прочее. За это надо платить — иначе нельзя. Но никто и не спорил. Сборы и пошлины были умеренные, для большинства людей доступные, и против такого порядка никто не возражал. Ну, а уж городской управе оставалось только одно: с умом распорядиться полученными средствами.

И рос да хорошел северный Нижний с каждым годом! Всё больше расширялся и вдоль по берегу, и вглубь от реки. Всё больше появлялось в нём торговых мест и богатых домов. Городские улицы стали одеваться в камень, разрослась пристань, а звон колоколов многочисленных его церквей и монастырей разносился уж далеко окрест на многие вёрсты, извещая всякого проходящего или проезжающего мимо о здоровье и процветании одного города и благоденствии его жителей. И не было на сотни вёрст вокруг другого такого же места, где сходились бы с разных сторон несколько водных путей и где можно было бы с выгодой поторговать. Так что жизнь прилежащего северного края, его здоровье или, наоборот, нездоровье напрямую зависело от того, как пойдёт большой оборот товара через Устюг. Когда можно вывезти и продать своим трудом выращенное и заготовленное, а взамен приобрести для хозяйства своего то, что производят на городских заводах. Таков был Устюг — торговая столица северного края, таково его значение для уйдомцев.

...Но вот попажа туда... Летом почтовый тракт хоть и действовал, но много ли на телеге увезёшь? Да по угорам. Да по ухабам! Да ведь и некогда же летами-то развезжать — земля не отпускает. Робить надо, из страды да в страду. И всё откладывалось на зиму. Дорога до Устюга такова, что одной ночёвкой не доберёшься. На верховой разве что. А кому ты нужен на верховой-то да в торговом месте? Вот и делили уйдомцы трудный путь на три части. Иногда поровну на каждый день, а больше всё старались поболее одолеть до второй ночёвки. Чтобы пораньше до места добраться да получше устроиться. Устраивались-то, в конце концов, все — кто как, правда, — но всё же старались езды после второй ночёвки оставлять поменьше.

Шла зимняя дорога большей частью лугом. Поймой реки да по подгорью. Летом там не проедешь из-за бесчисленных озерин да ручьёв, а зимой эти природные преграды замерзали и движению уже не мешали. Пока шибко не переметало, была дорога ровной и торной, широкой и почти прямой на больших участках. Это-то вот время и старались больше использовать для перевозок. Но ежели, не дай Бог, задует, да позёмка пойдёт, да ещё сверху начнёт сыпать — всё тогда! Капец! И дороги-то не найдёшь, не то что-то! Вешили её, конечно, на шибко-то перемётных местах, да только много ли толку от вешенья, ежели навалит по колено снегу, да и выше?! Хоть пусть и видно где езжалое, да только далеко ли на лошади уедешь по такой дороге? И порожняком-то не скочишь, а не то что с возом! Но жизнь всё равно требовала своё, и, хочешь не хочешь, уйдомцы пускались в многотрудное это предприятие — поездку в Устюг. Старались кучковаться в обозы, пусть и небольшие, чтобы можно было пособить друг дружке, если что, и ехали.

За многие годы заприметили время, когда надёжнее и безопаснее погода, и старались этого времени придерживаться. Один из таких сроков — середина декабря. Аккурат перед Рождеством. И снегу ещё немного, и зима ещё полной силы не набрала, да и погода, по большей части, в эту пору года устойчивая. И потому в это время года особенно много товаров везли. А тут всё в одно совпало у Власовых: и погода, и попутчики, и нужда в торгах, и состояние кобылы. «Один раз, — думал Захар Петрович, — ей ещё можно сходить в этот путь, а больше всё! Поберегчи надо животину, лошадиный приплод — не шутка!»

Добрались благополучно. Вполне оправдался власовский расчёт на отдых лошадей на погосте. С раннего утра на другой день свежие кони взяли хороший ход, и небольшой уйдомский обоз быстро пошёл к намеченной цели. По наезженной дороге катило хорошо, и местами кони даже переходили на лёгкую «рысь». После свирепых морозов начала декабря и ледостава зима маленько утихомирилась, и на ходьбе было совсем не студено. Даже на возах. Но залезали на них лишь тогда, когда лошади начинали трусить. Даже Ивашко — младший сын Стукова, которого отец в первый раз взял в такую поездку, имевший перед остальными привилегию — сидеть на возу, — этим послаблением не пользовался и шагал рядом с лошадьми наравне со всеми. К вечеру без приключений одолели больше половины оставшегося пути и опять удачно заночевали. «Ну, слава тебе, Господи! — думал перед сном Захар Петрович. — Видать, правильно это было решено — ехать — коли всё так ловко пригожается. Даст Бог, и поторгуем с прибутком». А к исходу третьего дня также без происшествий доехали до места.

...Ох и сладок же он — малиновый звон многочисленных колоколов устюжских храмов и монастырей! И так-то люб он душе верующего человека, когда даже и один-то колокол зазвонит или одна колокольня, а тут-то, тут-то их сколько! Ведь чуть не на каждом шагу! Да со всех-то сторон, и все разные! Музыка-то какая, да в морозное-то

утро! Ведь вся душа трепещет от неё, ровно осиновый листочек на ветру! Вся душа тепло и благоговением наполняется до краёв, как чаша полная! Человеколюбием и благочестием. А тело само просится поклоны бить, и уста благодарения посылают Всевышнему за ниспосланную благодать — подаренный день! А звон всё разливается и разливается в морозном воздухе, и будто елей желанный пьёт человек, слушая его переборы и переливы. И отлетает всё пакостное, пачкающее и поганяющее душу человеческую, и очищается она от ударов колоколов, как зерно очищается от мякины под ударами молотила, и остаётся самая её суть. Самая сердцевина и золото!

«Ну, робята, с Богом! — на правах старшего и деревенского старосты подстегнул своих попутчиков Захар Петрович. — Удачно вам всем поторговать!»

И зашевелилось всё, и закопошилось. Затпрукало и занукало, загайгало и засуетилось, как в огромном муравейнике, направляемом, однако, одним большим, до мелочей расписанным смыслом. Начинался очередной торговый день.

«Вот што, Федька, я тебе скажу, — начал Захар, едва они с возом встали в ряд. — Ты тут оставайся-ко с кобылой да с товаром, а я порозузнаю похожу, што тут к чему и што по чём. Товар выставь, но цену назначать не торопись. Побалагурь с покупателем, ежели объявится, покаламбурь, а цену не ставь, покуда я не ворочусь. Понял?»

«Понял! — кивнул Федька. — Ну, а если как пристанут шибко? Што товды?»

«Против прошлогоднево не сбавляй! — решительно заявил отец. — А лучше прибавь маленько — сбросить-то всегда успеем. А ишо лучше брехнёй какой-нибудь занимайся. У тебя его лучше моево выходит, а я скоро. Понял?»

«Да иди ты уже!» — махнул на него рукой сын. Он выпряг кобылу из саней, вывел из оглобель и привязал неподалёку от воза. Сунул сенца охачочку и накинуд на лошадиный круп попону. Животное быстро протянуло морду к пахучему сенцу и, выхватив небольшой пук, ашпетитно захрумкало.

«Эй, парень! — раздалось вдруг за его спиной. Федька быстро обернулся на звук и увидел рядом со своими санями двоих мужиков. — Ты, што ли, етот воз привёз?» — спросил один из них, сильно обросший и бородатый.

«Ну... я, вобшом...» — уклончиво протянул Власов.

«А чево есть?» — полюбопытствовал второй, сухощавый и помоложе.

«Да... всево помаленьку», — опять неопределённо ответил Федька.

«И давленники есть?» — быстро вставился долговязый.

«И давленники есть», — подтвердил Федька.

Давленниками в Устюге называли уловленных петлями зайцев, которые всегда хорошо расходились во все торги, сколько бы их ни привозили.

«А за сколь отдашь?» — продолжал наседать молодой.

«Да у меня их немного и есть-то...»

«Ты нам зубы не заговаривай! — напоровал долговязый. — Сколько за давленники хошь? Сказывай прямо! Мы их у тебя всех возьмём, если говоришь, што мало. Цену давай!»

Федька внимательно посмотрел на мужиков, пытаясь понять, чем продиктовано их настырное желание купить зайцев, но ни к чему определённом в своих попытках не пришёл. Торговый диалог, однако, уже успел впрыснуть в кровь первую порцию азарта, и Федька рискнул.

«А... по полтине за штуку!» — объявил он чуть ли не двойную цену.

«Гнёшь, парнишо!» — возмущённо воскликнул молодой. — У тя за эку цену и по одному-то не возьмут, а не то што мы зараз».

«А скоко б ты хотел?» — поинтересовался, в свою очередь, и Власов.

«Ну, хоть бы за три гривны», — вступил в торги бородатый.

«Э-э-э, робята, — услышав прошлогоднюю цену, Федька быстро смекнул, что нынешняя реально выше. — Мне такая торговля без резону. Пожажа-то от нас сюда какая, знаёшь ли? А ведь ишо и по лесу находисся, пока уловишь... По полтине за штуку — никак не мене!»

Долговязый нагнулся к уху бородатого и что-то быстро ему шепнул.

«Ладно! — согласился вдруг тот. — Сколь их у тебя?»

Федька покопался в возу и выволок наверх с дюжину справных беляков.

«Всех берёте?» — полюбопытствовал ещё раз.

Долговязый опять чего-то шепнул бородатому, и тот уточнил:

«По полтине?»

«Ну... по полтине...» — уже менее уверенно подтвердил Федька.

«Всех! — отрубил бородатый и начал завязывать товар в берема. — Офоня, плати!»

Долговязый отсчитал нужную сумму, и оба мужика, взвалив за спину увязанных зайцев, исчезли в рыночном человековороте.

Федька ещё раз пересчитал полученные деньги и расплылся в довольной улыбке. Ещё бы: чуть не вдвое против прошлогоднего дали за давленников! Да ещё и оптом.

Такого отродясь не бывало на торгах, какая бы ни была нужда на товар. Зайцы, правда, справные, и мех хороший, но всё равно выручка за них была сверх всяких ожиданий. «Откуль ты, парень?» — от соседних возов подошёл к нему невысокий рябой мужичок.

«Уйдомский я, можот, слыхал?» — ответил Власов.

«Как не слыхат! — подтвердил мужичок. — Слыхал я про вашу деревню. И про давленников ваших тожо слыхал — знатные давленники завсегда были».

«А сам-от чей?» — любопытствовал Федыка.

«Вятские мы, — растягивая слова, ответил рябой. — Не из самой, конечно, Вятки, а тут нидалёко».

«А чем торгуешь?»

«Хлебушок мы привезли, — ответил мужичок. — Мы завсегда рожь торговать возим, да и жито тожо. Сам-от привёз ли сколько?»

«Привёз».

«А почём ставишь?»

«Ну... по рублю с гривной» — осторожно прибавил Федыка к прошлогоднему.

«За пуд?»

«За пуд».

«Ну-ну, давай тогда, торгуй», — как-то неодобрительно отозвался мужичок и отошёл.

Федыка наблюдал, как он подошёл к своим и что-то стал говорить им, показывая в его сторону. Увидел, как несколько мужиков, сойдясь в кружок, вдруг что-то ожесточённо стали обсуждать, махая в его сторону руками. Как, немного погодя, от кружка отделилось трое и решительно пошли в его сторону. Федыка внутренне вздрогнул, почуяв неладное, но старался не выказать своё беспокойство. Трое вятских подошли к его возу вплотную, коротко поздоровались, и один из них — бородатый здоровяк — резко спросил:

«Сколько у тебя зерна, парень?»

«Да... да пудов двадцать, можот... — начал Федыка, — ежели всё-то сосчитать».

Вятские быстро переглянулись, и бородатый уже помягче спросил:

«В первый раз, што ли?»

«Да нет, не в первый, — ответил Федыка, — мы с татей...» — заметив в этот миг приближающегося отца, добавил быстро.

«Ну, торгуйте, коли с татей», — всё так же неопределённо, но и недоброжелательно проговорил здоровяк, и вятские отошли к своим возам.

«Ну, што тут, Федыка, нового?» — быстро спросил подходящий к возу Захар.

«Ох, татя, што-то тут не так», — настороженно отозвался растревоженный Федыка.

«Чево сдизалось?»

«Да мужики вон вятские как-то шибко воевато наскочили».

«Драться, што ли, собирались?»

«Да не-е-е. Про цену на рожь интересовались».

«А ты?»

«А што я, — растерянно развёл руками Федыка, — хотел, как ты натакал, побалагурить, да где там... Они как надвинулись втроём, да мало ни на воз, у меня и слова-то все в роту завязли!»

«И што? Назвал цену?»

«Назвал».

«Много ли?»

«На гривну против прошлогоднево прибавил».

«А оне?»

«Ну, отошли вот... — растерянно провёл рукой Федыка в сторону вятских. — Только дивно как-то отошли. Недобро. И я вот думаю: а с чево бы это? Чево деется?»

«А деется, парень, сам чёрт не разберёт чево, — быстро заговорил отец. — Деньги, говорят, силу потеряли!»

«Как это?!» — охнул потрясённый Федыка.

«А так это, — пояснил отец, — што против прошлогоднево на те жо деньги ничево не купишь! Всё дороже стало вдвое, а то втрое. Особливо ежели на кредитки. Все настоящих денег спрашивают, пусть хоть мелких и медных, а ишо лучше серебра. Золото-то нашему брату, сам знаешь, не по карману».

«Охти-мнеченьки! — всплеснул руками Федыка. — А мне-то ведь наголо кредитками за давленников расплатились!»

«Ты што, зайчей продал?» — всполошился отец.

«Продал».

«И много ли?»

«Всех».

«А взял сколько?»

«Две цены почти што», — уж не зная, радоваться теперь или горевать, ответил Федыка.

«Три цены за давленников нонь дают! — воскликнул Захар. — Три! Понял? Это ежели по одному продавать. А за кредитки-то и оптом три дают!»

«Ну, кто жо знал?!» — сокрушённо пробормотал Федыка, разводя руками.

«Кто-кто, — недовольно пробурчал отец. — Говорено тебе было — не торопись торговать — говорено! Перво правило в торгах — цену узнать, котора устоялась. Дობро бы ты один, дак бесподручно узнавать, а нас жо двоё».

«Да ведь я хотел как лучше», — осторожно оправдывался сын.

«Лучше он хотел... — всё ещё поварчивал отец, — ладно, давай за дело».

«А чево хоть розузнал-то?» — уж в свою очередь поинтересовался Федыка.

«А и сам, парень, не пойму, — потеревил затылок Захар. — Цены вроде бы узнал на зерно, а торгу-то нету. Цену-то выставили, а товар не идёт».

«А много ли выставили?»

«Да тожо две цены с лишком просят все, коль деньги силу потеряли».

«Дак вот пошто на меня вятские-то набычились! — хлопнул себя Федыка по коленке. — Я-то им на своё только гривну набавил»...

«Которы это?»

«Да вон стоят ихны возы», — махнул рукой Федыка в нужную сторону.

«Ну-ко, пойдём!» — решительно направился к вятским Захар Петрович.

«А воз-от как жо, татя?»

«Ничево, — отрывисто ответил отец. — Тут нидалёко и всё видко. Оттуль присмотрим».

Власовы быстро одолели небольшое пространство, отделявшее их от вятских возов, и сходу вклинились в кружок, образованный десятком-другим разного рода мужиков.

«Здорово живут, соседи!» — сняв шапку, отвесил короткий поклон Захар.

«Здорово, здорово! — наперебой загудели мужики. — С чем к нам пожаловал?»

«Да вот разговор у меня есть».

«И о чём же твой разговор?» — заметив рядом с Захаром Федыку, не очень дружелюбно вышел на середину всё тот же бородатый здоровяк.

«Ну, о делах наших».

«А какие у нас могут быть с тобой дела, мужик?»

«Дела у нас с тобой, парень, похоже, однаки, — как можно мягче ответил ему Захар. — Руки-то у тебя вона какие. Даром што молодые, а уж на мои коряги смахивают. Стало быть, и дело у нас с тобой одно, общее — хлебушек».

«Ну, и што жо ты хотел про этот хлебушек спросить?» — уже немного смягчившись, проговорил бородатый.

«Да ты не гоношись шибко-то, парень, — примирительно протянул ему руку Власов. — Меня Захаром звать, а тебя как?»

«Данилой меня кличут», — немного помедлив, ответил на рукопожатие здоровяк.

«Ну, вот и слава Богу! — заключил Захар. — Топеря можно и потолковать. Федыка, с возу и кобылы глаз не спускай!»

«Сын, што ли?» — уж совсем миролюбиво полюбопытствовал здоровяк, который, несмотря на молодость, был, очевидно, у вятских за главного.

«Сын! — коротко ответил Захар. — А што?»

Вятские переглянулись, и один из них — в лохматом лисьем треухе — пискляво сообщил:

«Да мы тут мало не навешали твоему сыну, покуда тебя не было!»

«Чево так?»

«Да цену он смешную на зерно поставил!» — перехватил нить разговора здоровяк.

«А мы четвёрты сутки уж торчим тут — своё продать не можем! — снова не утерпел писклявый. — И покупатель вроде есть — вон сколь нагонено обозов-то — а цену не дают! А деньги ноне, видел, какие? За прошлогоднюю-то цену много ли потом возьмёшь на эти деньги?»

«Тут такое дело, Захар, — опять вступил в разговор Данила, — возов пустых нагонено за зерном — страсть! Уж чьи они — не знаю, но не здешние. Видать, их нанял кто, а кто — не знаем. И они цену на зерно только прошлогоднюю дают».

«А вы?» — вставился Захар.

«А нам-то какой резон за ихну цену зерно отдавать? — ровно гудел Данила. — Чево домой-то мы с такой торговли привезём? Бумажки ихны? Ходил, дак, небось, видел, што с деньгами-то творится! А у этих перекупщиков одни кредитки».

«И што жо вы?»

«Стоим вот... — продолжал басить здоровяк, — мозгуем. Решили, што уж лучше увезём зерно назад, чем за бесценку отдавать. Оно, видать, ишо дороже будёт даль-

ше-то».

«Ну, а Федька-то мой при чём?»

«Хм, Федька, — неопределённо хмыкнул вятский, — Федька ни при чём. Просто был тут один, с Кологрива будто бы, товару выставил цельный обоз, дак перекупщики евовное зерно с руками чуть не оторвали!»

«Как это?»

«А он ихну цену дал — вот как! — воскликнул Данила. — А после вышло, што они сговрились с им, штоб он нарошно это сделал, по указке ихной, будто бы взаправду по такой цене продал.»

«А настояшшо как?»

«А настояшшо оказалось, што оне ему за это сразу приплатили, сколько он хотел, — вот как настояшшо-то! — хлопнул себе по колену здоровенной ладонью бородастый. — Он-то не в убытке оказался, а народ весь взбаламутили. Зерна-то у ево ведь не одна сотня пудов была привезена! Представляешь, чево тут началось? — Данила утих на какое-то время, давая возможность Захару представить происшедшие события, и, помолчав, продолжил: — Перекупщики как с ума сошли: орут, толкаются, зерно грузят — шум, гам. Вот, говорят, допрыгались, голубчики, со своими ценами! Сопите, мол, топеря своё жито сами вместе с куричами, раз не хотели уступать. Народ весь тожо ошалел; давай, как мога, скоряя продавать своё, штобы хоть скоко-то да взять!»

«И мы-то чуть не одурели! — пискнул мужичок в лисьем треухе. — Чуть не продали своё за стару цену, да вот хорошо Даниле здогаду хватило — с продавцом поговорить.»

«И што?» — Захар всё больше вникал в рассказ о торговых перипетиях.

«А то, мил человек, што ты вот с первого разу на руки Даниловы глаз положил и всё понял, и Данила как поздоровался с продавцом-то тем, хоть бы ему и тошно было это, но тожо всё понял! — залпом выпалил писклявый мужичок и коротко добавил: — Белы руки-то у ево оказались! Не работяшшы!»

«Тут-то мы и смекнули што к чему, — снова загудел своим басом здоровяк. — Поняли, што не хозяин он. Што нанят кем-то. И што ему, в таком разе, до чести да до совести в торгах? Как нам, грешным, до ангельских крылышек — была бы нажива! И устояли мы. Выбрали у ево перекупщики зерно — а мало. Часть-то сразу уехала, а остальные-то все тут. И народ маленько отрезвел, цену подняли — всё и встало. Оне цену не дают; думают, мы опять сбросим, а мы топерь умняя стали. Четвёрты сутки вот стоим и караулим: ежели кто цену здумат сбрасывать опять, штобы отвадить ево сразу же от этого. А тут Федька твой... Мы сперва-то окрысились, а глянули получше-то — один всево и воз-от привезён кабыть как; мы и подошли тогда, да и спросили, сколь зерна, мол, выставяешь? Он нам сказал, что, мол, пудов около двадцати — ну, мы и отступились».

«И ничего не пояснили... — укоризненно протянул Власов, — пусть-де торгует себе в убыток...»

«Ты, Захар, на нас не сердчай, — примирительно положил Данила свою руку на колени собеседника. — Он, во-первых, ничего ишо не продал, а во-вторых, уж шибко мы на тово ферта разъярились, который на всём рынке цену сбил. А тебе, парень, наука, — обращаясь к Федьке, проговорил здоровяк, — не зная броду, не суйся в воду! Понял?..»

«Ну а делать-то чево топерь?»

«А делать, Захар, топеря надо вот чево; мы тута пошныряли маленько по базару-то да и прознали, што у перекупщиков-то этих и овёс, и деньги на исходе, — начал Данила. — Ишо если день севодня простоим, то завтра оне сами нашу цену дадут. А можот, и севодня их терпленье лопнет к вечеру. Они ведь кем-то наняты, и дело ихно только до «чугунки» хлеб-от довести, а дальше его живо там определят чево куда. Так што, парень, присоединяйся в нашу компанию, ты, видать што, мужик свой, хозяин! И своим, ково знаешь, накажи, штоб цену не сбавляли до утра — глядишь, и выстоим. А ежели и сыщется какой охотник цену сбить, ты нам шопни. Мы его живо тут отвадим нашово брата-мужика обижать».

«Ну, это-то мы сделаем, — согласился Захар. — Вы мне лучше вот што обскажите: чево в вашем месте про нынешнее положение говорят? И чево делают?»

«А што я тебе скажу, парень, — начал вятский здоровяк Данила, — замутила война Расею».

«Ну, уж так-таки и замутила?» — усомнился Захар.

«Так-таки и замутила, — в тон ему отозвался Данила. — Ведь ты взгляни, сколь этой муги-то поднялось! Взять хоть бы, к примеру, наш базар: ковды ишо такое было, штобы с ценами так жульничали? Ведь никому и в голову не приходило! Ну, продаст какой свой товар подешевше, дак ведь не настолько жо! И не таково жо количества. А с деньгами ноне што? Ведь саму настояшшу кашу в торговом деле учинили! — Данила сплюнул с досады себе под ноги и молча растёр плевков валенком. — Вот как, скажи

на милость, ноне торговать? — загорячился он. — Раньше как было: продал своё, вырубку получил, пошёл и на ие чево хошь себе купил. А нонь? Ведь нонича и в руки-то боисся деньги взять! Особливо кредитки. Пока берёшь их — вроде деньги, а покуда до лавки-то дойдёшь — они уж, тово и гляди, ополовинились! Выходит, што только мена на мену и можно, а попробуй-ко наменьяй на свой товар тово, чево тебе надо? Корову, например, али на корову...»

«С лошадьми опять жо незадача, — вступил в разговор седобородый в полушубке. — Сколь их нонича на фронте-то побило? Сказывают, конфузия приключилась с войсками-то нашими!.. Шибко, говорят, германцы их побили будто бы там где-то в Пруссии, или как ие там. Я сам-от не знаю таково места, а по базару-то походишь, дак везде только про это и судачат. Знать, уж и вправду, што побили».

«Вот и деньги с той поры смешались! — вклинился «лисий треух». — Мы сперва-то в деньгах сумятицу приметили, а после-то учули уж, што наших-то побили».

«Дак вот я всё про лошадей и сумлеваюсь, — не успокаивался седобородый. — Раз уж там людей побило, то и лошадей тожо — оне на войне завсегда рядом. Ну, людей, понятно, наберут ишо, а лошадей? Лошадиный-то урон ведь тожо надо восполнять! И вот чево топерь нам делать? Мне надо бы коня менять — старый уж — и ну как деньги в его вбухашь, а отоберут?»

«Ково отоберут? — не утерпел всё время молчавший Федька. — Коня, што ли?»

«Ну, ясное дело — коня! Не бабу жо!»

Грохнуло мужское собрание дружным хохотом...

«Тут ещё людишки какие-то по рынку шастают, — ломающимся баском проговорил коренастый подросток, сидящий под рукой у Данилы, — слухи всякие про государя распускают, что ведёт, мол, он государство к кончине или, как ие там по-городскому-то, к... к катанстрофе к этой. Мол, управлять не умеет, армия разбита — скидывать ево надо!»

«Ух ты! — изумился Захар. — Ниужоли прямо вот так и говорят, што скидывать?»

«Прямо так и говорят! — уверенно подтвердил подросток. — Вот те крест, дядинька!» — и подросток перекрестился...

Долго ещё мусолили и перекатывали мужики промеж собой, и кто его знает, сколько бы ещё толкли они в словесной ступе житейские и государственные проблемы, да пошло вдруг по рынку какое-то шевеление, и, присмотревшись, увидели Захар с Федькой, как вёртко пробираются меж людей к возам туковские пацаны.

«Дядя Захар! Дядя Захар! — наперебой загалдели они, увидев Власова. — Там за зерно цену дали!.. Татя нас послал скоряя известить тебя про это».

«Федька! — вскочил с места Захар. — Ну-ко за има! Прознай там што к чему, да и назад живо. А я к возам».

«Захар... — поднялся и Данила, — как тя по батюшке-то?»

«Петрович».

«Не суетись, Захар Петрович, — спокойно добавил Данила и положил на плечо Власова свою тяжёлую руку. — Наша взяла! Сдались, видать, обозники, терпленье лопнуло».

«И што с тово?»

«А то, што всё зерно, считай што, тут. У нас. Оне ишо напоследок шум подняли, штобы людей помучать, а много-то оне по рынку не возьмут, всё равно к нам придут. Так што не суетись, Захар Петрович, и обожди. Топерь уж дело сделано. Осталось деньги получить да поскоряя их истратить. В деньгах ноне ничево нельзя хранить. Хоть в какой-нибудь да товар всё надо оборачивать. Окромя золотых разве што».

Данила оказался прав. Не прошло и часа, как к стоянке вятских мужиков подъехало сразу несколько пустых саней, и какой-то горластый спросил, есть ли у них зерно. Ясное дело, что спросил для профуры — давно уж знал, что есть, и цену знал — но марку-то надо же держать. Без лишних разговоров сошлись в цене, и закипела работа. Один за другим отъезжали тяжело гружёные возы с хлебом, а на их место всё подъезжали и подъезжали порожние.

«Гли-ко, гли-ко, татя», — горячо зашептал вдруг Федька, когда очередь дошла и до ихнего зерна, — обозники-то те жо!»

«Какие те жо?» — не понял отец.

«Ну, которы на той-то неделе у нас на погосте были и зерно скупить хотели».

«Да болись с има и с обозниками-то!.. Давай таскай, покудова берут».

Но взяли всё: и у вятских всё подчистую, и уйдомцы весь зерновой привоз продали, и все другие, кто с зерном был...

Глава одиннадцатая

– 1 –

Степанида порхалась по хозяйству, Лукерья возилась со своим сынишкой, Пантя с Тишкой где-то дрались на повети, когда в дверь избы тихонько постучали, и на пороге появился мужик.

«Здорово живут, православные!» — проговорил вошедший, и все власовские женщины мгновенно признали в нём Васю Антипова.

«Здравствуй, здравствуй, Василий! — за всех приветливо ответила хозяйка. — Проходи да хвастай!»

«Да мне, Степанида Макаровна, шибко-то и хвастать нечем... Дело у меня к дочери твоей старшей, коль дозволишь», — немного смущаясь, проговорил Антипов и повернул голову в сторону Лукерьи.

«Ну, дак вот она — дочь моя! Коль никакой утайки нет, дак тут и говорите»...

«А нужда у меня сугубо хозяйская. Пообносились мы шибко все, а робята дак и повыросли из своих одёжек. Надо бы пообновиться, а вот как?»

В избе повисло неловкое молчание. Все разом вспомнили жену Антипова — рукодельницу и мастерицу по портновской части, которая во многом помогала мужу, зарабатывая на шитье. Со всей Уйдомы, бывало, к ней ходили обновы заказывать. Видя такое дело, Василий и на машинку швейную разорился для своей хозяйки, и у той уж совсем дело хорошо пошло. Таких машинок и было-то всего две во всей Уйдоме: одна у Антиповых, а другая вот у Лукерьи. И антиповская теперь осиротела, как овдовел и сам хозяин.

«Дак ты, што ли, Василий, мне обнову заказать шить ладишь?» — догадалась Лукерья.

«Да не-е-е, Лукерья Захаровна. Моя думка проще и в то же время трудняя... Манька моя шибко охоту к шитью имеет. И к машине тянется уж давно, да боится. Матка-то, покоенка, шибко уж ие строжила и к машине близко не давала подходить, штобы чево не изломать. Думала-то всё, што подростёт, дак и товды уж, а вышло-то, вишь, вона как... И вот топерь бы и машинка есть в дому, да и охотник есть на ней пошить, а подойти боится Манька моя к материнной машине. Штобы чево бы не изломалось, боится... Дак вот я, Лукерьюшка, к тебе и надумал сходить со своей просьбой. Ты не пособишь ли моей девке на машине-то научиться?.. Ты только, Лукерьюшка, на меня не попевай. Нужда нонь шибко припёрла...» — Вася уронил голову к коленям и замолчал. Разлилась по избе тишина, лишь изредка прерываемая причмокиваниями Лукерьиного малыша.

«Поди, доченька! — первой опомнилась Степанида. — Надо пособить человеку».

«А Шурка-то как жо?» — всполошилась Лукерья.

«А за Шуркой мы посмотрим, — успокоила её мать. — Нас тут людно, да и парню скоро год уж. Ты покорми его попуще и поди».

– 2 –

Дорога домой складывалась и быстрее, и глаже. Истратив остаток дня на покупки, Власовы уклались рано, чтобы утром выехать затемно. Остальные уйдомские мужики ещё оставались прикупить товару, и Захару с Федькой предстояло возвращаться в одиночку. Но это не страшило их; порожняком домой добираться всегда легче. Выехали, как задумали. Утро выпало ясное, морозило не шибко, дорога наезжена, а Лысуха, понимая, очевидно, что едут домой, мало где и шагом-то шла. Всё больше трусила полегоньку.

Ночевали на старом месте и на другой день думали уж и до дому добраться, а до Завидова-то в любом случае, но простояла тихая погода только до полудня. После заморочило, задуло, а ближе к вечеру и вовсе понесло снег. Да густо, липко, как перед потайкой. Враз исчез торной накат; на ветру перемело, в заветерье навалило свежего снегу, и кобыла встала. Не совсем, конечно, идти-то она продолжала, хоть и шагом, но ноги её всё глубже и глубже увязали в рыхлом снегу. Дорога скрылась из глаз. Она угадывалась, конечно, и по вешкам, выставленным кое-где, и по некоторым другим признакам, но начало темнеть, и густой снегопад не давал возможности всё хорошо рассмотреть.

«Худо, Федька, — заключил Захар. — И ехать ишо далёко, даже до погоста, и кобыле в тягость. Как бы не уходить животину. Ты вот што, бежи-кося вперёд да попровай хоть на версту, што дале деется, а мы тут отдохнём с кобылой той порой, — сын вскочил с саней и, ни слова не говоря, шагнул вперёд. — Бадог возьми! — крикнул ему вслед Захар. — Шибко заметёт, дак хоть потычешь где под ноги, а то не найдёшь ведь и дороги-то».

«Ладно!» — отозвался сын, удаляясь...

Захар вытащил с воза попону и укрыл ею кобылу от ветра. Животное тяжело дышало, утомлённое трудной дорогой, и хозяин с ещё большей опаской поглядел на её полнеющие бока. «Господи всемогущий, не погуби! — истово прошептал он про себя. — Пощади животину, не дай в трагу, молю тебя!» Он сложил руки ладонями друг к другу и, задрвав кверху голову, поднёс их к заснеженной бороде. Постоял так некоторое время, прислушиваясь к частому дыханию лошади, и полез за сеном.

«Лысуха! Лысуха ты моя! — ласково поглаживая помощницу по голове и шее, протянул ей охапочку прямо с рук. — На, подкрепишься, — благодарное животное потянулось к корму и, оттопырив верхнюю губу, захватило порядочный пук. — Ешь, Лысуха, ешь! — ласково приговаривал хозяин. — Умаялась, поди, родимая, подкрепишься хоть маленько».

Прошло с полчаса, прежде чем со стороны ушедшего вперёд Федыки послышались звуки шагов, и вслед за ними из снежной кутерьмы появился сын.

«Худо, татя! — объявил он отцу. — Шибко всё замело и вода на дороге».

«Вода?!» — изумился Захар.

«Да, вода! — подтвердил Федыка. — Видно, ручей где какой перехватило до дна, вся вода верхом — вот и залило».

«Замёрзло?»

«Нет ишо. Катанчи вот только промочил, куда разобрал... Там в угор-от уворотка с луга есть, — продолжал Федыка, — отселе с полверсты — можот, поворотим?»

«Поворотим, Федыка, поворотим! Выходу у нас с тобой никакovo нету: кобыле тяжело, да и ты ноги промочил. Давай вперёд, показывай. Коли уворотка есть, дак всяко недалёко до жилья».

Они ходко двинулись дальше, и скоро Федыка, идущий впереди, громко закричал:

«Воде вот, татя! Я по леву руку бадог воткнул, поворачивай. Этта недавно ехал кто-то, следы ишо видко».

Захар потянул повод, и путники свернули со знакомой дороги в угор. Он был отлогий в начале, но всё равно ощущался и с каждым шагом забирал всё круче. Федыка подхватил оставленный бадог и всё время шёл впереди кобылы, тыкая себе под ноги в поисках еле уловимой дороги. Лысуха тяжело тащилась следом, а сбоку от неё, то и дело оседая по колено, семенял Захар.

«Дядинька! — вдруг долетел до слуха пронзительный детский крик. — Дядиньки! — вывалилась к ним из сумерек навзрыд плачущая худенькая фигурка. — Дядиньки, скоряя! Дядиньки, скоряя помогите, Христа ради!» — и с трудом переставляя ноги по рыхлому снегу, мальчонка засеменял обратно в угор.

Федыка молча подхватился за ним следом, и, тяжело дыша, оба стали подниматься вверх. Подъём становился всё более косогористым и крутым. Санний след еле угадывался на занесённой дороге, снег залеплял глаза, и в густеющих сумерках Федыка чуть не налетел на воз сена. Дорога в этом месте резко поворачивала вправо и сразу круто забирала вверх на небольшую гривку в подъёме. В повороте-то и лежал на боку перевёрнутый воз, и сразу за ним Федыка разглядел бьющуюся в оглоблях лошадь. Животное пыталось подняться на ноги, но всякий раз потревоженный такой попыткой воз сползал по косогору вниз и тянул за собой лошадь, вновь и вновь заваливая её на снег.

«Дядинька! — опять пронзительно закричал подросток, позвавший на помощь. — Дядинька, скоряя! Скоряя!!»

Федыка подскочил к упряжи в надежде дотянуться до супони и распустил хомут, но обезумевшая от страха лошадь отчаянно билась, безуспешно пытаясь встать, и подойти к ней, без риска получить копытом, было невозможно.

«Дядинька-а-а-а!! — в отчаянном крике зашёлся подросток, заметив, как тяжело захрипела придушенная упряжью четвероногая помощница. — Она жо уходитча!»

«Та-а-атя-я-а-а!! — поняв это, что есть мочи заорал и Федыка. — Ташшы скоряя топор!» — и побежал навстречу своему возу. А от него уже торопливо семенял Захар с необходимым инструментом в руках, тяжело дыша и проваливаясь в рыхлый снег.

«Што там, Федыка?» — с тревогой в голосе спросил он.

«Лошадь задыхается в хомуте! — выкрикнул разгорячённый Федыка, выхватывая из рук отца топор. — Рубить надо!» — и резко развернулся в угор.

«Окуратней, Федынка! — с неожиданной лаской в голосе выдохнул не поспевающий за ним отец. — Смотри, не обсекись».

Федыка в несколько скачков одолел пространство до перевёрнутого воза и подбежал к голове лежавшей на боку лошади. Она по-прежнему тяжело хрипела и из последних сил старалась вырваться из удушающих её объятий упряжи. Федыка успел разглядеть в сумерках её огромный, почему-то бельмастый глаз и вдруг услышал почти предсмертный, сдавленный хомутом звук, похожий на ржание. Подгоняемый им, он подскочил ближе к оглоблям и замахнулся топором.

«Дядинька!! — уже не крик даже, а больше визг плачущего непрерывно подростка пронзил снежную круговерть. — Дядинька, не надо!! Не надо, дядинька!» — и худенькая фигурка бросилась к Федыке в попытке остановить занесённый над лошадьё топор.

«Уйди! — резко оттолкнул Федыка подростка. — Зашибёт ведь, не уворотится!» — и снова замахнулся топором.

«И-и-и-и-и! — истошный визг упавшего мальчонки пронзил уши, изо всех сил забилась в агонии умирающая лошадь, и Федыка еле увернулся от её копыт.

«Не промахнись, Феденька!» — чуть не шёпотом успел проговорить появившийся рядом с возом Захар Петрович, и Федыка резко опустил топор. Прямо на гуж!

Удар получился сильным и очень точным. Толстый гуж разлетелся надвое, будто нитка, и освобождённая от него дуга мгновенно выстрелилась в сторону, освободив и второй гуж. Обе оглобли упали на землю, ослабив упряжь, и вспугнутая ими лошадь в последнем отчаянном рывке попыталась вскочить на ноги.

«Руби и потяг, Федыка!» — крикнул Захар, заметив, как вместе с лошадьёю задираются и оглобли, связываемые с ней чересседельником и потягом.

Но Федыка не успел. Сильно потревоженный задираемыми оглоблями воз перевернулся вместе с саними и снова завалил уже почти вставшую на ноги лошадь. Та упала, снова в страхе забилась на снегу, снова завизжал в истерике и ужасе подросток, и Федыка, подгоняемый его визгом, заметался вокруг коня, еле увёртываясь от его копыт. Наконец, ему удалось-таки забежать со спины, и, выбрав момент, он нанёс второй точный удар топором, перерубив и потяг. Больше лошадь в упряжи не удерживало ничего. Она тут же перевернулась через спину, оказавшись ногами под гору, и хоть не без труда, но поднялась со снега. Федыка попытался подойти к ней, но разгорячённое предсмертной схваткой с удавкой животное шарахалось от него, вздрагивало всем телом и не подпускало.

«Синюшко! — опомнился, наконец, плачущий подросток и бросился к спасённому четвероногому помощнику. Запутался в полах длинного пальто, упал, подбегая, ещё раз напугав коня, но своего добился. — Синюшко! — снова плачущим голосом проговорил он и взялся за свисающие от узды вожжи. Конь снова испуганно вздрогнул, попытался отпрянуть, но свободная рука подростка уже потянулась к лошадиной голове и ласково, успокаивающе погладила её. — Синюшко! — уже более спокойно, почти всхлипывая, продолжал подросток и гладил коня по голове. Тот ещё дичился, ещё всхрапывал, но, почуяв знакомую мягкую ладошку, мало-помалу стал успокаиваться. Немного погодя он позволил подойти к себе и Федыке, а почуяв сильную мужскую руку, сразу притих. Федыка отцепил от узды вожжи и потянул лошадь за собой.

«Пойдём, Синюшко, — позвал он, и конь повиновался. Они выбрались на дорогу и первым делом отряхнулись от налипшего на их одежду снега. — Как же тебя угораздило-то?» — охлапывая себя и подростка, спросил его Федыка.

«Да как, как, — начал тот, — на взлобок стали забирать, Синько и подкатился. Сани взадь торнуло и опружило — вот и всё».

«А подкатился-то пошто? Тут ведь и катко-то не шибко».

«Пошто, пошто, — с некоторым раздражением ответил подросток, — некованный потому што — вот пошто!»

«Да ты што?! — ахнул Федыка. — Да как же ты на некованом коне да в эдаки угоры?! А ну как бы не мы — ведь уходил бы животину-то!»

«А куды нам деваться-то?! — уже с открытым вызовом визгливо выкрикнул подросток. — Татю на войну угонили, кузнеца тожо, а он у нас один и был на всю округу! Чево нам делать-то? Мати болеет, Мишка малинкой, Егорко не можот, а корова-то рычит! Сена-то нету!»

«Ты погоди, погоди, — успокаивающе проговорил Федыка, — звать-то тебя как?»

«Как, как, — всё ещё не придя в себя, возбуждённо проговорил подросток, — Густей меня звать — вот как!»

«Дак ты — девка?!» — воскликнул изумлённый Федыка.

«А то хто жо?! — тем же тоном отозвалась Густя. — Неуж не видко?»

«Час от часу не легче! Только мне и оставалось, што разглядывать тебя! Эдак лепит, лошадь бьетча, да ведь и ты не в становине! — последние слова он произнёс уже с улыбочкой, здорово разрядившей общее напряжение, и даже Густю повёрг этим в некоторое смущение. — Годов-то тебе много ли?»

«Годов-то? А вот тринадцать будет на Рождество».

«Тринадцать! — охнул Федыка, приседая. — Ох и велик возщик! Я-то думал, хоть годов пятнадцать, глядя на тебя. Уж шибко долгой показалась в суматохе-то».

«Пальтуха долга-то, а не я, — не согласилась Густя. — Братова потому што пальтуха-то. Я не хотела одевать, да мама настояла. Всё боялась, што замёрзну».

«А сам-от брат пошто не поехал? Старший ведь, небось?»

«Он ногу сломил! Уж целый мисич по избе еле ходит», — пояснила Густя.

«А визжала-то пошто?»

«Испужалась я шибко, што ты коня нашово зарубить хошь, вот и завизжала!»

«Ха-ха-ха-ха! — расхохотался Федька. — Нешто я дурак — коня-то рубить, ежели ево от удавок вызволять надо».

«Откуль мне это знать?! — всё так же возмущённо воскликнула Густя. — Топором-то эвон как замахнулся. Голову-то, поди, на раз бы снёс! У нас козлёночек оногды испужался чеве-то и забегал шибко вкруг кола. Бежать хотел-то, видно, да куды сбежишь, коли навязан — он и захрипел на верёвке-то. Наземь-то пал да, это, ножками-то скёт да скёт, как Синько вот серводня, и не блеет уж, а только хрипит. Мати моя прибежала на мой-от крик да голову ему на раз и отсадила первым делом! Косой. Она косила недалёко и учула, как я завизжала, вот и отсадила! После уж подумала-то, што надо бы верёвку отсадить-то, а козлёночек уж мёртвой! Головушка-то евонная отрублена, и кровь уж выбежала. Знаёшь, как ево товды мне жалко было, козлёночка-то?! Не знаёшь, поди, а он всё так перед глазами и стоит, и крик евонный в ушах так и хрипит! Тебе, поди-ко, всё равно, што я тут говрю, — вам, мужикам, никово не жалко — а по мне дак што козлёночек, што конь — всех мертво жалко».

«Ну, уж так-таки и не жалко, — не согласился Федька, — што я, не живой, што ли? Стал бы я коня твоево спасать, как бы не жалко ево было? Да ишо и от копыт евонных увёртываться», — но на возбуждённую Густю его доводы явно не действовали. Она всё ещё остро переживала перенесённое потрясение, и тему в разговоре явно надо было менять.

«Ну, а живите-то вы далёко ли?» — вступил в разговор Захар.

«Не, — ответила девчушка. — Как на взлобок-то подымисся, дак версты с две отсель, а то и тех не будет. Как только топеря подняться-то?» — Густя поглядела на запрокинутый вверх санями воз и горестно опустила голову. Рядом всё ещё беспокойно переступал с ноги на ногу Синько, неподалёку пофыркивала Лысуха, и всё так же неистово продолжал валить снег.

«Вот што, Федька, — подытожил молчание Захар. — Покудова совсем не замело, давай-ко мы с тобой опружим воз-от на сани. А после уж подумаем всема, што дальше делать. Поишшы кола каково-нибудь — всё ловчая будет».

Мужики засуетились возле опрокинутого воза, и спустя некоторое время он благополучно был восстановлен в правильном положении. Хоть и не на дороге.

«Ой, дай вам Бог здоровья, дядиньки! — увидев всё это, радостно всплеснула руками Густя. — Мне бы тут одной-то ничево не выпетать, а уж топерь-то как-нибудь стаскаем хоть на маленьких саночках».

«А на маленьких-то пошто? — любопытствовал Федька. — Воз-от на санях, запрягай да и вези».

«Во што запрягать-то? — опять с возбуждением выговорила Густя. — Тати дома нету, мужиков нету — хто хомут-от ладить будет?»

Федька с отцом переглянулись при этих словах, и Захар проговорил :

«Ты вот што, девка; в дому-то у вас не шибко ли тесно?»

«Не шибко, дядинька! Не шибко! — начиная понимать, к чему клонит Захар, обрадованно ответила девушка. — Татя с дедушком новый пятистенок третьего года как дорубили. Дедушку сейгод схоронили, голбец пустой и полати тожо. Да и в горенке топеря одна мати. Поидемте к нам, дядиньки, заночуйте у нас. Я мамке всё-всё-всё про вас расскажу, как вы меня выручили, и она не откажет — я ие знаю».

«Поехали! — решительно произнёс Захар. — Ты, Густя, в наши сани садись, а ты Федька, ейново коня за вожжи к нашому возу прихвати и поедём».

— 3 —

Только на исходе второго дня после обильного снегопада власовский дом взорвался радостными криками Панти с Тишкой:

«Татя приехал! Татя с дедушком воротились!»

На их крики отозвались и власовские женщины. Захлопали двери в отставной избе, куда семья недавно перебралась на зиму, и одна за другой во двор вышли и Степанида, и Настенька, и Лукерья, да и Анисья, погодившаяся тут же, а ещё раньше радостной пулей вылетела Тишко-Пантина сестрёнка:

«И-и-и-и-и!» — и полетела в морозном воздухе диковинной птахой, раскинув руки-крылья навстречу татиным ладоням, не замечая ничего вокруг. Федька еле успел распахнуть руки да изловить свою старшенькую на подлёте.

«Татюшка!» — только и выдохнула та, обвинив ручонками отцовскую шею.

«Дедушко!» — чуть позднее прижалась и к Захаровым коленям, чистой теплотой обдав загубелое уж сердце.

«Ну, ну, ну!» — ласково погладил тот внучку по голове.

А Пантя с Тишкой уж подпрыгивали нетерпеливыми галчатами подде отца, дожидаясь гостинцев, а власовские женщины уж подходили, улыбаясь, к своим хозяевам. Немного впереди всех шла Степанида, а уж за ней дочери да невестка, но Настенька не выдержала этой церемонной тяготины, обгонила напоследок свекровь уж у самого воза, да и прижалась, чуть ли не как дочурка минутой раньше, своей головой к Федькиной груди! Прижалась да и замерла... Федька и оторопел!

Уж сколько времени прошло после похорон малыша, и всю эту пору жена его ходила по избе и по улице, как привидение. И не улыбалась, и не плакала, и никаких прочих чувств не выказывала — будто умерла вовсе. Федька уж даже по привычке, насколько можно, к этому. Мучался, конечно, как мучаются мужики, когда баба на сносях, но терпел, понимая женино состояние. А тут — нате вам! Как угольем раскалённым голова-то Настенькина на груди! Глаз-от опустил, а на устах-то её улыбка. Тихая такая, почти незаметная, как огонёк на горячих головёшках, а играет и греет ещё пуще. Рука Федькина сама собой на голову Настеньки опустилась, другая плечо, не заметил, как прикрыла, да так это крепенько прижала, что даже ойкнула Настенька от столь горячего проявления мужниных чувств.

«Чего-то вы долгонько нынче? — расспрашивала меж тем Степанида своего мужа. — Завчерась ишо ждали, а вечер-то уж непременно бы».

«Застрали мы в дороге маленько», — коротко бросил Захар, распрягая лошадь.

«Сдилось чего, што ли?» — любопытствовала Степанида, нет-нет, да и косясь на сына с невесткой.

«Замело шибко по подгорью-то, — пояснял Захар, — отёмнали, да и ноги Федька промочил».

«Ночевали, што ли, где?»

«Как ни ночевали! — буркнул Захар. — Не в чистом жо поле пересиживать! Да и кобыла жерёба».

Степанида умолкла, видя, что хозяин занят лошадьёю, не шибко расположен к разговору, и переметнулась на сына. А тот уж к той поре и взглядами с Настенькой обменялся, и улыбками радостными. «Оттаяла, слава тебе Господи!» — подумал и полез заранее приготовленный куль с гостинцами. Малышня-то ждёт.

Панте с Тишкой тут же досталось по прянику, а Дашутке леденец — она их больше обожала, — ну а уж дальше платок большой цветастый на Настенькины плечи мужниным подарком лёг. Та и засветилась опять той же тихой радостной улыбкой и прижалась снова к Федькиной груди, уж и обняв, не стесняясь, мужа за шею, да и замерев так-то дольше обычного. Хоть на маленько, но подольше. А малышня уж загалдела вновь наперебой, надкусив гостинцы, задвигалось снова всё во дворе, меняясь местами, и уж и другим женщинам власовского дома подарки от мужчин легли и на руки, и на плечи. То-то всем весело стало! То-то радостно душе. И мужчины воротились живы да здоровы, и поторговали, судя по подаркам, с хорошим прибутком, и, самое главное, улыбаются все друг дружке.

«Ты севодня в зимну-то избу на ночь не налажайся, — украдкой шепнула Степанида своей невестке. — Я сичас печь-то затоплю в переду — живо нагреется. Туда и подите с Федькой...»

Настенька зарделась в ответ радостно-смущённой улыбкой и, чтобы спрятать её ото всех, уткнула счастливое лицо в плечо свекрови. Молча уткнула, с благодарностью. Та и засуетилась за дровами.

«Ты куда это?» — громко поинтересовался Захар, заметив, что жена вместо избы направляется куда-то за угол.

«Куда, куда... — ворчливо отозвалась та, — куда надо куда. Вы подите в избу да разболакайтесь там, а я сичас», — она исчезла за углом дома, и Захар, хоть ничего не поняв, всё же почувал в действиях жены что-то важное и внял просьбе.

«Ну, пошли все в избу!» — громко объявил он домочадцам и, широко разведя руки в стороны, загрёб ими морозный воздух.

Всё опять зашевелилось, двинулось в одну сторону, и скоро все Власовы исчезли за дверью своего жилья. Окромя хозяина. Поручив женщин и детей сыну, сам он остался ещё выкатать и застать свою кормилицу — Лысуху. В эту-то пору и вывалилась из-за угла Степанида с охапкой дров.

«Ты чего это? — воскликнул удивлённый Захар. — В избе, што ли, студено?»

«Студено, да не в избе!» — отпарировала та.

«А где ишо?»

«В переду — вот где!»

«На кой те болись перед-от топить? — вздыбился Захар. — Да на ночь глядя?! Дрова только жогчи!»

«Ты кой, на кой... — неожиданно рьяно ошетибилась вдруг Степанида, — ты што, уж овсё остарел али не видишь нечево?... Ты на Настеньку-то посмотри, хрен старый!»

Как она нынче к Федыке-то прильнула. Аль не видел?»

«Да запримитил я...» — виновато-растерянно развёл руками Захар.

«А коли запримитил, дак чево спрашивашь? Отошла, слава Богу, девка-то, а то ведь уж страх братъ начал — совсем как старая старуха сделалась».

«Выстыло, поди-ко, в переду-то?» — забеспокоился уж и Захар, догадавшись, к чему ведёт дело жена.

«Выстыло, да не шибко, — ответила Степанида. — Стены не закурживели — живо натопитча, вечер-от долог».

Весь вечер царило во власяном доме радостное возбуждение. Расспросы, рассказы, восторги, удивление, ахи да охи то и дело сотрясали воздух, перекачивались по пространству избы, заставляя живо реагировать на них всех собравшихся. Сгруженные в один угол прялки сиротливо-недоумённо растопырились во все стороны куделей, безмолвно наблюдая за столь необычным поведением хозяек. Одна только Настенька так и пробыла весь вечер с тихой улыбкой на лице. Не шибко восторгаясь, не шибко удивляясь, вся в томительно-таинственном ожидании, как девка на выданье! Да Федыка, как застоялый жеребец, то в лёд, то в пламень всем сердцем без остатка. Он уже давно понял, чем занята его мать, нет-нет, да и исчезающая из семейного круга попроведать печь, почувствовал всей душой перемену в состоянии и настроении жены и пребывал теперь в радостно-нетерпеливом возбуждении.

Наконец, поток расспросов и рассказов стал иссякать, движения стали становиться лениво-вялыми, допит пузатый певун-самовар. Первыми запозевала и поползла на полати малышня, следом засобирались на свои подворья Лукерья с Анисьей.

«Вы-то куда в такую темень?» — всплеснула руками Степанида.

«Ну, какая-то темень! — чуть не хором запротестовали дочери. — От снегу бело, да и месячно — тово часу дойдём».

«Ну, Бог с вами, — не стала уговаривать их мать. Все задвигались, засобирались кто куда, дочери стали прощаться. — Ну, давай подите с Богом!» — выйдя на улицу, напутствовала их Степанида. Обе дочери скоро исчезли за углом соседского дома...

Из избы вышагнул Федыка и молча ступил мимо. Мать не стала ничего у него спрашивать, видать, почуяла, что надо это ему — выбежать вот так вот на мороз в одной рубашке — и повернула ко входу в избу. Настенька стояла у курживелого окошка, повернувшись спиной ко входу и словно бы пытаясь взглянуть через заиндевелое стекло в морозный вечер, чтобы рассмотреть, увидеть там чего-то важное, неуловимое, но только снежные кружева да наледь были на околентке, и ничего нельзя было через неё заметить.

«Пойди в перед-от, Настенька! — горячей скороговоркой зашептала чуть не в ухо её подошедшая сзади Степанида. — Печка уж протопилась и уголья живого нету — не угорите. Пойдите, робя, с Богом, Федыка уж там где-то, на улку выскочил».

Настенька постояла в прежней позе несколько мгновений, будто и не слыша слов свекрови, потом повернулась круто на одном месте и опять лицо своё зардевшееся в плечо свекрови.

«Спасибо, мама!» — и руками её за шею да за плечи.

«Пойди давай, поди с Богом! — растроганно продолжала шептать та. — Федыка-то, поди-ко, ждёт уж на мосту где».

Невестка отстранилась, благодарно опустив голову, и молча пошла к выходу.

На мосту было темно и тихо. Настенька остановилась, отойдя от двери на несколько шагов, и прислушалась. Гулко колотилось в груди растревоженное сердце, да глухо возилась во дворе корова, укладываясь на ночь.

«Федя!» — негромко произнесла Настенька, и в ту же секунду откуда-то из темноты раздался тихий голос мужа:

«Я!»

Настенька повернулась в ту сторону и замерла. Скрипнула половица под осторожными шагами, и в следующее мгновение женщина почувствовала на своих плечах горячие мужские ладони. Она зажмурилась не то от испуга, не то от неожиданности и невольно запрокинула голову назад.

«Настенька!» — жарким шёпотом опалило лицо, и в ту же секунду с ещё большим жаром впились страстные мужские губы в её ждущие пылающие уста. Она слабо ойкнула в спеленавших её могучих объятиях и лёгкой пушинкой взлетела в воздух на сильных мужниных руках.

«Феденька! — выдохнула в сладкой истоме, а тёплые руки её нежно обвили шею мужа, и голова прижалась к его плечу. — Милый мой, милый мой... милый... милый...» — тихо, только ему слышимым шёпотом повторяла и повторяла Настенька, пока муж осторожно и бережно нёс её по мосту до самой двери в переднюю избу, словно самый драгоценный сосуд.

Всё, как десять с лишком лет назад! Всё, как в самый первый раз!..

— 4 —

Захар провозился где-то долго. Степанида уж давно улеглась и несколько раз беспокойно перевернулась с боку на бок, а мужа всё не было. Наконец, он заявился и, маленько потоптавшись по избе, укатился рядом. Было тихо. Над головой посапывала на полатах малышня, а Степанида всё никак не могла уснуть.

«Чево ворочаешься?» — поинтересовался вдруг Захар. Он тоже, видать, не спал и тоже о чём-то своём думал.

«Да беспокоино мне чево-то, — помеддив маленько, отозвалась жена. — Как-то оне там?»

«Нашла, о чём беспокоиться. Четвёртый десяток мужику, робят уж троё — не маляньки!»

«Да ведь жалко жо... Вона ведь как маялись и тот и другой в последнё-то время. Разе это дело — в эки-то годы да эдак маяться? Эдак-то и рехнуться ведь недолго! — Захар промолчал, не найдя, чего возразить, и Степанида продолжала: — За Лукерью тожо забота берёт...»

«А за эту-то чево?»

«А Вася Антипов тут без вас к нам захаживал...»

«И чево?» — насторожился Захар.

«Да звал он к себе Лукерью — Маньку евонну поучить на машине шить».

«Тьфу ты, Господи прости, напужала! — воскликнул Захар. — Я уж думал чево другоё...»

«Да не... он ведь мужик степенной и всё чинно благородно попросил».

«Ходила?»

«Как не ходить — ходила».

«Получилось чево?»

«Да получилось, получилось, — как-то отстранённо проговорила Степанида. — Манька евонна — девка толковая, переняла скоро».

«Дак чево товды забота-то?»

«А то и забота, што мужик-от степенной», — как-то мечтательно-убеждённо произнесла Степанида.

«Чево-чево?» — насторожился Захар.

«А тово, што пропадает без толку! — почти бросила ему жена. — И Лукерья наша тожо...»

«Ты о чём думаешь-то? — вздыбился Захар. — Баба, можно сказать, только што мужика лишилась, а ты про што?»

«Да про живое я, про живое, — как-то очень уж непокладисто возразила кроткая обычно Степанида. — Мёртвым — память вечная, а живым — живое. А бабе — это перво дело — хозяин в дому. Куды без мужика-то в эки годы? Весь век ишо впереди, и человечий, и бабий», — Степанида заговорила уж совсем сердито, нисколько не стараясь скрыть своей сердитости от мужа, тем самым выказывая ему всю силу своей убеждённости и правоты в возникшем споре.

«Да ты што, баба, овсё рехнулась? — закипятился уж и Захар. — Степенный мужик... Этому степенному годов-то сколько?»

«Сколько, сколько, — раздражённо отозвалась жена, — ну, сорок...»

«А Лукерье нашой?»

«Што ты за года-то взялся? Ты бы видел, как он на ие глядел, покудова у нас сидел?»

«Как это ишо глядел?» — растерялся вдруг Захар.

«Как, как... как мужик на бабу глядит, когда она ему любя? Али забыл уж?... Вот я и подумала уж после-то, што красовалась бы любая баба за таким-то мужиком, как евонна Овдотья-покоенка, пока жива была. Ведь душа в душу жили, эвон робят-то сколько народилось».

«Вот-вот, — подхватил, оживившись, Захар, — именно, што робят народилось. И ты што жо на эку кучу Лукерью нашу хошь сосватать?»

«Да ничево я не хочу! — сдалась вдруг Степанида. — Жалко мне только; и Васю жалко — мается мужик без толку, и Лукерью нашу тожо — в эки-то годы и одна. Где их топеря, мужиков-то, на всех баб набрать? Сколько уж побило-то их, горемычных, а ишо побьют сколько?..»

Она осеклась вдруг чуть не на полуслове, и оба разом вспомнили про своего младшего сына, мыкавшего где-то военное горе...

— 5 —

А в это самое время их младшенький, их последыш, которому достались все остатки нерастроченной ещё родительской нежности и любви, покуда рос он да мужал, лежал ничком без всякого движения на почти голом дощатом настиле, лишь слегка покрытом кое-где старым сеном и соломой. Всё тело его до последней клеточки ныло

от смертельной усталости после сделанной за день тяжёлой работы. По правую и по левую руку от него в таком же тяжёлом забытии лежали его соплеменники, собранные жестокой военной судьбиной в одно место и положение, имя которому плен, такие же уставшие и вымотанные изнурительным трудом.

С самого начала, как только Васька оказался в этом лагере, он понял: полежать или хотя бы посидеть без дела тут не дадут... Васька попал в бригаду, которая мостила дороги. Собственно, сами-то пленные дороги не мостили, работу эту делали пожилые германцы, негодные, видимо, к войне. Задача пленных русских была одна: доставить к месту работ камень. Лошадей не было — все, считай что, на войне — возить далеко, и даже молодых здоровых мужиков такая работа выматывала без остатка... А потом Васька попал на работу в кузню. И вот теперь лежал после работы на дощатом настиле и крепко спал. Уставший, недвижимый, но живой.

Глава тринадцатая

— 1 —

В демидовском доме, как в покойницкой. На подворье ни души: ни человеческой, ни скотской, ровно бы и нету никого в доме. На звезде, где вечный гвалт ребячий от потёмок до потёмок, снегу толсто — на санях не съедешь, а не то чтобы на маленьких саночках. И ни звука ни единого. Умер дом вместе с хозяином! И живой вроде бы, а как покойник, затих, до того осиротел. Не дай Господи — хозяина в доме до срока потерять!..

И как проводили Демидовы всей своей многочисленной роднёй Прохора Алексеича на церковный погост, как отголосили и отплакали по нём и в доме, и у могилы, так и не отошли с той поры. Девятый день прошёл — тишина, три недели минуло — ни звука на подворье, сороковус на подходе — а в избе всё то же... Даже скотина — и та, похоже, догадалась: нету больше в дому главного! Корова — та сперва трубила целыми днями, пока не схоронили Прохора Алексеича, а после хоть бы рогом в ясли стукнет! Лежит себе и ждёт, когда хозяйка про неё вспомнит.

Но тяжельше всех утрату отца Гришка переживал. Ведь все планы теперь порушились. Дом хотел строить, хозяйство своё завести, жениться, как все добрые люди... И во всех этих задумках отец — главный помощник и наставник...

Выручил дядюшка. Кой-то день пропетались они с Гришкой с сеном от потёмок до потёмок, отметили последний воз, присели отдохнуть, а дядюшка возьми да и без всяких присказок прямо в самую точку:

«Вот што, племянничек, я тебе скажу: маешься ты шибко, погляжу я, а это худо... Причину твоей маяты я знаю... Думаешь, всё топерь: батька нет, дак и все задумки порушились? Дак я тебе, парень, вот што скажу: батька нет, дак зато я остался. А мы из одново с им корня и в одном доме с тобой живём... Справимся и вдвоём, ежели ты от своих думок не отступисся»...

В тот же вечер не утерпела и мать. Уже когда все улеглись и малышня на полатах засопела, заметила Пелагея Антоновна, что Гришка ворочается без сна, и подошла к сыну с расспросами.

«Запримитила я, што давече вы с Олькой баяли про што-то, ты бы поговорил со мной, Гришенька, ведь и мне не мене твоево на сердце тягость...»

«Строиться я, мама, буду! — как окончательно решённое выдохнул сын самое своё главное и сокровенное. — Без этово никак мене нельзя... Дядюшка посулился пособить».

«Дак а на што жо тебе строительство-то, Гришенька? Ведь кабы у тебя дому не было. Кабы жить негде!»

«Не мой это дом, мама!»

«То есть как это не твой? — всплеснула руками мать. — Ты чево это ишо удумал?»

«Успокойся, мама, — погладил в темноте её ладони Гришка. — Родной это дом, гнездовище это моё родное — родня на севодняшний день нету, но не я ево строил, а ишо дедушко с татей, и потому ихно это, родительское».

«Дак никово уж нету, Гришенька! — заплакала Пелагея Антоновна. — Вот уж и отца твоево не стало, и я старею, чей жо он топеря — наш-от дом — коли не твой?»

«Алексанков! Он в нашем роду последыш, вам бы с татей вдвоём с им доживать, кабы не ека беда, значит, и дом Алексанков».

«Дак ведь это ковды ишо будет-то? — приводила новые резоны мать. — Алексанков-то 14 едва ишо сровнялось!»

«Ковды бы не стало, — упёрся на своём Гришка, — а мне иначе нельзя! Спокон веку так было, што все сыновья свои дома ставят, окромя последнего, а чем я хуже? Как я жить стану, мама, ежели в родительском дому останусь? Как семью заводить? Хозяйство? Сколь уж я над этим передумал, пока странствовал все эти годы! И решил

твёрдо: возвращаюсь, строюсь, женюсь и живу дома. Я и тате про то жо говрил, как воротился».

Гришка умолк и часто, взволнованно задышал. Молчала и мать какое-то время, не находя нужных доводов, потому что во всём сын был прав. Ведь только в редких случаях сыновья в Уйдоме в родительских домах оставались и то, по большей части, уважительных. Все старались своим хозяйством обзавестись. Родительское чтобы рядом под присмотром, но своё обязательно отдельно. И как поставился молодой парень своим строением — вот тебе и готовый жених! И никаких пустых слов, чтобы его обозначить, не надо. Вон он — дом-от — подходи и смотри всякий, кому интересно. Смотри и о хозяйне суди, о размахе его, с коим он на жизнь самостоятельную наладился.

«Так-то оно всё, Гришенька, так, — прервала молчание мать, — дак ведь только где жо лесу-то топерь нарубишь? В Заболотье не попасть — эдака погодушка мела — нарубленное пропало, всё надо сызнова».

«А в Заболотье-то нихто и не пехает!.. Лес-от и поближе можно взять. До Плотниково-то бору версты четыре всево. За день-то два раза можно обернуться, да и дров на диле заготовить. Татя сказывал, что там сосняк топеря в самый раз для рубки будет. Три бревна с лесины-то получится и сучья мало. Ежели бы всё благословесь, то до потайки-то и навозили бы»...

«Гриша, — проговорила мать каким-то по-особенному потеплевшим голосом. — Ты про жонитьбу-то помянул с приметой али как?»

«Никак пока, мама, — быстро ответил сын. — На ногах ишо не стою — какая жонитьба? Смехота одна, да и татю только схоронили. Вот построюсь, даст Бог, скоро да благополучно, товды и поговорим».

– 2 –

После разговора с мужем по его возвращении из Устюга попробовала Степанида Макаровна поговорить и с дочерью о её будущей жизни и завела разговор в нужную сторону. О Васе Антипове. Хоть и осторожно, но завела, и Лукерья, на уловки материны попавшись, не заметила, как себя и выдала. Сердцем мать успела почуять, что не ошиблась, что и дочери Вася Антипов глянется. Да и как бы такой мужик бабе не глянулся?! Ведь никакого же изъяну в нём не видно! Но только Степанида это почуять успела, как тут же дочь опомнилась и будто птаха вспугнутая в своё гнёздышко.

«А зачем ты, мама, меня про Васю спрашиваешь?» — блеснули настороженные глазки.

«Ну, ходишь ведь ты к им в гости — вот и спрашиваю», — уклончиво ответила Степанида.

«Я, мама, не в гости хожу туда, а по делу, — с укором напомнила Лукерья. — И ты сама меня туда попросила».

«Ну, ладно, ладно, — спохватилась мать, испугавшись, что хватила лишку. — Знаю, что по делу, и слава Богу, что дело сделать пособила, а только ведь натура наша бабья, сама знаешь, всё об одном да об одном, чево бы мы ни делали. Да и глянется мне Василий, вот и решила: дай-ко у тебя спрошу. Тебе-то как?»

«А чево мне? — всё так же настороженно отвечала дочь. — Всей деревне Вася-плотник известен. И худово слова про ево никто не скажет. И я не отличусь. А только я, мама, со Степаном жила, и родня ево для меня никово нету! И в душе моей он так и живёт, и не верю я, што ево убило. Сердце мне подсказывает: не похоронен он, не похоронен!» — губы её часто-часто задрожали, голос прервался, и из обеих глаз покапались по молодым щёчкам две крупные слезинки.

«Дитятко ты моё сердечное! — востропнула Степанида. — Што уж топеря делашь, раз такая доля досталась. Надо пересилить ие как-то. Мальчонка вон какой у вас славный...»

Поперхнулась на последнем слове, словно бы подтолкнув дочь, выбив из её души последние укрепляющие запоры, и разревелись в голос обе. Сперва Лукерья при словах о доле и мальчонке разрыдалась горько, а уж, глядя на неё, и Степанида не выдержала. Поплакали маленько, попричитали, души облегчили, платками да подолами утёрлись и хоть на маленький шажочек, а всё подале от своего горя да печали отодвинулись. Хоть самую малость, но слезой горячей раны душевные омыли и подлечили. Для них ведь — этих ран душевных — лучше-то лекарства ведь и нету, чем слёзы горькие...

– 3 –

В один из дней конца марта приехали на кошовке из уезда трое. С саней сошёл один и побрёл по дороге. И те, кто видел эту картину, поняли, что кошовка привезла солдата в длинной, почти до пят, шинели. Да не простого солдата, а на костылях. Он добрёл до заколоченного дома Отрохичей, остановился, глядя на забитые досками окошки, и горько заплакал...

Весть о том, что с войны вернулся Тимоха Отрохич, облетела всю Уйдому в тот же вечер. С самого раннего утра на другой день у заброшенного дома Отрохичей закрутился народ. Шибко не терпелось уйдомцам прознать — как она, война-то? Уж и в избу не стали помещаться все охотники до солдатских рассказов. Отрохич сидел в переднем углу. Самое первое, что спрашивали у него уйдомцы, это, конечно, был Георгиевский крест. Нацеплен был он у Тимохи на гимнастёрку в положенном месте и виден был всякому входящему прямо из-под порога. Отрохич сперва как-то тушевался — и отвечал нехотя да однословно. Атаковали, мол, стреляли, а ещё-то чего добавить, и не знает. А спрашивают же! А интересуются же: как да как, мол, дело было, не стесняйся, мол, в подробностях, Тимофей Антонович (за всю жизнь, поди-ко, не слышал Тимоха в свой адрес столько величаний, как в то утро)...

Потом Тимоху как-то разом осенило, и позорное своё бегство от артиллерийских позиций, где Степана убило, он себе во благо обернул... нате, мол, вам, коль шибко просили! И выходило тут уж по его рассказу, что назначен он был артиллерийскую позицию Степана Колесникова от германцев оборонять. Ну, это-то правда, был назначен, а дале-то? А дале выходило, что пехота германская на них со всех сторон полезла, и скоро всех убило из того охранения, а только он один остался. Он да Степан. Так вот он один по германцам-то и палил из винтовки. Чуть уж было не сказал, что ещё и из пулемёта, да как-то вовремя спохватился, что не знает, ни как его зарядить, ни куда жать, чтоб тот застрочил. А ну как да спросят? Что тогда сказать? А ведь есть мужики и служивые... Так вот остановился вовремя Тимоха при мысли о пулемёте-то и по германцам, по его словам, уж наголо из винтовки палил. И шибко метко! (Как Афоня Пряхин!) И залегли, дескать, германцы, а Степан, той порой, по ним из пушки. И тоже, значит, выходило, что один. Ну, про Степана-то оно и верно было; как всех-то перебило, он действительно один орудовал у пушки, пока его прямым попаданием не разорвало вместе с орудием. И выходило по рассказу Тимохи, что германцев они там со Степаном положили немеряно и позицию удерживали до тех пор, покуда наши не отошли. А уж как Степана-то убило, да и патроны кончились, тогда и Тимоха ко своим отполз. (Ну, совсем как Пряхин!)

«А пошто отполз-то?» — заспрашивали.

«Да по то, што уж осколок германский к той поре в ноге сидел! — нашёлся Тимоха. — Можот, от того жо снаряда, которым и Степана-то убило».

А уж как дополз — там в лазарет, а после, дескать, при всём честном народе генерал крест этот перед строем и вручил да руку пожал. И вот домой, мол, отправили...

Так-то под напором людским и присвоил себе Тимоха вместе с ранее уворованным крестом и чужую солдатскую историю. А уж как поведал-то всем землякам про такое своё якобы геройство да как наслушался восторженных ахов и восхищённых взглядов на себе наловился — ведь вот он, крест-от, настоящий, не жестянка какая-нибудь — так уж и возвысился Тимоха в собственных глазах, про голую правду позабыв, и в красном углу себя по праву почувствовал. В запал, видать, вошёл. Ну чистый Георгий-Победоносец! Только пошто-то побитый!..

Однако каждому охота про своих-то разузнать. И рассказал Тимоха про убитого Миколу-«Котёнка» и про других уйдомцев, про которых знал точно. И про тех, кто ранен, рассказал, даже про Палушу Майкова, когда спросили, поведал, что вместе в лазарете были... И в конце уж этого всеуйдомского сбора прибежала вдова Степана Колесникова Лукерья да прямо с порога со своим вопросом о Степане. А Тимоха уж устал и не пожалел бабу, рубанув словом напрямик: убило, мол, твоего Степана! «На моих глазах убило»... И добавил вдогонку, что разорвало, мол, снарядом. Всего в клочья разорвало — хоронить нечего!..

Повалилась Лукерья, как подкошенная дудка-детлёвка, во весь рост так и повалилась прямо на спину — еле подхватить успели уж у самого полу. Вынесли скорее чуть живую на крыльцо-то. А как пришла она в себя да на ноги-то встала, ничего больше не спросив и ничего не сказав, считай, первой домой и побрела. Лопнула у бабы последняя надия — нету боле её суженого! Сердце всё подсказывало ране-то: не похоронен он, не похоронен... думала-то — жив, коли такое, и не верила в погибель. А вышло-то, вишь, вона как: нечего хоронить-то оказалось.

— 4 —

Гришка с дядюшкой Олькой воротились из лесу, как всегда, на сутемёнках. Намаввшиеся за день, уробившиеся и, как всегда, с возом. Молча выпрягли Карьку и, выкатав, застали его во двор. Так же молча принялись за воз. Только короткими покрякиваниями помогая себе, скатили тяжёлые сосновые брёвна, заторопали их на порядочный уж штабель и лишь после этого засобирались в избу. Дядюшка ушёл первым — всё-таки не терпелось узнать, с чем тётушка Нино вернулась от Отрохича, — Гришка остался в саднике угоить сбрую да прибрать верёвки. Вдруг состукало чего-то на улице. Глядь

в двери — кажись, Манька, в потёмках-то не разглядел сперва. Только подумать-то успел, а она на шею ему да в рёв:

«Гришенька!!» — Гришка и остолбенел.

«Чего сдьялось-то, Маня?»

А та только, знай, ревёт да истовее льнёт! Гладит её Гришка по голове, а сам дивится: «Чудно, однако; то дак язвила на каждом шагу, и слова вольново не скажи, а то дак сама вдруг прилетела!» Но что-то удерживало Григория от непристойных оценок Манькиного поведения... Вспомнил, как задела она его уже при первой встрече у родника. Как зацепила мимоходом через день в улке. Как бурно и, вместе с тем, зазывно-насмешливо отбивалась от его неловкости на тёмном мосту, когда принесла мак. Вспомнилось и то, как он неожиданно даже для самого себя назвал её имя в разговоре с отцом как имя возможной невесты...

Мало-помалу рыдания стали утишаться, и, наконец, Манька, отстранившись, вдруг горячо выдохнула прямо в лицо сквозь не прекратившиеся ещё слёзы:

«Гришенька! Возьми меня к себе!»

«Как это?» — еле вымолвил в ответ Гришка.

«Ну, как парень девку к себе берёт? — уже с некоторым раздражением в голосе пояснила заплаканная Маня. — Не знаешь, што ли? Али я тебе не любá?» — добавила с отчаянием и вызовом, впившись в Гришку сверлящим взглядом. Последние слова её встряхнули всё существо Григория, заставили соображать быстро, действовать точно, и он тут же прижал её к себе, утопив в медвежьих объятиях.

«Любá... — вдруг неожиданно для себя проговорил он. Помедлил секунду, будто слушая эхо от прозвучавшего, и, видно почуяв, что оно — сказанное — созвучным оказалось с сокровенным, ещё крепче обнял девушку и уж жарко, как это совсем редко бывает в жизни, зашептал ей прямо в плечи, и в голову, и в уши: — «Любá! Любá, Манюшка, любá! — она счастливо затихла в этих пеленающих её объятиях, и какое-то время они стояли молча, каждый по-своему переживая случившееся. Гришка опомнился первым. — Да только куда ж мне взять-то тебя, Манюшка?» — неожиданно отрезвляюще проговорил он.

«Как это — куда? — не поняла Маня. — К себе в дом!»

«Не мой это дом, Манюшка», — всё так же горестно произнёс Гришка.

«Как это — не твой?» — уж опять маленько с раздражением, не понимая его, спросила девушка.

«Отцовский это, — пояснил Гришка, — и материн. А после Алексанков будет».

«А ты што, тут не живёшь, што ли? — всё больше недоумевала Маня. — Али, можот, надумал куда?»

«Тут я живу, Манюшка. И не собираюсь я никуда, а наоборот, лажу свой дом строить и в ём жить, — Маня не отстранялась более от него, а, прижавшись щекой к его груди, затихла, стараясь понять смысл его слов: — Я с самово начала так решил, как воротился: сперва построюсь, после оженюсь и заведу своё хозяйство. И татя меня на это одобрил. С им и начали задуманное дело».

«Да дак ведь уж нету тати-то», — осторожно вставилась девушка.

«Тати нет, да зато я есть, — тяжело вздохнул в ответ ей Гришка. — И от замыслов своих отступаться не собираюсь. С дядюшкой вот лес возим...»

«Значит, не возьмёшь?» — с озлобленностью уж в голосе перебила его Маня.

«Вот ведь как чудно, — успел подумать Гришка, — то колючки мне втыкала всю осень и всю зиму, подойти не давала, раззадорила только не на шутку, а тут — нате, сама на шею повесилась!»

«Да што сдьялось-то с тобой, Манюшка?» — произнёс он вслух.

После первых слов Маня чуть не вырвалась из его рук и не убежала так же скоро, как и появилась, но последнее — «Манюшка», сказанное Гришкой тихо да ласково, так обогрело юное сердечко, что мгновенно позабыла она про своё желание — дать дёру — а только осторожненько приникла опять ко Гришкиной груди. А тот не торопил её; голубил да ласкал здоровенной своей лапищей-рукой хрупкие ещё девичьи плечи да гладкие волосы, и разговорилась Маня.

«Татю мне шибко жалко, Гришенька, — начала она свою исповедь. — Молодой ведь ишо, а как маятся один-от».

«Хм, — перебил её Гришка, — нашёл, над чем маяться. Вон их сколько — девок-то да баб, только загребай!»

Маня резко отстранилась от Григория, и в глазах её мелькнули злые колючие искорки. Гришка заметил это и погасил их шершавой своей ладонью, погладив уж и по щекам стоящую перед ним девушку. Привлёк её к себе заново и опять неожиданно для себя коротко выдохнул:

«Прости...»

Маня постояла молча какое-то время, видимо отходя от Гришкиной пошлости, и

продолжила:

«Мои мама с татей дружно жили, и никово им, окромя друг дружки, не надо было. И горевал татя шибко, как мама умерла, а только ведь совсем худо мужику без бабы. И нас пятеро, и эдако хозяйство. Он хоть и не говорит мне ничево, а я-то вижу. И ночами запроход не спит — ворочается да мается. Я ведь, Гришенька, давно уже не малинька и всё распознавать научилась. А как Лукерью-то Степанову он к нам созвал меня учить, я всё и поняла.»

«Чево ты поняла?» — спросил её Гришка, воспользовавшись паузой.

«Што любя она ему — вот чево!» — убеждённо ответила Маня.

«Как это? — возразил Гришка. — Сама жо говорила мне, што матерь твою жалел...»

«В том-то и дело, што жалел, Гришенька, — продолжала Маня. — И до сих пор жа-лиёт, а только жизнь-то ведь на этом не закончилась. Себя-то рядом с ей не закопаешь, да и грех!»

«Ну, дак и што?»

«А то, Гришенька, што у ево даже и говоря-то переменяется, когда Лукерья к нам приходит! — тихо говорила Маня. — Я это сразу запримитила. И мается после тово татя ишо пуще; целыма днями, а ишо больше вечерами. А тут ишо эдака беда — Степа-на у ие убило...»

«Што-то я тебя, Маня, не пойму, — остановил её Гришка. — При чём тут Степан, при чём Лукерья еовнна?»

«Ох, Гришенька, Гришенька, — прижалась опять девушка ко Гришкиной груди, — не знаешь ты нашово татю — вот в чём всё дело.»

«Дак ты поясни, — предложил Гришка. — Я ведь понять тебя хочу, Маня...»

«В дом он ие не пустит, покуда я там есть, — вот в чём всё дело! Маяться будет, а не пустит.»

«Да с чево ты взяла-то, што она пойдёт?» — удивился Гришка.

«Ничево я, Гришенька, не взяла, — грустно пояснила девушка. — Можот, она и не пойдёт, конечно, но тут ведь, во-первых, как звать станёшь, а во-вторых, куда. И пока-мест я в дому хозяйничаю, не станет татя никово к себе звать, хоть Лукерью, хоть ково другово, ведь два мидьвида в одной берлоге не живут!»

«Ох уж и мидьвидь ты!» — коротко усмехнулся про себя Гришка, но смолчал, раз-мышляя над словами девушки. Та встрепенулась вдруг, словно напуганная птаха, от-прянула от него, и Гришка снова ощутил на себе колкие искорки её глаз:

«Да тебе надо ли всё это, Гришенька?» — и опять подхлестнула Демидова, как плёт-кой, и опять он голову её ко своей груди прижал и по волосам да по плечам погладил.

«А пошто жо ты ко мне-то прибежала, Манюшка? — спросил он всё так же ласково и тихо. — Всю осень и всю зиму ты меня не шибко-то бардовала.»

«Ох, Гришенька, да ведь кабы это я со зла, — тихо и вкрадчиво проговорила Маня. — Сама не знаю, што со мной и было. Ведь... ведь люб ты мене, Гришенька, и уж дав-но! — вздрогнул Гришка при этих словах, всей душой вздрогнул, но, боясь вспугнуть девичьи откровения, не выказал ничем своё смятение, а лишь обнял покрепче Маню и не проронил ни слова. — Ишо когда ты из дому-то уходил, ишо когда я на тринадцатом году была всево-то, до тово мне тебя было жалко — страсть прямо!.. Уж как я товда ре-вела после тово, как ревела! Мати-то запримитила — спасибо ей — да и давай ко мне с расспросами. Добрая она у нас душа была, мамушка-то наша, добрая и ласковая — я и открылась. И не посмеялась она товды надо мной, а всё, как есть, выслушала. И с тово время стали мы с ей как две подружки: всем-всем потаённым стали делиться. Она меня всему и обучила.»

«Чему это она ишо тебя там обучила, дозвошь спросить?» — настороженно ото-звался Гришка.

«А премудростям всяким житейским да хитростям девичьим! — кокетливо проще-бетала Маня. — Да только я, Гришенька, про все её премудрости позабыла, как тебя после возвращения твоего встретила! Чисто всё обмерло внутре-то, как увидела тогда тебя: на-кося, воротился Гришка-то! И вот поди ж ты вразуми; как бес какой в меня товды вселился! Душа-то ласки просит да к теплу тянется, ласковые слова говорить хочет, а бес-от этот всё наутычку да наутычку — всяки пакости подсовывает! И рада бы я их не говорить, да как будто и языку-то своему не хозяйка сделалась!»

Гришка еле терпел её сумасшедшие откровения, еле удерживал себя, чтоб не рас-смеяться, но при последних словах все терпелки лопнули, и он расхохотался так, что она испуганно отстранилась от него и недоумённо произнесла:

«Ты чево, Гришенька?»

«Ну, сильна! — даваясь смехом, пояснил Григорий. — Ну, язви тя... век таково не слыхал!»

Он снова обнял девушку и приласкал уж и по спине да за талию маленько. Та вздрогнула, руку его отдернула, но, успокоившись, разоткровенничалась вдруг ещё

больше:

«Вот и опять: ведь люблю мне, люблю, Гришенька, кожды ты так-то меня гладишь, а бес-от, бес-от тут, воде вот! И не рада бы да за руку-то меня — хватъ, да и моей уж рукой, это, руку-то твою отпихиват!»

Гришка и дышать перестал. Он вдруг каждой клеточкой своего тела почувствовал, до какой степени открылась перед ним Мария, до какой откровенной обнажённости! Каждой своей кровиночкой ощутил! Она ведь по сути своей нагая перед ним стоит и беззащитная, чего хочешь из неё сейчас лепи — всё стерпит! Всё снесёт! И нахлынуло опять горячим вдруг и нежным на душу. И вошло в сознание прочно, что повелитель он теперь её, и коли хочет, чтоб цвела она вот так же в естестве обнажённом, а не захирела до срока от обыденности житейской, беречь её должен пуще глаза своего!

«А как же Палуша-то, Маня? — осторожно спросил он. — Ведь он же хороший парень».

«Хороший... — как-то невесело усмехнулась Мария, — да только што мне проку от ево хорошестьи-то? Ни рукой, ни словом не согреть! — в словах девушки зазвучали обидно-горькие нотки, и Гришка не решился ей что-либо возразить. — Сам не гам и другим не дам — вот што такое Палуша! Всех робят от меня отвадил и сам не подходит. А што, я хуже других, што ли?» — голос Мани предательски задрожал, и Гришка пожалел, что спросил про Палушу...

«Любá ты мне, Манюшка! — тихо и ласково проговорил он. — Сам я тово не ведал, только думал о тебе, а сейчас понял — любá!»

Счастливо и доверчиво прижалась к нему Мария пуще прежнего, обвила за шею руками ласковыми да тёплыми и совсем уж неожиданно и для себя, и для него подтянулась вдруг на цыпочки и горячо губками своими нежными Гришку поцеловала. Да и прямо в губы! То-то жарко сделалось обоим. Вот он, бес-от! Не знать, чего и ждать от него. В любой омут столкнёт — и не заметишь, а за сладсть почтёшь! Застукалось внутри, как дятел по сушине — звонко и раскатисто — как будто первый раз в жизни ощутил Григорий тепло девичье, и говорить больше ничего не захотелось — век бы так стоять! А надо, надо было говорить-то, да и делать уж теперь. Как-то поступать.

«Не могу я, Манюшка, — всё так же горестно выдохнул он, — не ко времени всё это — татю только схоронили — да и я не построился».

«Прогоняешь?» — горько прошептала Мария, еле сдерживая слёзы.

«Што ты, Манюшка, што ты! — горячо запротестовал Григорий. — Да разве я тебя гоню? Я век бы так стоял с тобой, кабы не дела мои. Уж сколько, кабыть бы, в жизни перевидал, а вот как в первый раз с тобой-то эдак».

«А што жо мне делать-то топерь? — растерянно произнесла Маня. — Я-то думала, што мы уж не расстанемся, а што топерь?»

«Обождать надо, Манюшка, — пытался успокоить её Гришка. — Хоть с годик надо обождать, ведь все от веку так, што на одном году с похоронами в дому не жонятся».

Маня покорно покивала головой и опустила глаза вниз. Руки её постепенно сползли с Гришкиных плеч, и сама она как-то незаметно отстранилась от него.

«Пойду я, Гришенька», — тихо промолвила и, поворотившись, осторожно зашагала к выходу.

Гришка стоял не двигаясь, будто пригвоздённый, и молча провожал её глазами. Вот она дошла уж до двери, вот переступила за порог и медленно пошла по утоптанному насту ко своему дому. Её худенькая фигурка всё больше и больше растворялась во тьме, и Гришке вдруг показалось, что она растворится сейчас совсем. Не то чтоб для него, а совсем. Растворится, как тает дым от костра или печи, как исчезает снег, убегая куда-то весенними ручьями, тает тьма под лучами солнца. Она ещё не ушла, её ещё видно в густеющей темноте, но во всей фигуре её почудилось вдруг Гришке что-то обречённое, показалась она ему какой-то отказной, заброшенной, покинутой. И стукнуло вдруг в голову, что это навсегда, что очарование несколько мгновений назад пережитых вместе минут больше никогда-никогда не вернётся, сколько потом за ним ни гонись.

«Маня! — резко выкрикнул он. — Манюшка!! — и что есть духу вдогонку. Он настиг её скоро, хотя девушка не останавливалась и не оборачивалась, положил руку на плечо и властно повернул к себе. — Прости меня, Манюшка! — с истинной мольбой в голосе выдохнул он. — Ради Христа прости дурака! — и здоровенными своими ручищами облапил её, как маленького ребёнка, укутав в объятиях, казалось, с головы до пят! Девушка покорно затихла в его руках, не выказывая, однако, никакой реакции, и молча ожидала, что он ей скажет ещё. — Голубушка ты моя! — уж совсем неожиданно прозвучало из Гришкиных уст. — Любушка моя суженая... — и не выдержало опять хрупкое девичье сердечко, и заплакала Маня, словно дитя, уткнувшись личиком в широкую Гришкину грудь. — Не отпущу я тебя нигуда боле — вот и весь тебе мой сказ! — тихо, но твёрдо объявил ей Гришка. — Вмистях топерь станем жить, коли судьбе

угодно так! Об одном прошу: пойдёшь сейчас домой. Мне надо матери обказать всё наединку, чтобы ей врасплох не стало. А завтра я к родителю твоему приду и с ним всё обговорю как есть. Чтобы не вороськи всё было, Манюшка, а честь честию. Уж коль нельзя с венчаньем в сегодний год, дак всё равно чтоб было без утайки всё».

«Гришенька!.. — сладким шёпотом слетело с Маниных губ. И ласковые девичьи руки, будто жаркое ожерелье, легли снова на Гришкины плечи, вернув чуть было не убитое навек очарование. — Любый мой, Гришенька! Любый мой, любый...»

И покуда шёл потом Григорий, возвращаясь до дому, покуда не лёг спать, сделал всё, что задумал, и не заснул крепким сном здорового мужика, немало поробившего за день, так и звучало в его ушах, в душе тихим эхом одному ему слышимое: «Любый мой! Любый мой!! Любый...»

Глава четырнадцатая

— 1 —

Время подошло пахать и сеять, а как? Кому? Мужчин, считай, ни одного в округе — некого нанять. Сын воюет где-то далеко, и нет вестей — кому? Им вдвоём с дочерью? Фрау Марта видела в своей жизни, как ходят за плугом мужчины — работники в их доме, в последнее время наловчилась и с лошадей управлять, но пахать самой? Нет, это невозможно! Чего уж говорить об Анхен с её тоненькими музыкальными пальчиками, которыми разве что цветочки поливать да яголки срывать. И пошла фрау Марта по соседям: как-то они со своей землёй управляют? Ведь не одна же она такая. А те, её не мене, горем взялись! Молодые да здоровые мужчины все на фронте, а от немощных да старых-то велик ли толк? И осенило какую-то хозяйку — депутацию к лагерному начальству организовать. Хоть и далеконько лагерь-то, а что тут станешь делать, коль припёрло?

И пошли-поехали всем скопом к коменданту. А тому что; было бы дело, чтобы чем занять своих подопечных. Она, мол, работнички-мужички, выбирайте, какие кому надо... Всё! Пошло дело. Нарасхват мужички русские пошли по дворам да хуторам! Только подводы подгоняй. А у кого нет, так и пешком. Одной только фрау Марте не повезло. И подвода бы есть, и конишко, хоть и старенький, от армии выбракованный, имеется, а не повезло. Покуда до неё очередь дошла — всех разобрали. Окромя одного... Глянула фрау Марта на солдатика пленного русского, и сердце у неё зашло. Маленький, худенький, волосёшки сваялись, гимнастёришка рваненькая — ну что это за работник, прости Господи, при ейном-то хозяйстве?!

«Герр комендант! — обратилась она с вопросом к начальству. — Нет ли какого другого работника на мою долю?»

Вдова, дескать, я офицерская, сын опять же офицер — и на фронте. А комендант только руками развёл: кончились, мол, работники, один всего и остался. Кабы, мол, пораньше знать про ваше положение, я бы его напарника по кухне для вас оставил... Делать нечего, пошла фрау Марта к русскому пленному поближе, чтоб с собой созвать, да только несколько шагов всего и шагнула. Получше-то посмотрела на солдатика, да и замерла, как вкопанная — он!! Тот самый, которого они с дочерью, можно сказать, из мёртвых воскресили! «Вот ведь судьба! — подумала. — На прегрешение пошла — недолеченного властям выдала, чтоб только помешать им с дочерью сойтись поближе — а тут опять он». И единственный — другого нет.

«Нет, герр комендант! — возразила решительно. — Мне этот русский не подходит. Уж больно мал да невзрачен — проку от него не будет»...

— 2 —

А тем временем дочь её — ангельское создание — хлопотала по хозяйству...

Со временем Анхен стала замечать за собой, что она всё чаще и чаще думает об этом русском, вспоминает его ясные голубые глаза, добрую мягкую улыбку, и что воспоминания эти всегда обдают её сердце радостным и приятным теплом. Она вспоминала, как они учились друг у друга говорить, и всегда улыбалась при мысли, как смешно Вася злился, если она неправильно называла его имя. «А ведь он совсем не злился при этом, — думала она, — его глаза всегда улыбаются. Зато как он быстро научился понимать по-нашему».

Ей приходили на память сцены кормления его, истерзанного и обессиленного, с ложечки, как ребёнка, и сердце её невольно сжималось от боли и сострадания к нему даже сейчас, когда уже всё в прошлом. Она вспоминала о его ужасных ранах, покрывавших всё тело, и удивлялась его стойкости и терпению, когда они с матерью обрабатывали эти раны. А ведь ему было больно, было! Она видела это по его расширенным глазам, но ничем другим он никогда не выдавал свои страдания.

Она зажмуривала глаза, вспоминая о том кратком, но прекрасном миге, когда она

невольно обхватила его, ещё слабого, за талию, не дав упасть, а он в поисках опоры неожиданно сильно обнял её за плечи. Она вспоминала этот миг, и сердечко её сладко замирало. Анхен горестно вздыхала при этих мыслях, так как всегда они заканчивались одним и тем же — воспоминанием о сцене их расставания и этим неизвестным для неё русским словом «прощай!», произнесённым пленным в самом конце. Незнакомым, но несущим совершенно определённый однозначный смысл, хлестнувший её этой безнадёжной однозначностью, как плетью. И становилось горько, и хотелось разрыдаться, чтоб хоть со слезами выплеснуть, быть может, эту горечь. Но слёзы не приходили, и горечь, будто наказание, оставалась внутри маленького её сердечка, как маленький осколок стекла, который ранил, тревожил, причинял боль.

«Где-то он сейчас? — всё чаще и чаще думала Анхен при воспоминаниях о русском пленном. — Как-то его раны? Зажили ли? Не получил ли новых? Здоров ли? — и уж совсем страшное, леденившее душу: — Жив ли?»

Она знала, куда и зачем поехала с утра её мать и втайне надеялась, что после её возвращения она, может быть, хоть что-нибудь узнает о Васе от привезённого матерью работника или работников. Но мать приехала одна, встревоженная, чем-то озабоченная, и Анхен не решилась подойти к ней с расспросами.

— 3 —

А Васька сразу узнал старую немку, приехавшую за работниками... Он слышал, как фрау Марта сказала коменданту: «Klein!» — и понял, что это относится к нему, но он понял и главное: фрау Марта тоже узнала его...

Он вспомнил, как увидел Анхен в первый раз и она показалась ему ангельским созданием. Вспомнил её тоненький голосочек, который звенел, будто поддужный колокольчик, и нежные пальчики, врачующие его обезображенное тело. Как будто бы прошедшие вчера, всплыли минуты его трепетного ожидания прихода Анхен, и та радость, которой наполнялось всё его тело, когда она приходила одна. И тут же, словно в противовес, в сознании возникли колючие глаза её матери, когда та застала их неожиданно и так желанно («Да, да, желанно!» — отчётливо понял Васька) обнявшимися, чтобы он, Васька, не упал от подступившей вдруг слабости...

Он отчётливо понял, что хочет быть работником только у фрау Марты и ни у кого больше и что причина тому — Анхен! И что он, Васька, готов исполнять как высшую награду любую работу, которую ему предложат, лишь бы хоть на чуть-чуть, хоть разочек в день видеть эту хрупкую девушку, похожую на мотылька, перелетающего с цветка на цветок, слышать её счастливый залиvistый смех и ощущать тепло нежных пальчиков. Вот как будто ничего другого нет и не может быть на свете! Как будто всё остальное грубо и безобразно, холодно и отвратительно. И Васька стал молить Бога о снисхождении к нему. Просить в своих мольбах, чтобы старая немка вернулась и позвала его к себе в работники.

— 4 —

Нет, фрау Марта забракoвала русского солдата вовсе не из-за того, что тот был маленького роста... Она узнала его и испугалась за дочь. Весь вечер они почти не разговаривали, и обе думали русским пленном. Но если Анхен думала о том, что с ним сейчас и как бы об этом узнать, то фрау Марта думала, как бы сделать так, чтобы её дочь и этот русский больше никогда не встретились.

На другой день она поехала в лагерь как можно раньше, но оказалось, что это не имело никакого значения, так как русские пленные были оставлены по имениям и хуторам под ответственность их хозяев. В лагере оставался только Власов. Ничего не изменилось и на следующий день, и ещё через день. Всё те же беспомощно разведённые руки коменданта, и всё то же презрительное «klein!» в устах фрау Марты. А дома — настороженно молчащая Анхен...

Вспомнилось длительное многодневное молчание дочери осенью, когда мать выдала пленного властям, вспомнились сухие односложные диалоги после этого, и вот теперь — тревожно-молчаливое ожидание. Обеспокоенная мать пересилила себя и попробовала сама начать разговор с дочерью, но диалог не пошёл, разговора на отвлечённые темы не получилось, начать же говорить о том, что она видела русского в лагере, фрау Марта не решилась.

И ещё одна бессонная ночь прошла в беспокойных раздумьях о дочери... Как всякая мать, фрау Марта не желала вреда своим детям, тем более в таких муках ей доставшимся...

«А в чём их благо? — вдруг пришла в голову матери мысль. — Вон Карлуша пошёл воевать. Он сделал это по своей воле, как и его отец, и каждый день рискует жизнью. Какая мать добровольно выберет для своего сына такую долю? А он считает это за благо для себя... А что есть благо для Анхен? Неужели этот русский, сдаче которого

властям она столь бурно воспротивилась? Нет! Нет! Нет! — фрау Марта даже перевернулась на другой бок, чтобы отогнать это наваждение. — А с другой стороны, — продолжала размышлять мать, — она ведь точно думает о нём. И это молчание её лишь выдаёт. А что если я своей же рукой прерву ей дорогу к счастью?! — от этой мысли фрау Марта даже привстала в постели, оперевшись на локоть! — Ну, уж нет! — твёрдо и решительно заявила она себе. — Что это за счастье такое — какой-то пленный русский? Нет! Нет, нет и нет! Пока я жива, этого не будет!» — и неожиданно уговорив сама себя, удовлетворённо уснула.

А утром, едва встретившись с дочерью глазами, услышала прямой её вопрос:

«Мама! А в том лагере, где ты была, есть наш Вася? — Фрау Марта ещё не успела опомниться от оглушительно резанувшего слух «наш!», как ежели бы речь шла об их Карлуше, а уже новый вопрос прозвучал из уст её дочери: — Я знаю: ты поедешь туда опять, чтобы найти нам работника. Я прошу тебя: узнай про Васю всё, если он там. Для меня сейчас ничто не имеет такого значения, как это, а ведь ты же хочешь мне добра? — нежные голубые глаза Анхен смотрели на мать почти не мигая, смотрели твёрдо и требовательно, и вместе с этой требовательностью из них сквозила такая боль, что, видя это, фрау Марта вся внутренне содрогнулась. — Я прошу тебя, мама, сделай это для меня! — всё так же убедительно подтвердила Анхен застывшую в глазах мольбу. — Пожалуйста!» — и вдруг, сорвавшись с места, стремительно бросилась прочь.

— 5 —

Утро очередного дня началось для пленных обычной проверкой. Их всех свезли накануне в лагерь новые хозяева, как это и было обговорено с начальством, и вот теперь, прежде чем разъехаться на работы вновь, все построились на улице перед нетерпеливо ожидающими уже бюргерами и, по большей части, бюргершами.

«Фрау Фогель! — завидев знакомую долговязую фигуру в чёрном, громко позвал комендант. — Как мать офицера действующей армии вы имеете право выбрать к себе в хозяйство любого работника из числа пленных. Всех остальных мы распределим только после этого. Я рекомендовал бы вам вот этого бугая, — и комендант указал на стоявшего в строю кузнеца Гаврилу Махлова. — Великолепный экземпляр! — восхищённо прищёлкнул он языком. — Вы только посмотрите, какие у него бицепсы! Он один потянет плуг не хуже лошади!»

«Я забираю вот этого!» — как о давно решённом заявила фрау Марта, указав на стоявшего рядом с Гаврилой Ваську.

...Солнце ещё не поднялось в зенит, и даже обильная роса ещё не вся высохла в затённых местах, а за окнами дома, где жила фрау Марта с дочерью, застучали колёса повозки и послышалось лошадиное фырканье. «Мама!» — мелькнуло в голове хлопотавшей в доме Анхен, и сердце почему-то часто-часто затрепыхалось, как оперившийся уже птенец перед первым своим взлётом. Она выскочила на улицу и возле запряжённой лошастью повозки увидела две человеческие фигуры. Одна из них была в знакомом чёрном одеянии, а вот другая... «Он!» — пронзило сознание девушки. Ещё не видя лица, ещё не слыша голоса, ещё ничего не зная о стоящем рядом с матерью человеке, она совершенно отчётливо почувствовала: это он! Стекланный осколок боли и тревоги, ранящий сердце много дней подряд, вдруг чудесным образом выпал, и оно заметалось радостно в тесноте грудной клетки, словно истосковавшийся по свободе лесной зверёк, которого сейчас выпустят из ненавистной неволи. И прежде чем приехавшие повернулись к ней, она успела сделать несколько шагов навстречу.

«Guten tag, Anchen!» — первым произнёс приехавший с матерью мужчина.

«Здравствуй, Вася!» — тщательно выговаривая первое и намеренно коверкая второе слово, тихо отозвалась Анхен. И уж совсем тихо, заметив, как мать тактично отошла за лошадь, добавила, а точнее прошептала: — Ich bin glücklich! — ещё помедлила и уж совсем неслышно, одними губами: — Ich bin sehr glücklich!!»

И даже если бы Васька не знал значения этих слов, он всё равно бы догадался об их явном и тайном смысле по одним только светящимся от счастья глазам девушки! Ведь он такой понятливый — этот простой русский парень с васильковыми глазами, которого они с матерью вырвали из лап смерти собственными руками.

Глава пятнадцатая

— 1 —

Вечерело. Яркое вешнее солнышко, прочертив в небесной лазури высокий уж круг, устало скатывалось за длинные макушки елей и сосен, причудливым частоголом извилистых теней пережегая лесную дорогу. Добросовестно налегла на постромки, усердно тянул по ней очередной воз брёвен трудяга Карько. Тяжелов грузёные сани с подсанками уж не скрипели по накатанному, как зимой, и даже не шелестели, а как-то

натужно шипели по набрякшему водой снегу широкими полозьями, словно две большие змеи. Устало переставляя затёкшие за длинный день ноги, рядом с возом шагали Гришка с дядюшкой Олькой. Тяжело! Под ногами уж хлопало, в низинках кое-где уж лужицы пристоялись, набравшиеся за длинный день, и дорога хоть и не плыла ещё взболоть, но держалась из последних сил.

«Ещё с неделю такой погоды, и в угор не то что с возом — порожняком-то не выдвинешься, — горестно думал Гришка, перешагивая через очередную лужицу на белом ещё снегу. — А дальше всё — шабаш! Дальше другие заботы подоспеют, в поле занадо готовиться — не до вывозки».

Гришка и так раскладывал свои мысли, и эдак, а всё одно расклад этот получался невесёлый. Не хватало! Как ни старались они с дядюшкой, как ни загоняли и себя, и Карька до полного изнеможения в стремлении нарубить и вывезти до распуты лес на избу, всё равно заготовленного материала не хватало. На то, что задумал и держал в своей голове Гришка, не хватало. На простую-то избёнку и хватило бы, да и на двор, пожалуй, но разве такую стройку собирался затеять Гришка? Разве о простой избушке с четырьмя углами мечтал он в долгие зимние вечера трехлетнего одинокого скитания? Нет! Уж коль решил бросить якорь на своей земле, то якорь этот должен быть основательным. Дом — обязательно пятистенок; и чтоб окошки в нём высоко от земли всенепременно были, чтоб не заметало их ни в какую бурю. Двор обязательно просторный, чтобы всякой животине в нём жилось вольготно, как и людям. Мост широкий чтобы, поветь высокая, звоз, изба чтобы отставная большая, — всё, словом, чтобы как у добрых людей. Чтоб не жались и не ютились многочисленные (а они непременно должны быть многочисленными — это Гришка тоже точно для себя решил!) обитатели дома кучкой в одном углу, а жили привольно.

Ну, что до отставной избы — то тут Гришка пока что только думку держал. Понимал, что всё зараз не осилит, что это будет попозже, но уж что до дому — тут никаких отступлений! Пробовал было дядюшка Ольга его поразговорить, поунять в замыслах, да какое там! Всё напрасно. Упёрся Гришка на своём — и ни в какую! Жить мне, говорит, в этом доме весь век свой и детям жизнь давать, а потому никак не меньше пятистенка. И лесу не хватало. Как ни крути — было только на избу. На ту, которую Гришка задумал. Ну, от силы ещё на мост. А на двор — шиш!

«Н-да. И што топеря делать? Первый воз ишо хорошо можно вывезти, коль встать пораньше, а второй? А на второй уж много не навалишь, да и Карько не железный. Мы-то перебежес как-нибудь, а ему-то отдых нужен полновесный. Иначе-то не повезёт ведь». Гришка поглядел на твёрдо ставящего в обмякший накат свои ноги Карька, задержался взглядом на энергично мотающейся его вверх-вниз голове в такт тяжёлым шагам, и сердце его вдруг наполнилось неожиданной нежностью и теплом к своему четвероногому помощнику. «Вот дал Бог животине прилежание! — с восхищением подумал он про лошадь. — Каждый день с утра и до ночи везёт! И как везёт!! — Гришка ещё раз внимательно взгляделся в работу коня, и вдруг его будто ошпарило: — А ну как Карько-то порветча?» — он аж остановился от посетившей его мысли, и дядюшка Ольга, шагавший сзади, чуть не налетел на него.

И всё бы ничего, как бы не Манька со своими сумасшедшими намерениями, можно бы и обождать со двором-то. А теперь? Насчёт намерений-то Гришка ничего против не имел — Манька ему всем глянулась, но не севогуда бы. Через год бы хоть аль два, чтоб на ноги встать, а тут?

Сделал он, правда, всё честь по чести. С матерью своей в тот же вечер разговор провёл, и та, хоть и всплакнула о погибшем безвременно хозяине да о доросшем наконец-то до такого решения — жениться — сыне, но перечить не стала. Горе и радость, прожитое и ожидание будущего — всё вперемешку вылилось в одобрении матерью Гришкиного выбора.

И с тестем своим будущим Гришка в разговоре устоял. Твёрдо к нему в избу ступил! Манька аж за печь убежала, хоть и знала, зачем пришёл, а после и вовсе из избы выскочила — еле дозвались, когда пора настала. И разговор с Васей Антиповым Гришка твёрдо повёл: так, мол, и так, Василий Тимофеевич, сватать я твою дочку пришёл, согласия твоего спросить хочу. А Вася что: Гришка — парень хоть куда, да только больно уж неожиданно; Маньке-то 16 только стукнуло. Растерялся сначала отец и слова не знает как сказать по этой причине, но Гришка его вырубил, сам сказал. Что так вот, мол, и так всё сложилось, что Маня, мол, любá мне, что мать уже в годах всё-то хозяйство вести, что я, мол, своё решил завести и, тем самым, ношу матери облегчить, ну и всё такое прочее. Даже и про Васино одиночество маленько намекнул: не старь, мол, ещё, негоже одному век свой доживать. Уболтал, в общем.

Рассолодел Вася, смягчел, дочь стал кликать, а Манька — на тебе! — на поветь убежала и, как мышь, со страху в самый дальний угол затиснулась. Во как! Вот те и всё уж решено да обговорено промеж них было с Гришкой. А как до дела-то дошло да как

Гришка отца-то родного своей твёрдостью в смятение поверг — откуда что взялось! И вся бойкость-то куда-то выветрилась, и говорливость, и никакой бес уж не помог. Страх как паутиной липкой всю обклеил, аж ноги замёрзли! Так-то оно, бывает, сватовство-то достаётся! Да особо когда сам жених в дом, а не сваты, да ещё когда вот так вот круто.

Маньку, конечно дело, на повети нашли, из сена откопали и в избу привели. Отец ответ держать велит — что, мол, ты на такое Гришкино предложение скажешь, а у той ровно бы и язык-то отнялся! Насилу мыкнула чего-то в ответ, а больше головой подтвердила, что согласна, и опять за дверь. Ну, а мужики дале уж сами договариваться стали, что да как. И вот теперь Манька в Гришкин дом собирается, а дома-то и нету! Одни брёвна только неокорённые, и тех мало.

...Карько, меж тем, исполнил сполна свою нелёгкую работу, и тяжёлый воз вместе с сопровождавшими его хозяевами оказался на подворье...

«Гриша! — выходя из садника, позвала мать. — Ты сходи, сынок, к Васе Антипову. Утрись оне с братом со своим к нам заходили и просили, чтоб ты заглянул, как не умаисся совсем».

«А чево надо-то?» — встревожился Гришка.

«Да не сказывали они про это ничего, — развела руками мать. — Ты бы сходил сам-от да и узнал про всё, коли в силе ишо».

«Ладно, — буркнул в ответ Гришка. — Воз сейчас отвалим, и схожу».

...В антиповском дому чаёвничали. За столом, окружая самовар, сидела вся хозяйская детвора, сам Вася и рядом братан его — Кузьма Егорович. Маня хозяйничала. Завидев вошедшего Гришку, приветливо улыбнулась и скромно зашла за печь.

«Здорово живут, православные!» — снимая шапку, приветствовал всех разом Гришка.

«Здорово, здорово! — чуть ли не разом отозвались и хозяин, и его братан. — Проходи, Гришка, садись с нами чай пить», — Вася встал с места и широким жестом пригласил гостя за стол.

«Да я как-то... да я думал узнать... — замылся Гришка, — до чая ли?»

«Проходи, проходи! — решительно возразил хозяин. — И узнаешь всё, и поговорим. А без чаю какой разговор? Манька! — на его голос из-за печи выглянула дочь и вопросительно посмотрела на отца. — Гостю чашку с блюдцем! — короткоскомандовал тот, и девушка быстро развернулась выполнять его просьбу. — А мы той порой место за столом займём, — положил хозяин гостю руку на плечо. — Садись, Гришка».

На столе появилась пузатая голубая чашечка в крупный белый горошек и такое же голубенькое блюдо. Из носика поющего ещё самовара зажурчала горячая парящая струя, и, пододвигая поближе сахарницу со щипцами, хозяин предложил:

«Пей, Гришка! Рассупонь душу, чай, уробился за день-то?»

«Да не без этого», — коротко отозвался гость.

«Вот и пей! — продолжил Вася. — Шибко не потчует — не обессудь, пост — но кое-чево нам Маня всё же тут понаготовила. Сочни вот с кашей, ишо горячие, ерушники свежие — ешь-пей».

Гришка не стал долго чваниться и с удовольствием разлил в блюдечко обжигающий напиток. Подхватил действительно ещё горячий сочень и, широко раскрыв рот, отправил его туда целиком. Как в печку полено!

«Вот это да! — воскликнул заметивший это хозяин. — Сразу видно — мужик за столом! А мы сидим тут, по кусочку четвертуем, как малинки!»

«Да будет вам, — наскоро прожевав, смутился Гришка. — Попрямались мы с дядюшкой опять севодня, вот я с азарту-то и дёрнул».

«Молодец! Молодец, парень! — успокоительно похлопал его по плечу хозяин. — Сразу видно — здоров, как бык! А здоровье для мужика — перво дело! Хошь для хозяйства, хошь для бабы!»

«Татя! — протестующе одёрнула его дочь. — Будет тебе. Робята за столом».

Отец смутился, мыкнул что-то согласное и умолк.

«Мы тебя чево созвали-то, Гришка, — вступил, меж тем, в разговор степенный Кузьма Егорович. — Как у тебя задумка-то с домом?»

«А чево задумка?» — отхлёбывая из блюдечка горячий чай, отозвался Гришка.

«Ну, я про то, што не отдумал ли севогуда али ишо, можот, чево?» — уточнил Кузьма Егорович.

«А как отдумашь, коли лес навожен?» — вскинулся Гришка.

«Ну, мало ли... — уклончиво протянул собеседник, — лес-от ведь и полежит — не скиснет, коль угоить, да и много ли ево у вас?»

«Лесу мало, — горестно вздохнул Гришка, — это верно. Но отдумывать — я не отдумывал».

«Мы давеча с братаном-то у вас на подворье побывали и прикинули, чево к чему,

— подхватил разговор хозяин дома. — Ты, Гришка, шибко ли расстроиться-то хошь? Я чул, што вроде как на пятистенок ты замах-от дёржишь?»

«А малинькая-то изба мене на кой? — запальчиво ответил Гришка. — Нешто я других хуже? Али хозяйству цену не знаю?»

«Остынь, кипяток! — примирительно проговорил Кузьма Егорович. — Кабы то было не так — стали бы мы с тобой сичас тут рассосуливать! — Кузьма Егорович сделал паузу, давая понять всем слушателям весомость своих слов, и отхлебнул из своей чашки. — А только ведь на пятистенок, парень, там тебе не хватит, — продолжил свою мысль после глотка. — Хошь так клади, хошь сяк, а только на перёд да на мост у тебя там лесу».

«Ох, Кузьма Егорович, — тяжело вздохнув, ответил ему Гришка. — Не трави ты мне душу, и так уж она вся изболелась из-за этово лесу».

«А ты помене сруби, — предложил Вася, — на скоко хватит».

«А через год-другой перерубай! — опять горячо возразил Гришка. — Нет уж: коли рубить, дак сразу как задумал. Не на день ведь изба-то, а навек!»

«Оно-то, конечно дело, так, — согласился Кузьма Егорович. — А много ли у вас ишо-то заготовлено?»

«Да в запас почти не валим, сразу возим, — отозвался Гришка, — дак только вот с вывозкой-то...» — не найдя нужного сравнения, он ударил сжатым кулаком себе в ладонь и, чтобы скрыть своё отчаяние, потянулся за синенькой чашечкой.

«Ишо?» — завидев его движение, полюбопытствовал хозяин.

«Ишо!» — в тон ему отозвался Гришка, и Вася повернул ручку самоварного крана.

Опять зажурчала из носика почти кипящая вода, опять густо повалил пар из крана и от чашки, и, наблюдая за всем этим, каждый из собеседников обдумывал своё.

«Вот што я тебе скажу, парень, в таком разе, — медленно проговаривая слова, начал Кузьма Егорович. — У меня на подворье лесу порядочно осталось после стройки. Избу отставную ладили пристроить к переду-то на другой год, да вишь, топерь как дело повернулось. И с избой, и с Петрушкой... — Кузьма Егорович осекся не то от упоминания сгоревшей новостройки, не то от имени воевавшего с германцами сына, и не понять было никому, которая ноша тяжелее. Обе — не дай Бог! Посидел так маленьчко Антипов-братан, совладел с тяготой душевной, да и дальше: — Дак вот я и подумал: а чево жо лес-от будёт без толку лежать? С германцем, по всему видать, не скоро совладать удастся, а коли Петруша, даст Бог, возвратётся живой да здоровый, мы лесу нового нарубим. Ты жо нам и пособишь! Не так ли?»

«Как не пособить!» — ободрился неожиданной поддержкой Гришка.

«Дак вот я и порешил, — всё так же обстоятельно продолжал свою мысль Кузьма Егорович, — повизи-ко ты, парень, лес-от от меня да и употреби в дело! — Гришка от неожиданности глазами захлопал и сказать не знает чего. — Повизи, повизи! — приободрил его Антипов. — Тебе сичас он в самый раз пойдёт».

«Да как жо, — нашёлся Гришка, — у тебя, нибось, Кузьма Егорович, лес-от первостатейный, коли на отставную избу налажен, а мне на двор надо. Жалко ведь».

«Дак ты со своево-то лесу, которы вершинны брёвна, в перёд-от не клади, — подсказал Кузьма Егорович, — вот тебе на двор и будет матерьял подходящий. А которы комлевые да хороши — те с моими смешашь и на перёд используешь. Теперь вот ишо што, — заметив, что возражений на его весомые доводы Гришка не находит, продолжил Кузьма Егорович, — ты весь лес свой не кори. Мой-от лес готовый и просушен, а тебе на жёлоб брёвна надо. Ты отбери которы попрямяя да получше и не кори их. А то ведь солнышко-то счас жарчая с каждым днём; окоришь — тово часу разорвёт бревно-то, и уж жёлоба не вытешешь и не выпилишь из ево. Понял?»

«Да как не понять-то! Я про это-то уж сам подумал».

«Ну, вот и делай, коль подумал, — продолжал Кузьма Егорович. Он снова взял свою чашечку и всё так же медленно и степенно отхлебнул из неё, пососав при этом глызку сахарку, лежавшую на блюдечке. Не признавал Антипов-братан питьё из блюда; стынет, говаривал, шибко, лучше помаленьку, но из чашки. — Как дело до окорки у тебя дойдёт — скажись, — голос Кузьмы Егоровича звучал так ровно, словно бы он считывал свои мысли с какой-то, одному ему видимой, книги, — мы тебе своих ребят подошлём. У Васи двоё подойдут, да у меня двоё — вот тебе и пособишь».

«Дак ведь малиньки жо!» — засомневался Гришка.

«Какие-то малиньки! По десятку уж годов исполнилось — всяко со скобелью-то управятся. Комлевые-то брёвна не давай, дак и оскоблят вершинник-от. А уж комли мы сами... Одних только мальцов не надо оставлять, как до окорки-то дойдёт, не придалило бы ково».

«Ну, это-то само собой токо вмистях с нами, — успокоил его Гришка. — Где повернуть, где поддержать».

«До сруба дело дойдёт — пособиим, — опять продолжил «чтение» невидимой книги

Кузьма Егорович. — Много не обещаю — у самото хозяйство — но пособию. Ну, и Вася само собой...»

Паузы Кузьмы Егоровича были до того красноречивы и до того уместны, что порой весили и значили куда больше, чем целые речи иных пустозвонов. Вот и сейчас это «само собой» прозвучало до того увесисто, что даже непосвящённому в дело стало ясно, что как же может с родственником быть иначе, если речь идёт о строительстве будущего жилья для родной дочери.

— 2 —

На Благовещенье шибко занепогодило. С утра ещё вызнялось над еловым частокотом горизонта ясное, будто умытое, солнышко, но к полудню потянуло, потянуло свежачком из-за Курженьги, заволакивать стало белёсыми волосьями облачными лазурь небесную, и вот уж затускнело, замутнело светило и начало помаленьку истаивать, ровно льдинка, им же подточенная. Заорали истошно вороны, и всё в природе стало готовиться к ненастью. «Всё! Кончилась вывозка! — подумал Гришка, глядя на все эти природные изменения. — Если ишо дожжика, не дай Бог, прыснет — капец дороге! Никаким приморозком потом не изладишь».

«Ну, што, племянничек, пригорюнился?» — как всегда, жизнерадостно приветствовал своего родственника дядюшка Олька.

«Да вот смотрю, судя по всему, закончилась наша с тобой заготовка, дядюшка».

«А можот, оно и к лучшему, парень? — положил свою руку на Гришкино плечо дядюшка. — И коня поберегчи надо, да и самим не грех передых сделать, — он помолчал немного и добавил: — В церковь-то идёшь утре али как?»

«Как не иду! Благовещенье жо! Што, я басурман какой, што ли?»

«Ну-ну, — одобрительно отозвался дядюшка, — это я так вообще-то; гляжу — в работе ты весь, вот и спросил»...

Гришка этот поход в церковь уже давно замыслил. С самого дня сватовства. Решил: как бы ни сложилось, на этот день все дела отставить. И праздник большой — Благовещенье — а главное, он собрался на исповедь. Ныла душа, точило её невидимым червем сомнение — выход был один.

Служба в тот день проходила дольше обычного. Во-первых, праздник большой церковный, да и передых душам людским требовался — уж слишком много тягостей на них навалилось. И жизнь без мужиков, и, главное — утраты. Уж многие дома в Уй-доме к той поре дорогих своих кровиночек, на войне убиенных, оплакали и душу теми потерями себе отяжелили. Нужно было прослабление.

Уж ближе к полудню дошёл черёд и до Гришкиных замыслов. Ступил он к алтарю, где к той поре уж посвободнело, и глаза свои на батюшку, там стоявшего, поднял.

«Чево тебе, сын мой?» — завидя его приближение, мягко спросил святой отец.

«Я, батюшка, исповедоваться хочу», — сообщил ему Гришка, перебирая в руках смятую шапку.

«Ну, пойдём, коли так, уединимся, — пригласил его поп, и Гришка ступил за ним следом. — В чём исповедь твоя, сын мой? — опять так же мягко, хотя и не без ноток строгости, спросил священник, когда они уединились. — Грехи какие за душой имеются аль помыслы греховные?»

«Помыслы, батюшка, помыслы, — зачастил Гришка, — только вот понять не могу, греховны ли они?»

«А ты доверься мне, обскажи как есть, мы и рассудим, что к чему».

Голос священника снова стал располагающим, и Гришка сходу выпалил главное:

«Жониться я хочу, батюшка!»

«Благое дело, сын мой! — пробасил святой отец. — В чём же сумления твои?»

«Отца я своего зимусь похоронил...» — начал Гришка и осекся на полуслове.

«Дак ты не нонича ли жониться-то надумал? — строго спросил поп, и Гришка внутренне вздрогнул, как от удара колотушкой, и от его слов, и, главное, от его голоса. — Чего молчишь? — опять строго спросил его батюшка, заметив заминку. — Отвечай, коли на исповедь пришёл!»

«Нонича, батюшка», — упавшим голосом подтвердил ему Гришка.

«Греховное дело задумал, сын мой! — вынес строгий вердикт хозяин церкви. — Не богоугодное! Отцовой памяти почтения не оказываешь! — голос священника твердел с каждым словом, и Гришка совсем сник под этой твёрдостью. — Чево опять умолк? — всё так же строго спросил поп. — Рассказывай, с чего у тебя эки замыслы. Я тебя считал примерным христианином».

Последние слова ободрили Гришку, и, приподняв голову вверх навстречу глазам священника, он горячей скороговоркой чуть ли не на одном дыхании выпалил ему всё, что мучило его в последнее время. И что лоба ему невеста, и что обождать бы он готов и мог, тем более что на ногах своих ещё не стоит. Что порядок он знает, по которому

добры люди на одном году с похоронами родителя не женятся, но что такая вот выка вышла с Манькиным отцом и мучительно это всё для всех. И для отца Манькиного — вдовствовать при стольких-то робятах, и для самих ребят, и для Маньки — на мучения эти глядеть. Один выход есть — место в доме для будущей хозяйки освободить, и потому такое решение девка приняла. И оттолкнуть её в этом нельзя, вроде как по живому ушибить выйдет, живой росток, быть может, загубить.

Слушал батюшка Гришкину исповедь, не перебивая его ничем, и до того истово, что сыздале можно было бы подумать, что неживой он — батюшка-то, а лишь чучело его, и перед ним Гришка душу изливает. Но батюшка был мудр, жизнь немалую пожил и выкрутасы её видел всякие, а потому слушал прихожанина своего со всем возможным вниманием. А как умолк тот, и сам задумался.

«Да ты говоришь, невеста сама тебе такое пожелание выказала?» — спросил он после долгой паузы.

«Так вышло, батюшка... — как бы извиняясь за Маню, начал Гришка, — она смирёна девка, только за татю своево шибко переживает да за ребят. В отчаяние впала, не от баловства это».

«Н-да-а-а, — протянул батюшка после услышанного. — История у тебя, сын мой, непростая. Однако же житейская. И помыслы твои, топерь гляжу, чисты. Когда, говоришь, родителя-то схоронили?»

«Зимусь. Только ишо декабрь-от в силу вошёл, и...»

«Ну да, ну да, — закивал поп, — помлю — знатно морозило, — и опять замолчал, погрузившись в свои раздумья, очевидно, переваривая и взвешивая на одному ему видимых весах совестливости и праведности Гришкину исповедь. — Мать-то што твоя про такую задумку говорит? — спросил он после паузы. — Аль не делился с матерью-то?»

«Как жо, батюшка, не делился! — воскликнул Гришка. — С ей-то первой как раз и поделился в тот жо вечер, как с Маней-то поговорили».

«И што она?»

«Да вот не перечила, — тяжело вздохнув, ответил Гришка. — Всплакнула маленько, но не перечила».

«Ну да, ну да, — согласился поп. — Конечно, какая жо мать своему сыну добра не пожелает?» — он опять замолчал, отягощённый думами и сомнениями, в поисках решения доверенной ему житейской ситуации.

«Мать не перечила, — думал он, — ишо бы: сын ведь, да и первенец! А с другой стороны, — продолжал размышлять святой отец, — она же примерная христианка. Весь век прожила в почитании Господа и супротив совести своей Гришкино решение не одобрила бы. Знать, оно того стоило, чтобы к нему так отнестись».

«Вот што я тебе скажу, сын мой, — начал он после долгого молчания, — оно, конечно, маловато времени минуло с той поры, как ты родителя своево схоронил, но одно Рождество всё же прошло. И помыслы твои благие... — он помолчал ещё немного, очевидно окончательно собираясь с мыслями, и подвёл итог: — А потому, сын мой, я не могу не высказать тебе своего одобрения. Благословение дать не могу — время не подошло — венчать вас тожо не могу, а вот одобрение выскажу, — и напоследок, уж совсем коротко: — Живите, коли всё уж так надумали. Живите на веру, себе и родне на благо. Родителя своего поминай и прощения на могиле у него испроси. Коли искренен ты в замыслах — прости. На то он и родитель. А год пройдёт, да коли всё благословесь, повенчаю я вас честь честью, коли к тому желание иметь будете».

«Да как жо, батюшка, не будем! Ведь не черви жо мы какие — без благословения-то жить! Не на день ведь собрались соходиться-то!»

«Ну, соходитесь, коли так, — уже трогаясь со своего места и давая тем понять, что разговор окончен, подытожил батюшка. И уж совсем располагаяще под конец: — И дай вам Бог добра и здоровья!»

– 3 –

Маня перешла в Гришкин дом на Пасху. К той поре уж почти что всё растаяло, и все дни Гришка с дядюшкой Ольгой опять трудились, торопясь по остаткам снега вывезти назём на полосы и грядки. На подворье вовсю копошились дядюшкины пацанята во главе с Алексанком и корили лес. Тут же и крепыши из антиповских домов. Как и обещал, Кузьма Егорович подослал своих, и, конечно, Вася Антипов тоже. Целыми днями с утра до вечера Гришкин дом напоминал проснувшийся после зимней спячки муравейник. Там и сям мелькали вихрастые головы сопящих мальчишек, старательно скоблящих налаженные для этого брёвна, промеж них, помогая отгрести снятую кору, галчатами галдели и сновали их стрелёнки, время от времени наваливая очередной воз на старые сани, как большие шмели гудели над детским разноголосьем Гришка с дядюшкой Ольгой. Чтобы, не дай Бог, не придавило никого из мальцов бревном,

тут же следила за ними и, по мере сил, руководила всем этим работворотом и Пелагея Антоновна. И так изо дня в день, в таких-то хлопотах и дожили до Пасхи.

Ещё когда Гришка проводил с Маниным отцом первый разговор о будущей женижке, Вася Антипов, опомнившись от потрясения, вызванного столь неожиданным поворотом событий, твёрдо заявил:

«Но до Пасхи чтоб и не думали! Уж коли решили так, соберемся за одним столом всей роднёй, и праздник справим да разговеемся, и Маньку честь честью отпустим. Раз уж нельзя в вашем доме, и под венец нельзя, то хоть у нас-то мы в доме проводины справим».

Гришка и согласился. А и чего бы не согласиться: всё здраво, всё по уму. Действительно, в ту пору Пост великий, а на Пасху и брюхо распустить можно. Порешили. И вот Пасха пришла. Весёлая, как и всегда, с качелями для детворы, с застольями после такого-то воздержания в пище, с песнями застольными и семейными и, слава Богу, с солнышком. Неярким в тот день, но уж тёплым и пригревающим. И всё бы хорошо, и всё бы ладно, да как в добрые времена, однако ж всё равно не могло веселье расколоться на полную волю. Словно бы его в большую бочку закатали и сверху крышкой прикрыли. Не совсем, конечно, закупорили, выход-то обозначили, но и придавили маленько-то. Чтобы не забывали люди — война.

А никто и не забывал. Первым делом всех, кого нету, вспомнили — а кого-то и помянули — а уж после и собственной душе расслабление дали. И бражка, опять же, для этого — первое дело. Особенно в антиповском дому. Людно набралось. И не свадьба вроде как, а ведь всё равно свадебное дело-то — Вася Антипов девку отдаёт. И почему бы тут не выпить? И почему бы не поговорить про жизнь людскую? И почему бы не понаставить молодых — а они ведь всё одно молодые, хоть и не венчаны, как ни крути. Да и самим же повеселиться хоть маленько, насколько приличие позволяет. Ну и выпивали — четыре ушата браги-то наварено было, ничего не осталось наутро; ну, и разговаривали — и сосед с соседкой, и все со всеми — и веселились. А уж напутствий... Сначала-то скромничали да ужимались, а как по третьей-то обнесли — тут все и поотпустили притужальники-то душевные! И наслушались Маня с Гришкой в тот вечер уж самых что ни на есть сердечных наказов да напутствий. И чтобы дом у них был полная чаша, и чтобы робят им Бог дал дюжину, и чтобы жалел Гришка свою Маню да берёт для жизни долгой, а она чтобы почитала мужа своего да убоялась и берегла честь семейную — словом, всё, как на настоящей свадьбе. Только без жениховой стороны: никого не было из Демидовых за столом, и в избе тоже не было, окромя Гришки самого, даже матери. Зато уж антиповская родня вся тут.

Лишь ближе к сумеркам только унялись да ношу елеподъёмную своих напутствий с молодых сняли, отпустив их из-за стола. Идите, мол, с Богом; у вас свой путь, а у нас свой. Мы, мол, тут ещё маленько посидим да поспрадуем. И ступили молодые на свою дорогу, первые шаги сделав рука об руку с невестиного крыльца под многочисленными взглядами антиповской родни. Да и соседей же. И разревелась Маня, аккурат как малое дитя! Как с последней-то ступенечки шагнула, да первый-то шаг по ровну сделала — тут и слёзы в два ручья! Да во всю-то голову, будто по покойнику. Поворотилась ко крылечку дома отчего и — бух на колени при всём честном народе да родителю в ноги поклон до земли!

«Татюшка, родимый! — только и выговорить сумела. Остальное — один рёв! Вася и сомлел. И так-то мягкий душой от природы, да ещё и выпил — не мене дочериного потоки-то из глаз полились! Токо что не в голос. Поднял он свою старшенькую с колен-то, да и ко груди своей, как парень девку. А та-то, та-то ещё пуще заревела, да и затряслась уж, как в припадке. — Татюшка! Татюшка!!» — только и слышать. А родитель гладит её по плечам да по спине, и слова вымолвить — нет сил. Только гладит. Жонки некоторые тоже не утерпели — закуксились — а которы-то и завсхипывали. Эдак-то и до страху недалёко. Кузьма Егорович выручил. Как всегда, степенно и вразумительно слово своё сказал:

«Ну, Маня, поревела, сколь положено, — и будя! В хороши руки, девка, попадаёшь, радоваться надо, а не реветь, — жонки и утихли как-то разом, одна Маня только ещё всхлипывала. А Кузьма Егорович и продолжил: — Гришка — парень хоть куда! И работной, и хозяйственной, и стать-то какая — а?! Ведь глянуть любо-дорого, хошь мужику, хошь бабе — молодец молодцом! И тебя, Маня, по всему видать, жалиёт! Так што ты, девка, не реви, а радуйся».

«Да я ничево, дядюшка, — всхлипывая, отозвалась на это Маня, — я понимаю всё, да только ведь родительский-то порог навек переступаю!»

«Ну, полно-ко ничево-то! — громко возразил Кузьма Егорович. — Не на чужую сторону идёшь, а во свою же деревню. К родителю хошь каждый день прибегай — никто ведь не поперечит. Верно, Гришка?»

«Знамо дело, — отозвался Демидов. — Недалёко и бегать, — и вдруг, уж, наверное,

почуяв, что и от него веское слово ждут, громко закончил: — Принародно заявляю, что никакого запрету для родительского посещения мною Мане учинено не будет. Сколь надо, столь пусть в отчет дому и будет».

Одобрительный гул прокатился среди собравшихся, окончательно снимая всеобщее напряжение. И уж как бы подтверждая это, вечернюю тишь прорезала остро-солёная шуточка:

«Но штобы и из мужниново дому надолго не убежала. А то мужик неприголубенный терпеть долго одиночество не будет! Тово и гляди, сам бы куда не побежал!»

Смех облегчающий и расслабляющий заплескался по антиповскому подворью, разливаясь по улице, завёртывая по заулкам, по другим дворам.

«Не робей, Манька! — подхватил кто-то их антиповской родни. — Все бабы так свою жизнь начинали, и ты не робей. Мы с тобой, ежели что».

«Иди, доченька, — проговорил отец. И, обращаясь уж к обоим, добавил: — Идите с Богом, робята! Совет вам да любовь!»

Маня качнулась было ещё раз в сторону отца при этих словах, и кто его знает, чем бы этот качёк кончился, но тут уж в дело вошёл Гришка. Он положил свою большую руку на хрупкое Манино плечо и властно остановил начавшееся движение. Подержал маленько так-то, как бы давая понять, кто есть кто, а после уж и притянул к себе. И приобнял. Пригрел малость под могучим плечом, понял, что почувала девка мужицкую силу, и уж вместо руки на плече ей локоть свой подвёл. Та и продела свою-то руку в предложенную опору, и пошли оба к дому Демидовых с миром и покоем. Только взглядами их Антиповы и проводили.

— 4 —

«Ну, што, жоних, чево дальше делать станёшь? — как всегда, с улыбочкой встретил Гришку рано поутру на другой день неунывающий дядюшка Олька. Гришка как-то нехотя поднял на него свой взгляд и ничего не ответил. — Чево набычился, племянничек? Али молодая жена худо пригрела?..»

«Льнишшо катить надо», — не глядя на него, неожиданно ответил Гришка.

«Чево-о-о-о?!» — от изумления лицо дядюшки вытянулось, как лошадиная морда, а сам он остался стоять с разведёнными руками, будто пугало.

«Льнишшо, говорю, катить надо!» — громче обычного повторил Гришка и бросил на родственника сердитый взгляд. Улыбку с лица дядюшки, будто крохи со стола тряпкой, стёрло.

«Да ты, Гришка, с ума-то не сошёл ли?» — уже однажды звучавшей фразой только в устах другого Демидова отозвался он.

«Не сошёл! — глухо, но твёрдо пробурчал Гришка. — Сказано — льнишшо катить надо».

«Да на кой оно те болись — льнишшо-то это в севогодний год?.. Аль ты пообносился весь? Аль лён у нас севогуда посеять негде?»

«Не во льне дело».

«А в чём жо товда, дозвошь спросить?»

«А то ты не знаешь, што льнишшом дело не кончается, — уже и с раздражением пояснил Гришка. — Полосы мне надо, полосы новые!»

«О, Господи! Да неуж тебе батьковых-то полос мало? Ведь кабы у тебя хозяйство уж бульшое было али робята по лавкам семеро сидело? Ведь ты жо только строиться собрался!»

«Будет! — опять уперев глаза в землю, угрюмо, но твёрдо заявил Гришка. — И хозяйство будет, и... — он вдруг как-то странно осекся на полуслове, помолчал сколько-то, но всё же прибавил: — И робята».

«Да кто ж тебе перечит-то в этом?! Имей ты скоко хошь их, но не всё жо сразу».

«Не всё, — согласился Гришка, — но полосы и покосы — перво дело!»

«Да што, тебе на год-другой-то батьковых не хватит, што ли, полос-то да покосов?»

«С батьковых пусть мама да робята кормятся, а мне свои надо заводить».

«Ну не в севогодний же год?»

«В севогодний!»

«Вот бычок упрямый! — градус кипения дядюшки Ольки подходил к пределу. — И в ково ты только ешь такой?! Ты понимаешь ли хоть, сколько лесу надо завалить, штоб чишшенье-то сделать?»

«Понимаю!»

«Да ведь ты порвесся, Гришка, с эдакой работой! Не семь жо в тебе жил!»

«Не порвусь!» — последнее слово Гришка сказал уж как-то очень угрюмо и набыченно, придав тем самым ему какую-то невиданную силу. И дядюшка сник. Развёл руками вместо готовых было возражений и промолвил обречённо:

«Ну, воля твоя, парень, — и добавил вопросительно: — Ковды зачнёшь-то?»

«Севодня!» — Гришка пошёл в садник выбирать себе топор.

А в эту самую пору в верхней избе их дома, предусмотрительно истопленной накануне Пелагеей Антоновной специально для молодых, безуспешно пыталась собраться с мыслями Маня Антипова. Она забилась под одеяло, укрывшись чуть ли не с головой, хоть и не было в том никакой нужды — в избе было достаточно тепло, — и мысли, одна беспокойнее другой, словно стая ночных бабочек о стекло, бились внутри её детской ещё головки беспокойно-ранящим роём. Вечером у них с Гришкой не получилось ничего...

Их встретила на пороге Гришкиного дома Пелагея Антоновна, им приветливо улыбались все Демидовы, они все вместе сели за стол поужинать, хотя и не имели к тому большой охоты, и всё в доме, вся атмосфера говорила о благожелательности к Мане и одобрении Гришкиного выбора... А потом Гришкина мать отвела их в верхнюю избу. И Маня с Гришкой остались одни. И вот тогда случилось нечто такое, чему теперь Маня никак не находила объяснений. Ей люб был Гришка, и она хотела выйти за него замуж; и вот это случилось... вот он рядом... вот он горячо обнял её, а с ней... а она... А она как бы словно окаменела! Или замёрзла. Оледенело всё в душе и в жилах! Застыло, омертвело, обезжизнело. Гришка гладит её, целует, а она — покойник покойником! — никакого ответа! Гришка и так к ней, и этак — а она хоть бы слово какое сказала!

И поник Гришка! Желанный её Гришка, по которому она ещё в двенадцать лет ревела и жалела, что он уезжает из дому. И вот поди ж ты: столько слёз выплакала, столько ночей прогрезила, а дождалась желанной минуточки — и как чужая да неживая! Так и осталась лежать, ровно статуя. И Гришка остался. Отступился и остался. Ладно, хоть ещё руку на плечо положил да хоть приобнял. А всё равно не отошло. Не отогрелось. Так и проспали, а больше сказать, пожалуй, пролежали до утра.

А утром боязно вставать. И как вставать? Гришка уж ушёл, мать придёт постель прибрать — чего подумает? Срам-то какой!.. Девка называется... В шестнадцать-то годов! Маня забилась ещё сильнее под одеяло при этой мысли, будто желая отгородиться тем самым от всего мира, и совсем уж по-дитячьи закрутилась в калачик. Кому сказать? С кем поделиться? Кто надоумит? «Эх, мамушка! — пробежала в сознании горькая мысль. — Вот кабы ты сейчас была жива... Я бы тебе всё-всё рассказала. Уж ты-то подсказала бы мне, как тут быть! Уж ты бы присоветовала...» Невольные слёзы и по маме, и по своему бедственному положению выкатились из Маниных глаз, и кто его знает, чем бы всё кончилось — может, и в голос разревелась бы — но состукало чего-то на мосту, и по лестнице, ведущей наверх, посышались осторожные шаги.

«Маня! — прозвучал за дверью тихий женский голос. «Мать! — промелькнуло в голове у девушки. — Это Гришкина мать». — Ты не спишь, Маня?» — открывая дверь, тихонько спросила Пелагея Антоновна.

«Не-е-е», — еле слышно даже для себя отозвалась Маня.

«Вставай, робя, да поди за стол, пока горячо. А я тут приберусь...»

«Ну, вот и всё! — тоскливо подумала Маня. — Сичас всё и откроется...»

В душе заныло, как от телесной боли, и мучительно сильно захотелось стать маленькой-маленькой девочкой, чтобы вернуться в неосторожно оставленный ею детский мир и не вылезать уж из него более никогда. Исправить ничего было нельзя. Ещё от матери Маня знала, что постель за молодыми после свадьбы прибирает свекровь, и пыталась перечить ей в этом — значит, навсегда вбить клин между собой и ею. И Маня не перечеила. Она покорно выбралась из-под одеяла и потянулась за одеждой. Пелагея Антоновна терпеливо ждала, не шевелясь, покуда невестка оденется и выйдет, и лишь после того, как за Маней закрылась дверь в избу, стала убирать постель.

«О, Господи всемогущий! Чево сичас будет?» — опять со страхом подумала Маня, спускаясь по крутым ступенькам. Странно-противоречивые чувства толклись в её груди и голове. С одной стороны, она вроде бы и не виновата ни в чём — не от неё одной ведь всё зависело, и Гришка в её девичьей судьбе был первым парнем — а с другой? А с другой, точило душу какое-то сомнение и беспокойство. Ведь не Гришка же посватался-то к ней, а вроде как она ко Гришке. Часто ли такое-то бывает? Да в эдаком-то Гришкином положении... И вроде бы как он и воспротивился да обождать просил, чтобы честь честью всё, а она, выходит, настояла. И хоть не настаивала на словах-то, а в душе-то, в душе-то ведь было нетерпение. И вот как теперь? Ведь Бог-то — он всё видит и воздаёт всем по делам каждого. Опять страх заледенит тело девушки при этой мысли, и уж совсем ужасная появилась вслед за этой думка: «А ну как да ничево у нас и не получится за пригрешение-то?»

Маня аж остановилась на тёмном мосту и прислушалась. В груди гулко колотилось сердце, за стеной во дворе возилась корова, и никаких более звуков в доме. «Господи всемогущий! — опять мысленно взмолилась девушка. — Прости ты мене неразумной пригрешение моё! Ведь не по злему же умыслу, а из жалости задумала и сделала я это. Будь милосерден, Боже всемилостивый, и не осуди строго». На душе полегчало, гулкие

удары в груди мало-помалу стали затихать, и Маня, успокоившись, пошарила по стене и двери в поисках скобы.

За столом в избе сидели трое: Алексанко и Нюрка с Агашкой. Посередь стола стоял большой чугунок с картошкой, и ребягня, обжигаясь от клубящегося ещё пара, время от времени выхватывала из него аппетитно пахнущие клубни. Тут же рядом было широкое блюдо с солёными груздями и лежал открытый рыбный пирог. Маня покрутила головой во все стороны — так и есть: Гришки уже нету. Завидя её, Нюрка с Агашкой засмутились, соскочили и ходко убежали за заборку. Один Алексанко ничем не выказал особицу момента и на правах старшего степенно произнёс:

«Садись, Маня, с нами картовь ись, пока горячо».

Девушка молча кивнула и повернулась к рукомойнику. Нюрка да Агашка той порой прохихикались и с любопытством высунулись из своего укрытия.

«Ну, вы, поскакухи, — сердито прикрикнул на них Алексанко, — живо за стол! Тово и гляди — всё выстынёт. Нюрка, рукотетник Мане дай да покажи, куды повесить, — строгий тон старшего брата подействовал на девчушек магически, и они безропотно повиновались. В руках у старшей появилось чистое льняное полотенце, которое Маня с благодарностью приняла и, тут же наскоро вытершись им, подседа к столу. — Садись ближе, — предложил Алексанко, одновременно пододвигая к ней и блюдо, и пирог, — ловчая доставать-то будет».

Маня пододвинулась к середке и, глядя на своих новых родственников, запустила руку в парящий чугунок. Картошина попалась большая, с лопнувшей кожурой и при нажиме чуть не развалилась прямо в руках девушки. Маня торопливо положила её на стол и, обжигаясь, облупила дочиста. Сыпнула немного крупной соли и, широко раскрыв рот, откусила дымящийся от пара кусок.

«А-а-а, а-а-а, а-а-а», — как и все, несколько раз, обжигаясь, коротко выдохнула горячий воздух и отломала кусок рыбника. Рядом с ней ту же нехитрую трапезу совершали такие же дети, какой, по сути, была ещё и она, и мало-помалу девушка успокоилась совсем. Всё более и более осваиваясь, Гришкины сестрёнки уже не прыскали в свои кулачки, как поначалу, а улыбались Мане вполне открыто и располагающе, глядя прямо на неё. Они уже порядочно поели, и Нюрка с Агашкой уж завьползали из-за стола снова, когда в избе появилась их мать. Она молча прошла к печи, ни на кого особо не взглянув, и, развернувшись, поставила на стол кринку топлёного молока.

«Девки, пейте! — коротко сопроводила она своё действие и опять молча повернулась за чашками. И снова Маню охватило беспокойство. Она низко опустила голову и тихо стала доедать свой кусок. Нюрка с Агашкой, наскоро отпив молока, убежали на улицу, а Алексанка мать отправила наколоть дров. Тот тоже вышел из избы, и Маня с Пелагеей Антоновной остались одни. «Ну, всё, — опять с тревогой подумала девушка, — сичас чево-то будет». Она вся внутренне поджалась в ожидании неприятного, но ничего не происходило. Пелагея Антоновна молча обряжалась, Маня не знала, куда себя девать. — Ты чево наохлаилась, Маня?» — вдруг спросила Гришкина мать, и девушка вздрогнула от неожиданного вопроса.

«Да... так», — неопределённо пожалала плечами, всё ещё не сходя с места.

«Али нездоровится тебе?» — Пелагея Антоновна повернулась лицом к невестке, и Маня вдруг отчётливо ощутила на себе её внимательный беспокойный взгляд.

«Да нет, слава Богу...» — она не нашлась, что ответить, а Пелагея Антоновна ещё несколько мгновений стояла без движения в ожидании. Тишина давила, пауза уже растянулась, а Маня всё никак ничего не могла сказать.

«Да ты никак маешься чем-то? — Пелагея Антоновна подняла передник и, на ходу вытирая об него руки, пошла к лавке, на которой сидела невестка. — Што, с Гришкой ничево не получилось? — добавила она тихо, садясь рядом с девушкой. Маня вздрогнула как от удара при этих словах, и опытная женщина сразу поняла, что попала в точку. В момент порозовевшие невесткины уши и столь же красноречивое её молчание немедленно подтвердили эту догадку. Пелагея Антоновна помолчала ещё некоторое время, очевидно собираясь с мыслями, и вдруг совершенно неожиданно для всё ещё томящейся от беспокойства Мани проговорила: — Ты из-за этово, девка, не убивайся, — рука её легла на худенькое ещё девичье плечо, и Маня опять вздрогнула. — Это у нашово брата — девок — запроход бывает. Не ты перва, не ты и последня. А вот ежели убиваться станешь понапрасну — так и до беды нидалёко».

Как будто задвижка какая открылась в Маниной душе, и все мучавшие её страхи и сомнения хлынули облегчающим потоком вон. Она порывисто ткнулась головой в колени Пелагеи Антоновны, одновременно обхватив их руками, и дала волю слезам. Её плечи крупно завздрагивали от прорывавшихся рыданий, а Гришкина мать только гладила их тёплыми руками, не говоря уж ничего, чтобы не помешать.

«Я ведь не гулящая, тётя Поля... я ведь ни с кем до Гришки... ты не подумай ничево», — вдруг, резко оборвав уж затихающие всхлипы и подняв голову лицом к лицу с

Пелагеей Антоновной, горячо выдохнула она.

«Полно-ко ты, девка, ничево-то! — успокаивающе погладила её по голове Гришкина мать. — Да кабы я тебя не знала. Да кабы я тебя не видела кажин день да твою жизнь не примечала... Разе бы я Гришке свое согласие да благословение дала? — Пелагея Антоновна подняла передник и провела им по мокрым Маниным глазам. Девушка не противилась её движению, лишь старалась переварить в душе услышанное. — Я ведь уж давно тебя примитила-то, — продолжала Пелагея Антоновна. — Летось ишо подумала: вот кому-то хороша хозяйка в дому будёт! Ишо и Гришки-то в ту пору в дому не было. Я и не думала товды, што эдак дело повернетча, — она помолчала мгновение, окончательно промокая Манины глаза, и продолжила уж совсем неожиданно: — А то, што про меж вами ничево вечор не вышло — ето дело житейско. Ты ишо молодинька, не избалована — немудрено, — Маня замерла, боясь пропустить хоть слово, ибо Пелагея Антоновна очень напомнила ей в эту пору мать, её родную мамушку-покойницу. — В жизни ето, конешно дело, много от парня зависит, — как ни в чём не бывало, продолжала Пелагея Антоновна, — но ежели парень девку настояшшо жалиёт, он никовды своево попере́к её воли добиватьча не станёт. Хотя пусь девка и покорна быть должна в ту пору — а не станёт. Дождетча своево, штобы обем им в радость было! Ежели, конешно дело, ждять не довидетча шибко долго. И ето тожо в жизни не в диковинку — выдають-то ведь, сама знаёшь, другой раз и против девкиной-то воли. Вот жизни-то с тово впроход и нету. И хозяйство, можот, есть, и дом в достатке, и ребята... а жизни-то и нет — одно мученье».

Маня опять опустила свою голову к коленям Гришкиной матери, но уж не порывисто, как поначалу, а медленно положила щекой на подол и снова обхватила колени Пелагеи Антоновны руками.

«А у вас-то с Гришкой, погляжу я, вроде бы иначе, — немного раздумчиво, даже мечтательно заговорила Пелагея Антоновна, легонько поглаживая Маню по спине. — Мне Гришка зимусь так и сказал, што ты ему люба, ковды вы с им-то меж собой разговорились. Сказал да и повинился и передо мной, и перед памятью отцовой, што он едако задумал — на одном году с похоронами ожонитча. Мне, говорит, мамушка, Маня люба, но я бы и обождать готов, штобы честь честью всё. И ей, говорит — тебе то исть — эдак жо сказал, и ты, мол, ето приняла и не перечила, да только шибко всё в груди заныло, говорит, и белый свет немилым сделался. Почудилось, говрит, што насовсем уходишь ты-то. И весь век, говрит, ие мне потом не догонить! Всё он мне, девка, обсказал в тоттам-то день и повинился как на исповеди — я и благословила ево, — Пелагея Антоновна замолчала, видимо переживая заново всё происшедшее, и Маня почувствовала, как тёплая волна нежности и благодарности к этой чужой ещё, в общем-то, женщине до самых последних уголков заполняет её сердце. — Так што, Манюшка, все твои страхи девичьи пустые, — продолжала Пелагея Антоновна после паузы. — Вся ты тут на виду, и ништо про тебя во всей деревне худово слова не скажот, — опять замолчала пожилая женщина, отделяя одну главную мысль от другой, и уж чтобы совсем развеять всякие чёрные мысли у невестки, добавила в заключение: — И ишо тебе, девка, скажу: в нашем дому тебя ништо не пообидит. Гришка тебя взял по доброй твоей воле, и мы евонну сторону приняли. Так што ты топеря мне как дочи будёшь!»

Как будто кто толкнул Маню при этих последних словах. Вернее, даже не саму её, а больше руки. Она как в судороге развела их в обе стороны, отняв от коленей Пелагеи Антоновны, и столь же судорожным движением обняла её за талию. Как лежала головой на её коленях, так и обхватила, не поднимаясь, только головой уж к животу пожилой женщины прижалась. И побежали опять из глаз её крупные слёзоньки и от воспоминаний о родимой мамушке, безвременно ушедшей в мир иной, и от благодарности уже к этой доброй женщине, по сути дела мать ей заменившей, вмиг оросив цветастый передник Пелагеи Антоновны. Но уж без рыданий побежали, без отчаяния, а только из жалости да признательности. Подбежали-подбежали, и следом им тихое, еле различимое, но всё-таки услышанное — «мамушка!» — проструилось в тишине присмирившей демидовской избы.

«Жалиёт! Жалиёт! Значит, он меня настояшшо жалиёт! Значит, весь свет белый без меня ему не мил бы! — весь день потом роились в юной девичьей головке слова Гришкиной матери, будоража, опьяняя, одурманивая потаённым смыслом. — Гришенька! Милый мой Гришенька! Любый мой!!..» И горячее нетерпеливое тепло в ответ разливалось по жилам, уж совсем туманя рассудок.

А на сутемёнках встретила своего Гришку у поскотины. Вышла на угор да и стояла в улке, всматриваясь в даль, покуда Гришка не показался. А показался — чуть не рванулась ему навстречу — до того хотелось скорее, но сдержалась-таки и дождалась, покуда Гришка на угор не вызялся. А уж как вызялся-то — тут и объявилась. Подошла к нему — да что подошла, чуть не подскочила! — и прильнула, жарко обхватив, благо, что и не было-то никого вокруг. Гришка и оторопел! Весь день промучался в сомне-

ниях за вчерашнее — «пошто да отчево» — да так и не нашёл причины, а тут — нате вам! И хоть уставший да измученный за целый день работой, а как почуял истовое-то тепло — как и не робил. Огонь по жилам — вот что искренняя ласка-то девичья вытворяет! Так в обнимку до дому-то и дошли. Да еле оба до ужина дожили и урочного часа, когда всем в ночлег! А уж как остались-то одни в своей светёлке наверху, да как обняла Маня суженого своего жаркими руками да прижалась к нему каждой клеточкой тела своего, Гришку и взорвало...

Уж потом, когда затихли оба в сладкой истоме и приумолк в груди гулкой стук растревоженного сердца, не утерпела Маня и поделилась своим страхом за вчерашнее.

«Я-то думала, што ты всё знаёшь да умиёшь, как да чево... — обнажённо откровенничала она, — звон сколько к тебе девок-то липлялось».

«То — девки...» — как-то недоговоренно отозвался Гришка.

«А я-то што, разве не девка?» — с нотками обиды возразила Маня. Вместо ответа Гришка поворотился со спины к ней на бок и лучше всякого, даже самого тёплого, одела укутал её в свои сильные объятия. Затихла Маня, как воробышек под застрехой, уткнувшись в Гришкино плечо, и растаяла в её душе мелькнувшая было обида тонкой льдинкой.

«То девки, — повторил уже сказанное Гришка. — С има можно было как хошь: не любо — дак и поди! А запростаёт, дак и отвадить недолго. А ты — жена моя теперь! Хоть и не венчанная, а желанная! И как попало-то с тобой — уж не пристало!»

Ох и сладко запынела голова от этих слов! Потянулось ещё сильнее юное девичье тело, и без того-то тесно прижавшееся ко Гришке, навстречу сильному надёжному теплу, и уж сами собой в который раз прошептали губы знакомое и в то же время ровно бы впервые сказанное:

«Гришенька! Милый мой Гришенька!! Любый мой!.. Любый!..»

Глава шестнадцатая

— 1 —

Нисколько не досталось Ваське осмотреться в новом месте. Хоть и не новом совсем-то, правда, но всё же не до конца знакомом. Только и успел, что взглядом да приветствием с Анхен обменяться, а мать её уж тут как тут. Позвала к себе дочь и долго что-то ей говорила, время от времени показывая то на Ваську, то куда-то вдаль. Что именно она наказывала — этого Васька не разобрал, но по тому, как Анхен согласнo кивала головой, понял: разговор о деле. Да и о чём бы он ещё мог быть, ежели его привезли сюда как работника, а лучше Анхен объяснить ему, что надо было делать, не сумел бы никто.

Они пошли вдвоём с юной немкой куда-то мимо её дома, как только закончился разговор, и Васька догадался, что ему сейчас покажут, в чём его задача. Но встреча с Анхен была для него так желанна, солнышко светило так ласково, а сама Анхен была так прекрасна, что никакое предстоящее дело Ваську не пугало. Он был готов делать любое, лишь бы его не увозили с этого хутора и дали возможность хоть по несколько минут в день общаться с юной немкой.

Они вышли за усадьбу и какое-то время шли по неширокой дороге, обсаженной деревьями. Анхен всё время молчала и шла, наклонив голову, будто дорога эта была — сплошные ухабы, и нужно было выбирать куда поставить ногу. Васька тоже молчал, не зная, что сказать, и тоже пялился себе под ноги. Время от времени он поглядывал искоса на свою спутницу, любуясь её профилем, но девушка не отвечала на это никак, и они так и не сказали друг другу ничего.

Некоторое время спустя дорога вывела их в поле, окаймлённое по низине начинавшими зеленеть уже кустами, и Анхен, наконец, заговорила. В её монологе было много новых для Васьки слов, но, имея постоянную практику в разговоре с германцами ещё в лагере, Власов без особого труда понял, что это поле — часть земли привезшей его фрау, которую ему надлежит теперь вспахать. Он прошёлся от кромки вглубь, осматриваясь и прикидывая что-то для себя. В нескольких местах нагнулся и, взяв в руки горсть земли, помял её пальцами. Почва была уже хорошо просохшей, и даже в тех местах, где её закрывали пучки травы, не имела никакого переизбытка влаги. Васька повернул голову по сторонам и заметил неподалёку молодую берёзовую рощу. Нежно-зелёная вуаль только что проклюнувшейся листвы, покрывавшая её, заметна была даже на расстоянии, и Власов вспомнил, как ещё дед его говаривал, наставляя маленького внука: «Покуда солнышко через берёзу видко — сиять ишо можно, а уж как не увидишь — токо симё зря переведёшь!» По всему видать, сроки для пахоты и сева были уже крайние.

Васька вернулся к Анхен, и они опять встретились взглядами. Оба улыбнулись

счастливо от этого, и Анхен снова опустила голову, пряча и глаза, и тихую эту улыбку.

«Ну, а инструмент... — начал Васька, — инвентарь... где?»

Он специально вернул в разговор слышанное где-то казённое слово — инвентарь — надеясь, что Анхен лучше поймёт его, но ошибся. Улыбка исчезла с уст девушки, глаза поднялись навстречу Ваське, и прежде чем она успела открыть рот, Власов именно в этих глазах прочитал её вопрос:

«Was? Was sagst du, Васья?»

Он хотел было что-то сказать ей ещё, начал уже подбирать в уме подходящие слова, но вдруг передумал и решительно протянул ей руку:

«Komm!»

Она помедлила несколько мгновений, разглядывая широкую мужскую ладонь, как если бы видела подобное первый раз в жизни, но потом осторожно доверила ей свои маленькие изящные пальчики.

О, господи! Ну, что, казалось бы, особенного — парень девку взял за руку? Да сотни, тыщи раз на дню такое происходит во всём мире — эка невидаль! Но Анхен... но для Анхен... для маленькой впечатлительной Анхен это событие показалось самым значимым и сильным из всего, что произошло в подлунном мире за всю историю его существования! От рождества Христова и задолго до него. Больше чем восход солнца, больше чем тепло и ласка матери, больше чем приход весны — больше всего даже самого прекрасного и ужасного, что только есть и может быть на свете! Ибо это был её мир, это случилось в её мире, где только ей одной принадлежащее имеет значение и смысл! И цену тоже. Каждому событию свою. А этому, простейшему и обыденному с виду — обычное рукопожатие — высшую! Потому что желанному! И хотелось идти вот так, с соединёнными руками, бесконечно. Куда глаза глядят, или вообще закрыв глаза, доверившись только вот ей — этой сильной и немного шершавой мужской руке. Идти всю жизнь, не думая ни о чём и почитая это за высшее счастье и высшее блаженство!

И Анхен шла. Шла, снова низко опустив голову, будто внимательно разглядывая всё, что было под ногами, а на самом деле, ничего не видя и не слыша. Всё её существо съежилось в тот момент в одну маленькую нежную ладошку, утонувшую в грубоватой мужской руке и полной мерой впитывающую в себя невидимое волнующее тепло и силу. На губах Анхен блуждала счастливая улыбка, то озаряя её милое личико, то повергая его в раздумья и смятение. Нежные щёчки её то вспыхивали неожиданным румянцем, то бледнели, как первый снег — в её мире произошло полное и настоящее миротрясение!

Они так же не сказали друг другу ни слова за весь обратный путь, но вместе с тем тепло их ладоней, соединённых вместе, передаваемое от одного к другому, сказало так много, что им и не требовалось никаких слов.

А в усадьбе их уже дожидалась фрау Марта. Она стояла у входа в дом и, когда Васька с Анхен подошли совсем близко, коротко произнесла:

«Komm! Essen!»

«Nein! — поняв её, запротестовал Васька. — Danke».

И снова задал Анхен вопрос про инвентарь, но уже подбирая германские слова. Фрау Марта, услышав это, тоже быстро догадалась, чего хочет русский, и проворно исчезла в доме. Судя по этой быстроте и готовности, с которой она вынесла связку ключей, Власов понял, что старой немке понравилась его хозяйственность и желание сначала осмотреть то, что будет у него в распоряжении, и лишь потом идти за стол. Все троём они зашли за угол, и Васькиным глазам открылось приземистое кирпичное строение. Фрау Марта легко открыла замок и растворила широкую двустворчатую дверь, которую, по Васькиным представлениям, правильнее было бы назвать воротами.

«Bitte!» — широким приглашающим жестом прочертила она полукруг рукой перед Васькой и даже слегка улыбнулась при этом.

Власов осторожно шагнул внутрь и чуть не ахнул. Перед его глазами предстало такое изобилие всякого инвентаря и хозяйственной утвари, что его трудно было даже вообразить! Тут был и плуг — даже два — и бороны, и небольшая сеялка, и простые заступы с граблями, и масса всяких других приспособлений и агрегатов, о назначении которых Васька даже и не догадывался. «Ну, ничего себе! — мелькнуло в его голове. — Такого-то во всей деревне нашей нет ни у ково! Да и не снилось-то, пожалуй, даже!» Он осторожно потрогал лемех плуга, густо смазанный каким-то жиром и не имеющий никаких признаков ржавчины, заглянул внутрь сеялки, где не отыскалось ни единого прошлогоднего зёрнышка, и не заметил сам, как изумлённо покачал при этом головой. «Ну, надо же! — снова восхищённо подумал он. — Как на картинке всё!»

От внимания фрау Марты не ускользнули, очевидно, восторг и смятение на Васькином лице, она снова чуть заметно улыбнулась, явно довольная произведённым впе-

чатлением, и немного отшагнула в сторону, как бы давая понять, что доверяет это всё своему новому работнику и надеется, что он ничего тут не испортит. Васька не преминул воспользоваться предоставленной возможностью и, конечно же, полез осматривать незнакомые ему агрегаты, пытаясь разобраться в их предназначении. Долго щупал руками большие диковинные колёса с острыми широкими зубьями, насаженные на одну длинную ось, очень смутно догадываясь при этом, для чего они нужны, сунул нос в большую железную банку, с ходу поняв, что именно в ней хранится запас того самого жира, которым было смазано тут всё металлическое, даже не утерпел и покрутил длинную ручку на агрегате, похожем на большой деревянный ящик! Всё было просто в идеальном состоянии! Как если бы тут постоянно хлопотали умелые руки и приглядывал за всем заботливый хозяйский глаз. «Ну, надо же! — не переставал удивляться и восхищаться он. — И што ж тут за хозяин такой особенный живёт, что у ево такой порядок?!» И вовсе невдомёк уж было Власову, что нет в этом доме постоянного хозяина. Что тот, который был тут, умер несколько лет назад, и всё держится на фрау Марте, которая хоть и ведёт всё в идеальном состоянии, постоянно требует его от нанимаемых работников, но бесконечно тяготеет к этому неженским делом.

Обе немки — и старая, и молодая — терпеливо наблюдали за всем, что делает в их владениях русский, и не проронили при этом ни слова. Даже когда он лез носом в банку с неведомым жиром! Даже когда крутил ручку неизвестного ему агрегата! Видно было по всему, что дом их очень нуждается в хозяйских руках и что руки, которые сейчас всё тут тщательно и любопытно ощупывали, их вполне устраивают.

Наконец, Васька удовлетворил своё неуёмное любопытство... Он медленно, словно нехотя, вышел из осмотренного помещения, встретился с вопросительно направленными на него глазами хозяек и, не желая выказывать пережитое потрясение от знакомства с таким хозяйством, коротко и сухо произнёс:

«Gut!»

— 2 —

Нет, фрау Марта не была белоручкой. Выросшая в работающей семье, она и сама хорошо знала крестьянское ремесло, и детей своих тоже растила не в праздности. Хоть и вынуждена была она каждый год нанимать себе работников для сезонных и других хозяйственных работ, но делала это вынужденно, потому что сын, занятый службой, бывал редким гостем в доме, а других мужчин в ближайшем окружении фрау Марты не было. Это Васька понял сразу, как только они все втроем, второй уж раз за день, оказались в знакомом поле. Сразу по прибытии на место фрау Марта стала энергично показывать, как именно, по её мнению, нужно вспахать это поле, на какую глубину и в каком направлении борозд. С полным знанием дела и уверенностью стала объяснять, что и где лучше посеять или потом посадить, а когда Васька запряг коня в плуг, готова была во всём ему помогать. Но Власов снова остановил её, тихо, но вместе с тем и твёрдо, произнеся протестующее «nein!» В подтверждение своего понимания задачи и знаний в предложенной работе, он взялся за рукоятки плуга и понукнул коня. Тот, почуввав твёрдую мужскую руку, покорно повиновался, и очень скоро широкое пустынное поле прочертила длинная жирная полоса. Фрау Марта придирчиво прошлась вдоль неё, проверяя качество вспашки, и, убедившись, что оно совпадает с её желаниями, несколько успокоилась. Русский, несмотря на молодость и маленький рост, был явно не новичок в крестьянском деле и нравился ей всё больше и больше.

А Васька, между тем, просто млеет от хоть и трудной, но такой желанной в этот миг крестьянской работы! Очень скоро широкое поле прочертила вторая борозда, третья... пятая... и шаг за шагом остро пахнущая полоса свежевспаханной земли стала шириться всё больше и больше. Старая немка внимательно наблюдала за работой и с каждой новой бороздой всё больше удивлялась, как этот маленький и неказистый с виду русский ловко управляется с конём и плугом. С конём, правда, получилось не сразу; не привыкшее к чужому голосу животное, нет-нет, да и выбивалось из борозды, нарушая её прямоту, и фрау Марта попыталась было вести лошадь в поводу. Так иногда делали в её семье, она это видывала за свою жизнь и смогла бы, но Васька снова остановил её всё тем же протестующим «nein!» и, намекая на почтенный возраст, отправил на обочину поля. И тогда фрау Марта отрядила в помощь работнику свою дочь. Власов и этому хотел было воспротивиться — уж очень юная немка казалась неподходящей для столь грубой работы — но на сей раз запротестовала уже Анхен и решительно взяла лошадь за уздечку. И Васька сдался. В конце концов, ведь он и сам этого хотел, чтобы Анхен осталась с ним в поле и он мог бы просто быть с ней рядом, видеть её, слышать её. Хотела и Анхен: пусть хоть какую угодно работу, но лишь бы с этим голубоглазым парнем, и они стали пахать на пару.

Ваське теперь отпала надобность дёргать поводья и понукать коня; эту работу — управление лошадьё — делала теперь Анхен, и он полностью сосредоточился на каче-

стве вспашки. Высвобожденные руки держали плуг уверенно и твёрдо, борозды ложились ровно и прямо, и вспаханная полоса ширилась прямо на глазах. Вездесущие грачи и ещё какие-то мелкие птицы довольно скоро слетелись на свежую пашню поживиться червячком, и вся обстановка теперь уже ничем не отличалась от родной — уйдомской.

«Тпру-у-у-у-у! — протяжно выдохнул он какое-то время спустя. — Передохнём малость, — он подошёл к голове лошади и первым делом одобрительно и ласково потрепал её по влажной шее, выражая тем самым похвалу за прилежную работу. — А ты молодец! — повернулся после этого к Анхен и, совсем как простой уйдомской сверстнице, высказал привычную для такого случая похвалу и ей. — Я не думал, что у тебя так хорошо получится!»

Немка испуганно округлила на него глаза, коротко чирикнула:

— «Was?» — и Васька, спохватившись, стал подбирать подходящие к случаю германские слова из тех, которые знал. Но ни одного мало-мальски равного привычному русскому слову «молодец!» он не нашёл и, немного посоображав, выразился как смог: «Du bist sehr gutter hilfer, Анхен!» — и широко ласково улыбнулся в довесок.

Девушка расцвела яркой, по-детски доверчивой улыбкой, услышав, что она хороший помощник в столь трудном деле, и что-то быстро-быстро защебетала в привычном для себя темпе. Из всего сказанного ею Васька понял только то, что она рада такой его оценке и готова помогать ему хоть целые дни без перерыва. Но она была так мала, так хрупка и нежна с виду, что удивительным казалось, как её ещё не унесло каким-нибудь порывом ветра, словно шаловливого мотылька, или не затоптало конём! Глядя на её стройненькую ладную фигурку, Васька испытал вдруг такой прилив нежности, что, сам того не ожидая, порывисто взял её маленькие кулачки-ручки, спрятал в больших своих ладонях, словно неокрепшего ещё птенчика, и прижал к своему разгоряченному трудной работой лицу. Анхен напряженно затихла, словно приготовившись к удару, и Власов, завершая обуявший его порыв, протяжным страстным шепотом, будто отогревая этого озябшего птенчика, выдохнул в маленькие ладошки:

«Анхен!..» — со всей нежностью, на которую только был способен! И, уже когда сделал это, оглянувшись, опомнившись, по сторонам в поисках мрачной фигуры в чёрном. Но фрау Марты нигде не было видно, и молодые люди, убедившись в этом, звонко и счастливо рассмеялись.

А потом они снова на пару пахали, и маленькая Анхен, проворно переставляя свои изящные ножки, всё так же настойчиво водила в поводу коня. И снова отдыхали, давая передышку и животному, и себе. И опять улыбались друг другу, о чём-то беззаботно-счастливо переговариваясь.

А потом появилась фрау Марта. Она оглядела хозяйским взглядом сделанное за время её отсутствия и удовлетворённо заключила:

«Gut! Mittagessen! — и, повернувшись к Ваське, выразительно позвала его за собой: — Komm!»

«Ишо чево?! — громко возмутился Васька. — Где это видано, штоб с поля на обед домой ходить? Скоко время-то впустую ухлопашь!»

Он высказал эту мысль как само собой разумеющуюся, глубоко привычную его крестьянской натуре. Высказал решительно, даже резковато, совсем позабыв, что его слушательницы — немки. И лишь перехватив их испуганно-недоумённые взгляды, спохватился и, подбавляя германские слова, стал объяснять, что в его родной русской деревне так не принято — ходить с поля, не закончив работы. Что всякие перерывы и обеды возможны лишь тут же, рядом с полем, чтобы не терять время и не расхлябывать себя. Фрау Марта поняла его не сразу, но Анхен быстро пояснила матери, что имеет в виду этот русский парень, и фрау Марта даже немного улыбнулась, услышав, в чём дело. Она была явно удивлена и даже поражена тем прилежанием к работе, которое проявляет этот странный русский, и потому, поднявшись, заспешила домой. Очень скоро она вернулась к полю опять и, дождавшись, когда Васька и её дочь снова сделают перерыв в работе, развернула на небольшой дощечке, прихваченной из дому, походную снедь прямо у обочины дороги.

«Essen, bitte!» — гораздо мягче, нежели в первый раз, предложила она Власову и, подавая пример, первая взяла кусок хлеба.

«О, нет! — на сей раз по-русски возразил Васька. — Первое дело — коню надо корм задать, а уж потом себе, — он подошёл к повозке, на которой они приехали в поле, и достал из неё довольно широкую долблённую посудину навроде корыта, сыпанул в неё добрую меру овса и, лишь отнеся всё это четвероногому помощнику, подошёл к разложенной на дощечке пище. — Ну, вот теперь можно и самому».

Васька не был по своей натуре ухарем и в другой обстановке, может бы, и постеснялся так-то спроста повести себя в разговоре со старым человеком, но столь желанная душе крестьянская работа да привычная глазу обстановка так разбередили её, эту самую душу, что Власов, сам того не замечая и не ожидая от себя, верховодил у поля,

как у себя дома, всё более и более входя в эту роль хозяина.

Они закончили работу уже перед закатом солнца. Конечно, можно было бы поработать и ещё — и силы ещё были, и светло — но Ваське было очень жалко маленькую Анхен, которая, несмотря на заметную уже со стороны усталость, мужественно старалась не подавать и вида её. Надо было пожалеть и коня — вся пахота и сев были ещё впереди — да и сам, в конце-то концов, не железный, хоть и по привычке к тяжёлым нагрузкам, работая с Гаврилой в кузнице.

Ужинали они все вместе в уютной просторной комнате, которая, наверно, служила хозяевам столовой, когда дом их был полон людей. Поначалу фрау Марта ещё сомневалась, как ей правильно поступить — не поставить ли русскому ужин отдельно — но, встретив молчаливый укоризненный взгляд дочери, сдалась уже во второй (а может, и в третий или четвёртый...) раз за день. После ужина Васька, не дожидаясь команды, пошёл проведать коня, а хозяйки стали готовиться ко сну. Власову отведена была небольшая, но вполне приличная комната, где иногда жила наняемая в дом прислуга, и он, вернувшись со двора, без долгих рассуждений полез в постель.

Совсем другое дело Анхен. Она, конечно, сильно устала за день от непривычно большой и трудной работы, но эмоциональное возбуждение, переполнявшее её, не давало ей уснуть. «Как было бы хорошо, если бы сейчас можно было куда-то побежать, встретить подружек, сверстников... Счастливо смеяться в разговоре с ними и поделиться всем-всем-всем, что случилось за день! — думала Анхен. — А ведь случилось так много...» Но рядом была только уставшая пожилая мать, и Анхен ничего не оставалось делать, как нарушить её уединение. Она залезла к ней под одеяло, обвила её зади, как бывало в детстве, за шею маленькими ручками и тихо мечтательно прошептала:

«А правда, мама, наш Вася хороший, — слышанное уже словосочетание «наш Вася» снова неприятно резануло слух фрау Марты, и она недовольно поморщилась, ничего не сказав в ответ. — Ну, что ты молчишь, мама? — не унималась дочь. — Разве я не права? Ведь он же хороший».

«Хороший, — после небольшой паузы согласилась фрау Марта. — Хороший работник. Ты говоришь о нём так, будто он наш близкий родственник или друг, а он — русский пленный! Он — чужой солдат, и он пришёл на нашу землю воевать!»

Сильно прозвучал последний аргумент в устах матери и заметно поумерил восторженный пыл у дочери, но лишь поумерил. Она помолчала некоторое время и вдруг, будто снарядами из тяжёлых орудий, забросала мать необоримыми аргументами:

«Тогда скажи мне, мама, почему он пашет поле как своё собственное? Скажи: почему он даже не пошёл обедать в дом, хотя мы всегда так делали и позвали его, а остался там, на пашне, чтобы не терять время? Почему он пошёл перед сном проверить лошадь, хотя его никто об этом не просил? Почему, наконец, не разрешил тебе помочь ему, понимая, что это трудно, и разрешил это же мне лишь потому, что я настоящая? Почему? Почему? Почему?»

И фрау Марта выбросила белый флаг, сдавшись в очередной за минувший день раз и, возможно, самый главный. Она повернулась к своей дочери лицом, прижала её голову к своей груди и тихо, ласково погладила её по волосам.

«Хороший, — произнесла она после длинной паузы. — Он действительно хороший человек, но он русский пленный, и я этого боюсь».

«Но почему? — горячо воскликнула дочь. — Разве он может сделать нам что-нибудь плохое? Разве он будет стрелять в нас, если даже дать ему оружие? Разве не мы с тобой спасли его от смерти?»

Ничего не сказала ей фрау Марта на это, да и что она могла сказать? Объяснить, что означает это её «боюсь»? Что она боится, как бы её дочь не влюбилась в этого русского, хотя, кажется, это и так уже произошло, и теперь уже фрау Марта боится последствий этого происшествия? Она очень старалась хорошо воспитать свою дочь и научить её правильно принимать все неожиданности жизни. И теперь оставалось только уповать на плоды этого воспитания, надеяться на то, что повзрослевшая её дочь сама сумеет найти правильные решения всех вопросов. И как себя правильно повести с этим русским, ибо никакие материнские слова, даже самые правильные, уже ничего, скорее всего, не могли бы изменить в возникшей ситуации...

— 3 —

С восходом солнца Васька был уже на ногах... День, судя по всему, намечался не хуже вчерашнего. Было тихо, почти безоблачное небо нежно голубело высоко над головой, и всё в природе уже всюду встречало новый день. По двору там и сям бродили куры, слышно было, как в окружающих усадьбу деревьях и кустах разноголосили бесчисленные птицы...

«Вася! Guten morgen!» — прозвучал ласковый звончок знакомого голоса.

Власов повернул голову на голос и увидел Анхен. Она стояла как раз напротив

восходящего солнца и оттого в первый момент почудилась Ваське какой-то неземной. Лёгкое светлое платьице, облежавшее её стройную фигурку, почти растворялось в солнечном свечении, частые завитки волос на непокрытой голове напоминали нимб, и вся она казалась в тот момент небесным ангелом, неожиданно коснувшимся земли своей маленькой изящной ножкой лишь для того, чтобы оттолкнуться этой ножкой от твёрдого и опять воспарить прекрасным видением над грешной землёй.

«Bitte, fruschtucken, Васья!» — ласково улыбаясь, проговорила Анхен и, уж совсем как будто готовясь улететь, протянула к нему навстречу обе руки.

Васька пошёл навстречу девушке. Их разделяло довольно порядочное расстояние, но всё это время, пока он его покрывал, Анхен стояла, улыбаясь ему, и протягивала навстречу свои маленькие ладошки. И опять, как накануне, Васька взял их, сложил вместе и, так же с нежностью прижав к своей щеке, ласково отозвался:

«Guten morgen, Анхен!»

А потом они сидели все вместе за одним столом и ели аппетитную наваристую кашу, по-видимому на молоке, в довесок к которой Ваське был предложен порядочный кусок сала. А после завтрака, как и накануне, все вместе поехали по знакомой дороге к знакомому уже полю, которое Ваське стало казаться совсем своим. А дальше знакомая, хоть и трудная, крестьянская работа, напряжённые руки и ноги, солёный пот, жирные чёрные борозды свежеспаханной земли, пофыркивающий конь и маленькая Анхен, как земной, никуда не улетающий ангел впереди, стоит только поднять глаза! И никакая уже усталость не давила, никакая работа не пугала, а силы, вместо того чтобы иссякать, удесятерились от одного лишь взгляда на маячившую впереди стройную фигурку в светлом одеянии. Шаг за шагом, борозда за бороздой, и вдруг... Лемех плуга вдруг ударился обо что-то твёрдое, и лошадь резко остановилась.

«Н-н-но-о-о! — громко крикнул Васька и дёрнул вожжи. Конь рванулся вперёд, увлекая за собой плуг, и, вывернутая им, из-под земли высунулась измятая железная коробка. — Тпру-у-у-у!» — натянул Власов поводья и остановил коня.

Находка не была старой или ржавой, она была лишь сильно помятой и сразу показала Ваське знакомой. Он нагнулся, оторвал её от земли и перевернул на другой бок. «Боже! Да ведь это же пулемётная коробка! — внутренне вздрогнул он. — Коробка от пулемётной ленты».

«Was ist los? — уже подбежала к нему Анхен. — Was ist das?» — уточнила она, заведя вывернутый из-под земли предмет. Но Власов не отвечал.

Он как-то странно выпрямился, будто разминая затекшую спину, и, медленно поворачивая голову, глядел куда-то вдаль. Низинка... большое чистое поле... кусты... под ярким солнцем особенно чётко выделяются верхушки крыш... берёзы. Берёзы... целая роща молодых берёз... О, Господи!! Неужто?! Васька ещё раз оглядел окрестности, мысленно накинул на голые ещё кусты их летний наряд, зазеленил белый частокол молодых берёз и... И всё вспомнил. Это было *то* поле! То самое, где в прошедшую осень он принял свой первый в жизни бой на этой войне, который оказался для него столь роковым. То самое поле, прочерченное тогда вместо сегодняшних мирных борозд, оставленных плугом, глубокими траншеями, в которых засели его соотечественники и среди них он сам. Он и его друг Арся Демидов. И их пулемёт...

Васька прикинул глазом расстояние до берёзовой рощицы, которая мгновенно стала для него знакомой. Всё говорило о том, что он стоял возле того места, где была их огневая позиция. И значит, на могиле своего друга! А вывернутая из-под земли пустая коробка — скорее всего коробка от их с Арсеем пулемёта. Ведь других пулемётов тогда рядом не было. Он поднял с земли смятый кусок металла и ещё раз повертел его в руках.

«Was ist das, Васья!»

«Я... это... откуда я взялся? — вместо ответа спросил её Васька. — Откуда я у вас взялся? — уже подбирая германские слова, повторил он снова. — Где вы меня нашли?»

Девушка поняла его, внимательно посмотрела в его взволнованное лицо и коротко ответила:

«Hier!» — низко опустила голову и вдруг заплакала...

Ваське стало жаль её, и он, бросив коробку на землю, осторожно провёл своей шершавой ладонью по её волосам и плечам, слегка задержав на них руку. Анхен успокоилась, они уселись на обочину, и Власов впервые в своей жизни во всех подробностях услышал историю своего чудесного воскрешения из мёртвых, которая стала возможной благодаря этой красивой миниатюрной девушке и её мрачной матери. За всё время, пока Анхен рассказывала ему, как они нашли его на распаханном теперь его руками поле, как тащили и как выхаживали, Васька не проронил ни единого слова. Лишь сидел неподвижно, обхватив колени руками и почти положив на них подбородок. Ещё не все слова из монолога Анхен были ему понятны, о многих он просто догадывался, но прошлой памятной осенью столь сложный рассказ был бы вообще

невозможен. Теперь он узнал о том роковом дне всё. И в том числе узнал про главную изюминку рассказа о своём чудесном спасении — упоминание о медном крестике, который носил на груди всегда и везде после крещения в уйдомской церкви. Крестике, при виде которого сначала немецкие солдаты не добились его на поле боя, а потом уж и фрау Марта с дочерью оказали всю возможную помощь, кою божья вера призывает оказывать попавшему в беду единоверцу. И уже когда Анхен совсем умолкла, поведав ему всю горькую правду, Васька ответил на самый первый её вопрос о предназначении железного предмета, вывернутого плугом. Ответил — и замолчал.

Странное выходило дело: вот он — простой русский солдат — стоя в окопе за своим пулемётом, строчил по врагам-германцам, которые его потом за это чуть не убили. И после этого германская женщина со своей дочерью вытащили его, можно сказать, из могилы и вернули к жизни. И он не питал к ним ничего кроме бесконечной признательности за сохранённую жизнь. И они не проявляют к нему вражды за убитых соплеменников, хотя он явно скопил их из своего пулемёта не один десяток. И он — уж совсем выверт судьбы (!) — пашет им теперь их поле, на котором всего-то с полгода каких назад дрался насмерть!

«Здесь погиб мой друг! — вдруг тихо проговорил он, нарушив затянувшееся молчание. — Он где-то здесь лежит, а мы по нему топчемся!»

Анхен медленно покачала головой ему в ответ и тихо произнесла:

«Здесь никто не лежит, Вася... Их всех похоронили в другом месте».

«И русских?»

«И русских!.. Я тебе потом покажу, где это».

«А поле? — удивлённо поинтересовался Власов. — Здесь же всё было изрыто!..»

«Поле заровняли, — объяснила Анхен. — Ещё в прошлом году».

«Кто?»

«Это были пленные...»

Снова установилось тягостное молчание, и горечь капля за каплей стала жечь душу, распаяла в ней недоброе, злобное, ненавистное. И теперь уже Анхен, видимо желая скрасить воздействие этой горечи, не дать ей разгореться, медленно наклонилась к рядом сидящему Власову и осторожно прислонила свою маленькую головку к его плечу. И горечь вдруг сразу куда-то исчезла! Она перестала капать на душу своими ядовитыми каплями, а раны, нанесённые ею, чудесным образом затянулись под воздействием тепла, исходящего от изящной девичьей фигурки. И уже только одно оно — живительное это тепло — разливалось теперь по всему Васькиному телу, заставляя забыть обо всём плохом и горестном прошлом, а помнить лишь о чудесном настоящем.

Васька осторожно высвободил руку, к которой прислонилась девушка, и, будто птица большим крылом, накрыл ею маленькую Анхен, положив при этом свою большую голову прямо на её приятно пахнущие светлые волосы. И теперь уже в его душе произошло полное миротрясение! Васька — не Федька; не в пример своему старшему брату, парень смирный, но с девками в своей жизни обниматься всё же приходилось. И до жару душевного порой дело доходило, и кровь закипала, но чтобы так!.. Чтобы земля из-под себя и чтобы сам, как птица, запарил в неведомой головокружительной вышине вместе с Анхен?! Чтобы в глазах затуманилось и они сами собой зажмурились, да чтобы в жар всё тело с головы до пят — не-е-е-ет, такого за свою жизнь Васька ещё не переживал!

Они затихли оба, соединённые этими неожиданными объятиями, и несколько мгновений ничего не слышали, кроме гулко колотящихся сердец. И не было, казалось, на свете силы, которая смогла бы разорвать это сладкое неожиданное объятие и разрушить столь мучительно сладкое блаженство, которое это объятие принесло! Но такая сила нашлась... На полевой дороге послышались шаги, кто-то, похоже, кашлянул, и маленькая Анхен, словно испуганный зверёк, отпрянула в сторону от Васьки, разрушив ту прекрасную идиллию, которая между ними только что возникла...

«О, мути! — растерянно пробормотала Анхен, заметив свою строгую родительницу. — Мы... я... то есть мы, отдышали... — не находя нужных слов, лепетала она. Мать строго посмотрела на неё исподлобья, и Анхен совсем оробела. Она замолчала, и в установившейся тишине фрау Марта стала расставлять на знакомой доске принесённый обед. Молчал и Васька, который уж совсем не знал, что в такой ситуации нужно говорить. — Мы нашли... мы нашли вот это, — вдруг, спохватившись, обрадованно сообщила Анхен и подняла с земли смятую пулемётную коробку. — Вася стал спрашивать, и я рассказала, как мы с тобой нашли его здесь».

Последние слова дочери немного смягчили мать, но уж никак не растопили то оледенение в душе, которое у неё вдруг возникло при виде столь неожиданных объятий дочери. Образовавшегося тепла хватало, правда, на то, чтобы выдавить из себя всего одно слово — «mittagessen!» — и умолкнуть теперь уж окончательно.

Весь остаток дня внутри фрау Марты словно бы спорили и боролись два человека.

С одной стороны, она прекрасно понимала, что ей повезло с работником. Маленький, невзрачный с виду русский был настоящим кладом в этом смысле, ибо умел делать по хозяйству почти всё, а тому, чего не умел или не знал, тут же быстро учился. Более того: фрау Марта, конечно, оценила и чисто человеческие его качества, которые вполне позволяли ей доверять ему. И уж совсем крамольная после вчерашнего разговора с дочерью мелькнула в её голове мысль: «Вот бы Анхен такого жениха!» Сполна нахлебавшись в своей жизни горечи одиночества, она, конечно же, не хотела такой доли для своей дочери. И тут же непреодолима стена в сознании: это русский пленный! А коли так, никакого сближения с ним просто быть не может! И вдруг — о, ужас! — она снова мысленно увидела свою дочь в объятиях этого русского! Пусть даже в таких невинных, как его рука, лежащая на плечах Анхен, — всё равно. И моментально стёрло из памяти, словно морской волной с песка, все те добрые воспоминания и розовые мечты, которые уже выстроились было в сознании стройной цепочкой. И вместо этой цепочки осталось лишь одно: он — чужой солдат! Он — русский пленный! И всё! И никаких положительных эмоций...

Весь вечер в доме фрау Марты не прозвучало ни слова. Тишина эта давила, угнетала, мучила, и впечатлительная Анхен первая не выдержала этого давления. Она снова выбрала момент, когда они с матерью остались одни, и с жаром стала доказывать ей, что та напрасно так ведёт себя с Васей. Что он не сделал ничего плохого, что он хороший работник и хороший человек, что...

«Мне надоело слышать об этом русском! — резко оборвала её фрау Марта. — Сколько можно об одном и том же?! И вообще — завтра его не будет в нашем доме».

«То есть... как не будет?» — вырвалось у Анхен.

«Вот так! — снова резко подтвердила мать. — Я отправлю его обратно в лагерь!»

«Но... но, мама, нам же нужен работник», — попыталась возразить дочь.

«Я приведу другого! — всё так же отрывисто и сухо объявила фрау Марта. — Наш Карлуша на фронте, ваш отец был офицером, и я могу взять любого пленного для нашего хозяйства. Господин комендант уже предлагал мне выбор, а я...» — фрау Марта осеклась на полуслове и, резко взмахнув рукой, вышла из комнаты.

«Значит, она опять хочет выгнать Васю, — обречённо подумала Анхен, оставшись одна, — значит, я уже больше никогда его не увижу!» — от этой мысли всё внутри вдруг словно заледенело и потеряло чувствительность. Девушку мгновенно охватил ужас, как если бы она сорвалась вдруг с вершины высокой скалы и стремительно неоторвратно полетела в беспросветную безжизненную бездну, где нет уже ничего и, главное, никого! Никого и ничего, кроме леденящей душу неизвестности. Анхен заметалась по узкому пространству спальни в поисках выхода из положения, но тщетно. Выхода не было. Анхен слишком хорошо знала свою мать и отчётливо сознавала, что та уже не изменит своего решения. И это значит, что уже завтра Вася покинет их дом. Навсегда! Последняя мысль, словно кнут, подстёгивала Анхен, и она вновь и вновь, отчаянно заламывая руки, металась из угла в угол.

«Надо что-то делать! — билось в голове. — Надо что-то делать!! Но что?! Что?!..»

— 4 —

Уже было темно, тихо даже в закутах для скота, а Васька всё никак не мог уснуть. Он таращил глаза в наступившую темноту, иногда закрывал их, пытаясь вызвать сон, но всё напрасно. Сон не шёл. Голова, как растревоженный пчелиный улей, гудела от напряжённых мыслей... По всей обстановке в доме, по поведению его хозяйки Васька понял: что-то происходит, что-то произошло уже и что-то должно случиться ещё... Он мысленно перебирал в памяти два прошедших дня, пытаясь оценить в них себя, свои поступки, и не видел в них ничего предосудительного. Ему нравилась Анхен. Он грезил этим прелестным созданием... Но разве он хоть раз замышлял в отношении её что-нибудь плохое? Что-нибудь непристойное? Нет!

Васька зажмурил глаза, и мгновенно в его сознании ясно всплыла картина, как Анхен прислонила свою изящную головку к его плечу. Он даже ощутил почти физически то трепетное тепло, которое исходило от её тела, словно это случилось вот сейчас, вот в эту минуту. Бурная фантазия тут же разрисовала эту картину дальше, в уже не существовавшим в реальности направлениях, и Васька живо представил себе, как бы это было хорошо, если бы он мог обнять эту очаровательную немку по-настоящему. Чтобы ощутить её тепло всем телом, чтобы прикоснуться своими губами к её щекам... Сначала робко, чуть-чуть... а потом всё сильнее, сильнее... неистовее... и уже не только в щёки, но и в губы, красивые нежные губки... в уши... шею... Целовать испуганно, страстно, позабыв обо всём на свете, жарко смыкая объятия!.. Васька даже застонал от навянной разгорячённым рассудком картины и машинально перевернулся на другой бок. Как было бы здорово, какое было бы чудо, если бы она сейчас вдруг оказалась здесь, и никого-никого не было бы вокруг в целом свете!..

От двери вдруг раздался какой-то звук, похожий на скрип, и Васька резко повернул туда голову. Прямо на пороге в темноте весенней ночи стояла неподвижная фигура в белом! «Господи! — похолодел и перекрестился Власов. — Блазнийёт, что ли?»

«Васья!» — сильно искривляя имя, прошептал знакомый голос.

«Анхен?!» — всё ещё не веря в реальность происходящего, ещё балансируя на грани яви и грёз, дрогнув голосом, отозвался Васька.

«Я, Васья!» — всё тот же горячий шёпот долетел до него от двери, и фигура в белом сделала шаг вперёд.

«Анхен! — отряхивая от себя остатки сомнений, вскочил и рванулся навстречу Васька. — Анхен! — уже подходя вплотную и осторожно кладя свои руки на девичьи плечи. И уж совсем как в густом тумане сознания, уже обнимая прекрасное юное тело и уже наяву прижимаясь к нему жаркими губами, выдохнул русское: — Аннушка-а-а-а!..»

И, словно эхо, в ответ уж у самого уха прошепестевшее:

«Васьюша-а-а!...»

А дальше как в глубокий жаркий омут всепоглощающей всепожирающей своим первородным огнём страсти со всем возможным юношеским азартом и пылом! И на всю ночь уста в уста!..

Утром, как всегда встав с восходом солнца, фрау Марта заметила, что дочери в спальне нет. Она потрогала постель, но и та не хранила остатков человеческого тепла. Встревоженная, она выскочила из комнаты и обошла весь дом — дочери не было нигде. Оставалось только одно непроверенное место, но... «Но это же невозможно! — думала фрау Марта. — Это невероятно, ведь там же русский пленный!» Но искать, однако, было больше негде, но беспокойство нарастало, и фрау Марта, стукнув для приличия в дверь, потянула её за ручку.

Посредине крохотной комнаты, отведённой для русского, стояла её маленькая Анхен в длинной белой сорочке и сзади её — о, ужас! — стоял этот русский. Глаза фрау Марты расширились, рот сам собой открылся от величайшего изумления, но ни единого слова не вывалилось из него, словно бы они все застряли где-то там, в глотке. Зато Анхен, её любимица Анхен, которую она всё ещё считала маленькой девочкой, неожиданно твёрдо и коротко заявила в наступившей тишине:

«Вася никуда от нас не пойдёт! Если ты, мама, попытаешься выгнать его, то я уйду вместе с ним! И куда угодно!»

Тишину раннего утра не нарушало ничего, кроме взволнованного дыхания трёх человек, и от того слова эти негромкие прозвучали с такой силой, что не поверить им было просто невозможно. И фрау Марта вдруг увидела, что её дочь повзрослела. Что она просто выросла и теперь уже не та маленькая девочка, за которую мать её принимала, а взрослая самостоятельная девушка, способная в трудной ситуации защититься сама, и если надо, то и защитить другого. Ещё раз — уже, наверное, в последний — провернулись в ослабшем сознании матери разом ставшие беспомощными мысли о неприязни русского, о его отторжении, изгнании из дома... Провернулись и угасли безвозвратно и окончательно, подавленные истинной и неодолимой силой настоящего большого чувства, которое приходит однажды к человеку и овладевает им целиком. Приходит, сметая все преграды, стоящие на его пути и преодолевая все запреты.

Глава семнадцатая

— 1 —

Мало из какого подворья не пришёл человек на деревенский сход. За многолетнюю устоявшуюся историю вся Уйдома знала: коли созывают, значит, дело не шутейное. И непременно участия всех требует. Чтобы, значит, всем миром ту или иную задачу решить. И ежели, скажем, даже какой-то двор несогласный с другими, то чтобы знал, что он один такой али в меньшинстве. А коли так — будь добр исполнять, что общество порешило, даже если ты и не согласен. Но таковых обычно не бывало. Высказываться-то всяк по-разному могли, покуда, значит, обсуждение идёт, а уж как нависываются-то досыта, все и поймут, что большинство — значит, здраво. А коли здраво, то так и надо делать.

Только если шибко уважительная причина у кого, на сход не приходили: в хозяйстве ли какая беда приключилась, сам ли хозяин занемог, а так уж все к церкви, как на крестный ход. Вот погожим вешним днём вся Уйдома на такой сход и собралась.

«Чево будем делать?..» — чуть не сказал «мужики», начиная разговор, Власов-старший.

«А в чём дело-то, Петрович?» — раздался из полубабьего сбора хриловатый мужской тенорок.

«Дык весна на дворе! — широко разводя руки, улыбнулся Захар Петрович. — Си-

ять время-то подходит, а как?»

Продолжительное молчание было ему ответом. Все понимали: коней мало, мужиков почти нет, а пахать и сеять всё равно надо.

«Ты, Захарушко, чево про это сам-от думаешь?» — это уж бабий голосок прорезал тишину.

«А мне думать не с руки, — начал рассуждения Власов. — Моя воля — не дале моево подворья, а после уж шабаш. Всема надо думать, на то и собраны... И перво дело, — продолжал деревенский староста, — как нам быть с тема, у ково дом совсем уж без хозяина остался. А и, тово хуже, ежели без тягла.»

Загудело. Зашевелилось человеческое муравьище, задвигалось, всё больше и больше крепчая голосом.

«А тут, Захар Петрович, по-моему, дак и рассуждать особо не о чём, — выражая мнение многих, начал Кузьма Антипов. — Родня в деревне, считай, у всех есть и родни немало».

«Ты к чему клонишь, Кузьма Егорович?» — спросил его староста.

«А к тому, Захар Петрович, што ето дело сугубо кажново роду должно быть, — заключил Антипов. — Худо ли, бедно ли, а лошадёнка-то, считай, у кажново куреня найдётся».

«Ну, ты не скажи, Кузьма Егорович...» — возразил кто-то из толпы.

«Чево не скажи-то? Чево не скажи-то?» — неожиданно распаляясь, выкрикнул Антипов.

«Коней-то эвон на войну сколь угонили», — продолжали возражать из толпы.

«Ну дак и што?» — гнул своё почтенный плотник.

«А то, што на себе-то ведь соху не поволокёшь — вот чево!»

«У меня тожо тягла нету...»

«Зато у братана твоево есть!» — немедленно перебили из толпы.

«Ну, хватит! — резко выкрикнул Захар Петрович. — Не хватало бы ишо, штоб в горе розругались! По-хорошому надо договориться».

«А ежели по-хорошому, сват, то я своё мнение не меняю, — уже утихомириваясь, проговорил Кузьма Егорович. — Тяжоленько придетча, конешно, особливо мужичкам, а што ты станёшь делать? Придетча потерпеть».

Опять загудело на церковном дворе, ровно загудело и согласно, будто в сытом улье. По всему видать, идея была здравая.

«Ну, а ежели, к примеру, у ково-то нету в курене ни мужика, ни тягла? — напоровала голосистая Клашка Горшкова. — Вон у Федосьи Майковой ни тово, ни другово. Дочери на стороне, а сын на фронте. Тут как быть?»

Как пламя, ветром в костре раздутое, полыхнул всплеск человеческих голосов и гомона. И сопереживающего, и сострадающего, и негодующего на проклятую войну одновременно.

«А тут, дорогие мои земляки, по моему разумению, надо нам всем миром порешить да выбрать, кто таким дворам поможет. Всех сичас перебрать, хто бедствует, и определить», — как о давно решённом и единственно правильном, хоть и трудном, объявил Захар Петрович.

«Да, да, да, да, да!» — понеслось со всех сторон разноголосое одобрение...

«Как делать станем? — продолжал Захар Петрович. — Сразу договоримся, хто кому пособит, али решим сперва, кому такая помощь нужна?»

«Чево тарусу-то зря разводить, Захарка, — раздался чей-то старческий голос из середины собравшихся. — Сказывай давай, ково в виду имеешь, счас сразу всё и порешим»...

«Ну, товда с Федосьи Майковой и начнём, коль про ие уж вспомянули, — начал перечисление Захар. — И сразу жо скажу, што я ли, Федька мой усадьбу ей распашем».

Снова гомон одобрения прошелестел над головами собравшихся, и поданный старостой пример как-то сразу расшевелил остальных.

«Я пособлю кому, если занаво», — прозвучал голос Васи Антипова.

«И я тожо», — поддержал его двоюродный брат.

«Ты-то куда, Кузьма Егорович? — попробовал остановить его Власов. — У тебя и так уж два своих подворья, да и тягла нету».

«Тягло — не главное, — возразил ему Антипов. — Главно, штоб мужик был! И в силе...»

Последнее слово, сказанное через небольшую паузу, пало на многобабье собрание, как искра в сено. Разом вскинулись звонкие восклицания и задорный смех подзахиревших в затянувшемся одиночестве солдаток, даже вдовы некоторые разглядели в улылке горькие складки вокруг скорбно сжатых ртов.

«Да уж, Кузенька, ты эт прям не в бровь, а в глаз насчёт силы-то! — давясь смехом, воскликнула Клашка Горшкова. — С тобой хоть рядом постоять бы — и то любо на

душе, а не то штоб поголубиться!»

Грохнуло взрывом расслабляющего смеха всё людское собрание, оздоравливая обстановку, залечивая раны душевные, заряжая жизненной энергией.

«Ох, бабы, бабы! — смеясь вместе со всеми, покачал головой Ефрём Неклюдов — сухонький благообразный старичок с бородкой клинышком. — Вам бы только поголубиться. Про што ни заговри, а у вас всё одно на уме».

«А ты, пенёк старый, как бы хотел? — уперев руки в бока, напырнула на старика Миколиха. — Ты, што ли, робят-то производить на свет будёшь? Али жизнь не прожил да не знаешь, что всё доброе в ней от тепла да ласки? Не приголубь-ко нашово брата-баб, много ли сам-от чево доброво получишь?»

«Верно, Кланюшка!»

«Небось, уж позабыл, когда старуху-то свою и обумал в последний раз?!» — понеслись со всех сторон возмущённые бабы восклицания...

«Тихо, бабы! — перекрывая общий гомон, раздался громкий бас Захара Петровича. — На дело собраны, а не на брехню».

«А это, Захарушка, само настояшшо дело и есть! — звонко отпарировала ему неугомонная соседка. — На кой бы она болисть вся и пахота да хлопотня, каб не всё это дело? Семейное да потомственное. Вся жизнь ведь на этом спокон веку стоит — тебе ли этово не знать».

«Ну, положим, знаю, однако ж надо всё-таки о пахоте сичас, штобы не оставить никово бедовать».

«Тимохе надо пособить, — негромко проговорил Неклюдов. — Куда он один-от с эдакой ногой?»

«Тимохе само собой, — тут же согласился с ним Захар. — И увече на войне получил, да и Георгиевский кавалер один на всю Уйдому».

«Тимохе я могу вспахать, — вызвался Олька Стуков. — А ежели другомья никак, ишо кому подсобим — у меня робята нонь большие».

«В нашей деревне мы там сами розберемся, кому надо помогчи, — отчётливо проговорил молчавший до этого Демидов-старший. — Гришка красён, да и я в силе — со владаем».

«Ну, вот и ладно, коли так, — одобрил его слова Захар Петрович. — А то у вас там как отдельная держжава — ото всех на отшибе, да не всякому и видно».

«Ты, Захар Петрович, главное, не сумлевайся, — ещё раз заверил старосту Гришкин дядюшка. — Спокон веку деды наши горё всема ломали, а мы што, хуже, што ли, их?»

«Ну, слава Богу, земляки, коль так! — подвёл итог дискуссии Захар. — Но только это на севодня ишо не всё, — сход утих, ожидая продолжения его слов, и в наступившей тишине Власов продолжил: — Про вспашку и посев мы порешили, а топерь как с осеком?»

Осек — извечная деревенская забота, которую каждую весну одолевали всем миром и в один-два дня. Не в одиночку, не поартельно, скажем, или поподворно, а именно всей деревней и в один день. Ибо работа эта — навалить сплошной завал в 3-4 аршина высотой из ельника и кустья вокруг пастбища только всей деревне и под силу. Выходили на неё всегда от каждого двора мужики, кто мог, и валили. И не считали даже, у кого сколько мужиков в дому, лишь бы они были и могли. И не приходило никому в голову хозяина как-то порицать, если от одного, к примеру, двора четверо вышло, а от другого только двое. А то и вовсе один. Хоть и скотины примерно одинаково. Главное, что вышли все и сделали, и никто не отлынивал. Такая вот это работа — осек, для всей деревни ежегодное объединение и братство. А теперь?

«А решать тут надо по скотине, Захарушка, — после некоторого всеобщего молчания раздался голос Федулихи — маленькой пожилой бабёнки, весь век свой, кажется, коротающей в одиночку, — и если у ково она есть, тот двор пусть и идёт. А ежели, к примеру, у меня одна коза — зачем мне осек-от?»

Ох и заволновалось человеческое собрание. Загудело вразнобой, всяк про своё, да и нестройно. В кои-то веки такое было, чтобы к осеку, да и не всеми? На целый год вперёд общая работа даже кровно не родных роднила, в зародыше возможные распри и скандалы межсоседские изничтожала да выводила, а тут чего? Как жить-то, если уж с начала года всяк на себя своё одеяло?

«Нет уж! — громко воскликнула Клашка Горшкова. — Это дело так не делается. Есть корова али лошадь, нет ли ни тово, ни другово, а овечки-то всё равно у всех. А знать, и к осеку всема надо! От веку так велось, а ноне што? С другово краю, што ли, солнышко взошло?»

«Верно, Кланюшка!» — раздался из толпы чей-то голос.

«Молодеч! Всема надо!» — понеслось со всех сторон.

«А ежели который двор, к примеру, как у Федулихи, где коза одна, не выйдет — не

пенять! — будто и не прерывали её выкрики поддержки, продолжала Миколиха. — Евонна это правда будет и ничья боле. Пусть как совесть у ево подскажет, так и делат. А ну-кося да отсеки ево сичас на общем сходе... што товда? Эдак-то и до розладу обшо-во нидолго докатиться!»

Ух, как опять заволновались все собравшиеся. Заговорили снова разом все и об-легчённо, будто слова Клашкины нарыв нагнивший прорвали, от напасти злобной уберегли. Ведь нет беды страшнее — понимали — развалиться на дворы да в эдакую пору лихолетья. Капец тогда всем помочам, и не будет тогда уж единой живой Уйдомы, сильной своим духовным здоровьем и единством. И не приведи Господь тогда в такой деревне жить — мука одна, коль всяк по себе да от соседей отгородится.

«Ну, а ежели, скажем, двор какой не сможет выйти? Што товды? — возвысился над гудежом толпы голос Кузьмы Антипова. — Вон у меня невестка; десять дён, как опро-сталась, не прошло, куды ие? А ведь корова и овечки во дворе, да и телёнок сегогод-ний».

«Што ты, Бог с тобой, Кузьма Егорыч, эко-то говришь! — замахала на него Шурка Сыромятина — чернявая круглолицая говоруха, соседка Антиповых. — Да разве ж кто твоей Анисье попеняет, что она не выйдет к осеку хоть и здорова? Дитё же на руках у ей и малинько — чево жо можот для ие сичас главняя быть, коли не это? Неужто мы всема-то не покроем её долю?»

«Как ни покроем! Уж всяко за одну-то сладим! Чево тут зря говрить...» — понес-лось со всех сторон разноголосье.

«А што до животины ейной, дак ведь всё одно она у вас в одном дворе: и ваша, и Пе-трушкина с Анисьей! — столь же убеждённо продолжала Шурка. — Так што полно-ко ты ничево-то, сусед ты мой дорогой, да и уж дедушко топерь!»

Расслабились уйдомцы, поворачиваясь навстречу друг дружке, лицами посветле-ли, разулыбались да и зашпакурили уж беззлобно.

«Ты, Кузьма, топерь хотя и в генеральском звании по жизни, а песок-от из тебя ишо не сыплёт! — с хитровой ухмылочкой подпустил скрипучего тенорку самый стар-ший из рода Власовых — Захаров отец. — Я хоть и на девятый уж десяток перевалил, а и то всё ишо трясусь да к обществу поближе быть стараюсь. А у тебя эвон силы-то; ни то што свои да соседски полосы, а ишо и бабьих полянок сколь засиять сможошь!»

Хохот грянул в церковном дворе, словно вешний гром! Аж галки из-под купола взнялись!

«Ну, ты и дал, Петруша!» — поддержал старика Ефрём Неклюдов.

«А чево я дал? Чево я таково дал, дозвошь спросить? — шутиливо попёр на него глава Власовского рода. — Чисту правду про Кузьму сказал, што спасу бабам от ево не будёт ишо долго, хоть топерь он и дедко! Не то што от нас с тобой!»

И снова хохот на весь двор церковный, да и за его ограду.

«А ты ишо говришь, што мы-де, бабы, всё про одно! — повернувшись в сторону ста-рика, сквозь смех проговорила Клашка. — А сам-от, греховодник старый, про чево?»

«Дак ведь жизнь, жизнь, дорогие мои жонушки, на том стоит! Куды ты супротив ие?» — лукаво ухмыляясь, отпарировал Петруша.

«Давно бы так-то, — по-прежнему смеясь, попеняла ему Миколиха. — А то ишь!.. На брата нашово удумал понапраслину...».

«Ладно, бабы! — примиряюще проговорил Захар Петрович. — Я так понял, што не станем мы выдумывать другово ничево, а выйдем все, кто сможот хоть бы чем-нибудь помочь».

«Выйдём, Захарушко, выйдём! — раздались из повеселевшей толпы многочис-ленные бабы голоса. — Всем миром выйдем, как и раньше, только укажи, в который день».

«Насчёт дня, Захар Петрович, у меня суждение имеется, — Оляка Стуков говорил всегда так мало, что Кузьма Антипов рядом с ним сошёл бы и за красная. — Я так кумекаю, — негромко продолжил Стуков после паузы в полной тишине, — нонича на вспашке да посева всем достанитча нимало, и как бы с осеком-то нам не затянуть».

«Ты к чему клонишь, Оляксан?..»

«А к тому, Захар Петрович, што идти нам к осеку сегогуда ишо до вспашки надо, — пояснил свою мысль Стуков. — Пусть грязно ишо в сограх, пусть ишо и мёрзло ко-е-где, а ежели сичас не сделать это дело, то потом оно затрёт. Трава пойдёт, скотину надо выпускать, а осек весь дырявой. И от пахоты уж будет никога не оторвать; мужи-ков-то много ли осталось?»

«Здраво говоришь, Оляксан, — согласился староста. — Што на это скажете, зем-ляки?»

И опять союзным пчелиным ульем, полным взятка, загудело людское собрание, со-гласно кивая головами промеж собой.

«А чево тут говрить, коль здраво сказано? — выразил общее мнение Оляка Деми-

дов. — Тут, Захар Петрович, так и делать надо — к осеку ишо до пахоты».

«Да! Да! Да! Верно говорится. Не след нонича тепла ждать. Ране надо, ране, — словно резвые струйки тихое течение, прорезали ровный гомон толпы отдельные возгласы. — Назначай, Захар Петрович, день до пахоты. Согласны все».

«Ну и ладно, коли так, — удовлетворённо заключил Захар, — ишо одно дело сделали. Но и это ишо не всё, — староста умолк, будто собирался с мыслями, притихла и толпа, глядя на него. — Из волости извещение пришло, — опустив голову, начал Власов, и все собравшиеся враз опять напряглись, — погинул на войне Палуша Майков! — закончил своё сообщение Захар Петрович, и тяжёлый вздох прокатился по толпе, будто подминая её под себя на манер житного поля предгрозовым ветром. И распрямляя уж потом облегчённо — «не моего!» — отозвалось потаённо в каждой человеческой душе и сочувственно к чужому горю. — Можот, кто-то в Койдолу собрался али ишо как — надо бы и дочерям Федосьиным переказать, што матке эо горё. Путь хоть приехали бы, што ли, да поразговрили бы ие али к себе забрали, можот, — продолжил Власов. — Жонки, которы поближе от Федосьи-то живут, сходите к ей да поутешьте хоть маленько. Сама-то она в немочи севодня, да и уж который день — надо пособить бабе»...

«Сходим, Захар Петрович. Как жо иначе? Прямо счас жо и приворотим, как домой пойдём», — раздалось сразу несколько женских голосов...

— 2 —

В доме у Захара Петровича уж который день сплошной праздник. Первой благополучно растелилась корова, явив на свет беленькую большеглазую тёлочку. Уж перед Пасхой вслед за ней дала приплод и Лысуха, добавив в хозяйство длинноногую пугливую жеребушку. А после наступил черёд людской. Аккурат на пятый день после «Федула» разрешилась от бремени Анисья, народив пригожего голосистого мальчонку, которого тут же Федулом и нарекли. И в ту же пору стало всем понятно, что понесла ещё и Настенька. Оправилась от осеннего удара, душой и телом оправилась и, слава Богу, понесла опять.

И всем сразу стало хлопотно и светло в одночасье... И всем в дому ладно да тепло...

«Степанида! Ставь самовар! — распорядился Захар. — Я кобылу той порой схожу попроведаю. Федька!.. Топоры направь! И свой, и мой! Утре, всё здоровье, сенокосы пойдём гоить, пока сухо».

«Дедушко! Дедушко, возьмите нас с собой!» — наперебой загалдели Пантя с Тишкой.

«А вот ежели батьку пособите топоры вывертеть — возьмём!» — потрепав внучацьи головы, ласково объявил Захар.

«Ур-р-ра-а-а!! — радостно закричали и запрыгали пацаны. — Татюшка, пошли скоряя топоры точить! Мы тебе пособим», — они первыми высочили из избы и бегом бросились в садник, где стояло власовское точило.

«Косарное не тронь! — тихонько подсказал сыну Захар. — Тяжело им будет бульшое-то, хоть и вдвоём. Малинько изладь; всё одно пора пришла оба на ходу иметь, а робятам всё полегче малинько-то вертеть, да и топоры не шибко тупые — поправить только... Вот што ишо надо, — уж после первой выпитой чашки чая, уж утирая пот со лба после этого расслабляющего чаепития, добавил к перечню неотложных дел Захар, — картовь из ямы вытащить на свет время подошло. Ты займись-ко, Степанида, утре».

«Робят-то бы оставил, Захар, — попробовала предложить хозяйка. — Награблять картовь-то некому, да и ведь студено им как да будет».

Нахмурился Захар Петрович при таких словах жены, однако ж отрубил не шибко резко:

«Эка, студено! На улке целы дни с утра до вечера не зябнут, а на дело — студено?! — утихло власовское застолье в ожидании продолжения слов хозяина, особенно напряглись и обездвигели пацанята, участь которых сейчас должна была решиться окончательно. — С нами поедут! Не студено, да и стоять им не придетча. А картовь грабить Дашутка пособит. Анисья, ковды не сосит, да и Настёха тоже. А уж вы с Лукерьей выносите. Помногу-то не награбляйте, дак и не тяжело. Да и не торопит вас никто».

И уж возражать нечего — прав хозяин. Мальчишек действительно надо приучать к мужицкому, особливо как они сами к нему охоту проявляют, чтобы, не дай Бог, охоту эту не отбить, а хозяйкино — оно и есть хозяйкино: помаленьку да полегоньку, а всё вперёд.

...Дальние сенокосы у Власовых, как и у большинства уйдомцев, по Курженьге. Какие-то поближе, какие-то подальше, а всё по речке-шалунье. Пожни по её берегам ровные, просторные. Видать, широко когда-то бежала реченька по лесу и наровняла за многие-то века себе дорожку. А как стало в ней воды поменьше — вот поженки и образовались. Только зарастать не давай. А то ведь если год-другой поленишься — через кустье-то и не прокошишь. До аршина да и с лишком ивняк-от за год вырастает!

Версты с две дорогу одолевали молча. Бором уж хорошо подсохло, и Лысуха трусила свободно, время от времени поглядывая на своё детище — не отстаёт ли. Но длинноногая жеребушка ничуть не напрягалась, поспешая вслед за матерью. «Слава тебе, Господи! — думал, глядя на неё, Захар. — И жеребушка справная да резвая, и народилась вовремя. Вокурат к пахоте кобыла в силе будет, хоть и поберегчи, конечно, надо. Да ведь и погуляла же удачно: а ну как бы попозже забрюхатела — тянула бы сичас на фронте лямку. Если бы вообще на свет ишо глядела... — Захар торопливо осенил себя крестом в благодарение Бога за ниспосланную благодать и мысленно вздрогнул от неожиданно пришедшей страшной мысли. — Не дай Господи никому крещёному! — отряхиваясь, словно лошадь от снега, отогнал он от себя непрощенную думку. — Што бы мы без лошади-то? Да с эдаким хозяйством...»

Курженьга встретила их в полных берегах. Обычно разговорчивая да игривая на своих причудливых изгибах в тот день она была набыченная и ровно бы озабоченная чем-то. Совсем недавно, поднатужившись, сбросила она своё зимнее одеяло, вдосталь напоила землю на пожнях и теперь торопилась слить излишек воды, чтобы дать раздолье уж и своим обитателям. Рыбе, в первую очередь, и всякой прочей речной живности. Ни единого, считай что, звука от речки, только мутная вода широким потоком, словно диковинная, огромной длины змея, торопливо шурша по кустам, уползала куда-то вниз по течению. И все Власовы на минутку задержали взгляды на этой завораживающей, хоть и привычной уже за многие годы, картине. И животные тоже. Любопытная жеребушка даже подошла вплотную к водяному потоку, пугливо прядая ушками; не то попить из него, не то просто понюхать, дабы понять, что это такое, но коротко-тревожное ржание Лысухи живо водворило её под материнский бок, а для полного успокоения уж и под титку.

«Федька, кобылу привяжи поближе к ёлке, — коротко подсказал Захар. — С ейной стороны зачнём, а дальше уж по ветру... Робятам накажи, чево делать, а я рубить зачну, — Захар полез в дрожки за топором, поразмышлял ещё немного, достав инструмент, и добавил: — Я вот ишо чево, Федька, подумал: нам в севогодний год сена порядочно занадо. Телушка, пока вырастет, сколь съест, а главно — жеребушка. Считай, на две головы прибавок... А потому нам надо как мога с тобой все сенокосы наши расширять. Робятам накажи — пусть жгут по самы ёлки; всё какава да травина после вырастет. А нам с тобой рубить, рубить и рубить, где кустьё не густое, трава, глядишь, и наростёт на чистом-то, — он потоптался ещё на месте, оглядываясь и примеряясь, очевидно, насколько можно будет расширить пожню за счёт расчистки, и добавил окончательно: — Так што налажайся — да за дело».

«Ладно, татя, — согласился с его доводами Федька, привязывая кобылу к большой ёлке на краю пожни. — Я сичас робятам роспятнаю што к чему да и к тебе. Пантя! Тишка! А ну-ко притащите сена кобыле!»

Мальши проворно бросились исполнять отцово приказание, и очень скоро под лошадиной мордой возникла порядочная горка пахучего сенца.

«Ешь, Лысуха, ешь! — ласково приговаривая, напугивали её пацаны. — Мы тебе ещё принесём, если мало будет».

Их отец, меж тем, надёргал большой пук сухой прошлогодней травы и, подпалив его, потащил волоком по насохшей под вешним солнцем пожне. Весёлая огненная змейка, словно бы вытекая из горящего пука, тут же на глазах раздваивалась вдоль на две, и каждая из образовавшихся половинок резво побежала одна от другой по сухой траве, оставляя после себя всё расширяющуюся чёрную плешь.

«Татюшка! — закричал Тишка, срываясь с места. — Дай и мне! Я тожо хочу траву жогчи!»

Вслед за ним к отцу устремился и старший брат, но Федька живо остудил их пылкие намерения.

«Перво дело ваше — не жогчи севодня, а гасить!» — коротко объявил он.

«А пошто, татюшка? — тоскливо затынул Тишка. — Ты-то жгёшь ведь».

«Я зажэг, штоб загорело, и сичас кустьё по краям рубить зачну, а ваше дело — огонь караулить».

«А зачем ево, татюшка, караулить? — не унимался Тишка. — Неужто он куды убежит?»

«Убежит!» — строго подтвердил отец.

«Куды?» — изумился малыш.

«А вон в лес-от, — махнул Федька рукой в сторону ельника. — Только обзевай-ко — тово часу там будёт».

«И што: он загорит?» — недоверчиво полюбопытствовал уж и Пантя.

«Загорит!» — твёрдо заверил отец.

«Ну, дак и што?! Пусть себе горит».

«Как это — пусть горит? — строго спросил отец. — Разе можно?»

«А дедушко... а дедушко сказывал, што летось он паротно лес зажёт», — вставился в разговор Тишка.

«А-а-а, вон оно што! — улыбнулся дотошным сыновьям Федька. — Лес лесу, робята, рознь. Дедушко, небось, какую-нибудь неудобницу зажёт, штоб обновить ие, а тут смотри-ко што. Вишь, ельник-от какой с угора опустился. Вам ведь и не обхватить! А на бор подымись? Ехали, дак видели, какой сосняк вырос! А сухо-то... Пусти-кося сичас туда огонь — наделает делов!»

«Там сосны ишо малиньки», — возразил Пантя.

«И што, што малиньки, — продолжил отец. — Это они сичас малиньки и в дело негожи, а с десяток-два годков минёт — в самый раз будут. Можот, тебе жо на избу и пойдут, как вырастешь, — Федька опустил свою руку на голову старшего, обнял за плечо младшего сына и заключил: — В лесу надо хозяйничать с умом. Ежели какое место бестолковое — можно и сожогчи, штоб, значит, перемена в ём произошла к лучшему. А ежели где бор молодой али лес спелой — как свою избу, места такие надо берегчи! Потому как с них и прокормиться, и обогреться, да и построиться можно будет — так-то вот. Поняли топерь? — малыши послушно закивали головами. — Ну, тогда живо по лапе еловой в руки! — скомандовал отец. — Пантя, ну-кося ташши топор из дрожок, я сичас ссеку вам, — старший сын стремглав бросился к телеге, выхватил из неё инструмент и с той же скоростью подлетел к отцу. — В кобылью сторону огонь далеко не пускайте! — напутствовал Федька, подавая ему мохнатую еловую лапу. — Лучше подале от ие загасить, штоб не тревожить, а то, не ровен час, сорветча, испужайтча та ли, другая, сломит ногу — чево товды? — малыши понимающе «уткнул». — К воде близко не ползите! — предостерёг, вооружая лапой поменьше, и младшего. — Урните и сами не заметите как. А в лес огонь штобы ни-ни!.. Если што — зовите нас. Мы тут рядом с дедушком — учуем! Всё запомлили?»

– 3 –

Обрядившись и уложив малышей, пятеро власовских женщин принялись за картошку. Хотя какое, казалось бы, пятеро, Дашутке-то десять с небольшим только, но посильное дело определено и для неё. Картошку в вёдра накладывать — в самый раз ребёнку. И тоже споро, и тоже складно пошло. Не торопно, степенно, а всё прибывает и прибывает рассыпанное на пол отставной избы для зазеленения картофельное семя. И всем-то любо от этой спорости да складности! И вот уж песенку затянула негромкую Настенька, устроившись поудобнее у картофельной ямы. И Анисья с Лукерьей ей в лад завторили. Одна только Степанида молчком. Порхается с картошкой руками-то, а у самой одна думка в голове — Лукерья. Не Анисья с мальцом, не Настенька и не корова даже — у тех, слава Богу, всё хорошо — а именно Лукерья.

«Как-то она? Как-то у ие? Чево у её на сердче? Ох, поговорить бы как-то надо с ней наедине... да по душам... — думка материнская. — Ну, нет боле Степана, ну, судьби-нушка ему такая досталась, а дитё-то растить надо! А вдове-то ишо жизнь вся бабья впереди, ведь тридцать не сровнялося ишо! Ну-кося, помыкай еко горё!.. Ой, и как-то оне там с Васей-то? — главная тревога материна. — Сошлись ли, нет ли разговор-то? Ведь в доме-то ево топерь хозяйки нет, да и в Лукерьюшкином хозяина...»

А как поговоришь? Не за вёдрами же с картошкой, таскаючи их из подполья да наверх. Но дело двигалось и мало-помалу иссякло.

«Ну, слава Богу, обрядились! — подвела итог Степанида. — Всема-то дак и скоро, а возмись-кося нам с Настенькой?.. Весь день бы и пропетались до вечера. Давайте-ко самовар ставить да поись изладим».

«Ой, нет, мамушка, мне домой надо!» — засуетилась вдруг Лукерья и стала собирать сынишку.

«Што шибко-то торписся? — попыталась остановить её мать. — Успеешь ишо, посидела бы».

«Да ить корова тожо... — уклончиво ответила дочь, — да и...» — она как-то странно осеклась, оборвав себя на полуслове.

«Чево ишо?» — встревожилась Степанида.

«Да... так», — попробовала было отвертеться дочь.

«А ну-кося, сказывай скоряя, чево ишо сдиялось?» — потребовала мать, и Лукерья покорилась.

«Да жолобы у меня с повити снегом сташшило. Курича пошто-то обломилась, и поток упал — жолобья и съехали».

«Дак чево молчала-то?! — воскликнула Степанида. — Федька бы да батько пособили».

«Да я уж договрилась...» — как-то опять осекшись, сказала Лукерья.

«С кем?».

«Ну... с Васей Антиповым договрились, — нехотя отозвалась дочь. — Ты, говрит,

мою дочь с машиной управляться научила, и мне шибко, говорит, неловко стало должником-то жить. Севодня посулился уж прийти да посмотреть».

«Дак чево жо ты сразу-то нам про это не сказала? Порхайся тут с картовью-то, а мужик-от, можот, ждёт там у крыльца».

«Да он с полдня сулился, — тихонько пояснила Лукерья. — Дома, говорит, обредни много. Корова тожо, лошадь да овечки. Маньки-то топеря нету».

«Ну, дак пойди с Богом, робя, скоряя, а то ведь уж полдня-то и прошло».

...Лукерьяин дом большой и старый. Степановы родители в нём прожили всю жизнь и вырастили в нём своих детей, которые к той поре, как Степан заженхался, уже свили свои семейные гнёзда. И лишь младшему — Степану — выпало в отцовом доме жить. Новый строить — нужды не было, и старый ещё крепок, но то ли вот от хозяйского недогляду — нету боле хозяина-то — то ли от времени сдала одна деталь в массивной кровле и лопнула. А лопнула курица-кочерга, и потоку не за что держаться стало — свалился. А дальше уж, само собой, и желобья не удержались. Концы-то ихние в поточный паз были вставлены и за счёт потока снизу да охлупня сверху на крыше только и держались. А как опоры-то не стало снизу, так вместе со снегом и съехали. Один гонт только на крыше и остался. Хоть и закрыто вроде бы, а ненадёжно и дыряво. И теперь вот кровле требовался срочный ремонт.

Ещё издали, подходя к своему дому, заметила Лукерья на крыльце сидящую человеческую фигуру.

«Здравствуй, Лушенька! А я вот только што пришёл да сел, а ты уж и идёшь».

«Здравствуй, Василий Тимофеевич! А я у тати картовь из ямы доставала семенную — вот подзадержались».

«Дело житейско, я ведь тожо токо обрядился на своём подворье. Давай, проводи, показывай, што у тебя за беда».

О Лукерьиной оказии Вася узнал случайно. Будучи от природы человеком застенчивым, он не надоедал молодой женщине, как, бывало, другие, не дававшие девкам или бабам проходу, но вместе с тем часто оказывался там, где и Лукерья. Как бы невзначай, как бы ненарошно, а на самом деле глубоко с умыслом и желанием оказывался. И замирало женское сердечко от мужского внимания, ибо понимала умом-то Лукерья, что не случайны эти встречи, и ценила это внимание, потому как хорош Вася Антипов и всеми уважаем. Но тревожилась душа, и ныла пуще незаживающая рана, каждый раз кровеняясь и беспокоя, как только виделась она с Антиповым. И не давала эта рана — боль утраты мужниной — душе открыться, развернуться, ожить. И ныла, и бодела, не желая заживать. И Вася это понимал; добрая душа — она ведь всегда понятлива. Встретит, это, Лукерью, поговорит с ней вроде как бы ни о чём, слова тёплые да врачующие душу при этом подберёт — вот уж и полегче у бабы на сердце. Так всю зиму прожили, и ни слова он про то, чтобы к нему переходить али ещё чего, и в то же время получается, что он всё время рядом. Вот и нет вроде бы его, а всё одно как-то рядом.

Про загвоздку хозяйственную он так невзначай и узнал при очередной встрече. Увидел озабоченное Лукерьино лицо и, расспросив, узнал. И не звала его Лукерья на ремонт; понимала, что нелёгкое это дело и хлопотное, да и забот у самого в хозяйстве полон рот — сам вызвался. И вот теперь вокруг дома с оценивающим взглядом.

«Ну, вот што, Лушенька, — осмотревшись, заключил бывалый плотник, — мерку я снял, курицу севодня жо и вытёшу — есть у меня матириал. А вот поставить, уж не обессудь, назавтра обещать я не могу. Мне надобно с Кузьмой договориться».

«Дак я тате всё перекажу али вон брату — пособят».

«Не надо! — остановил её Василий. — Я вызвался — я и сделаю! Можот, завтра жо и прийдём, я живо сичас до братана-то заверну. Тут ведь такое дело — отлагательства не терпит».

Благодарная Лукерья слушала его и молчала, не зная что и сказать.

«Можот, чайку бы зашёл выпить, Василий Тимофеевич!» — вдруг, зардевшись, нашла она.

«Нет, Лукерьюшка! — ласково, но твёрдо возразил Антипов. — Сперва надо дело сделать, а чай уж потом распивать».

Назавтрие с утра к дому Лукерьи подкатила телега, запряжённая антиповской лошастью, и двое плотников, соскочив на землю, принялись отвязывать свежевытесанную деталь крыши.

«Здорово, хозяйка! — заметив вышедшую Лукерью, поздоровался за себя и за брата Кузьма Егорович. — Вот, принимай обнову!»

«Здравствуйте! Здравствуйте! — приветливо отозвалась Лукерья. — Проходите в избу».

«Не-е-е! — решительно запротестовал Кузьма. — Нам скоряя не в избу, а на повить. Вася, давай верёвку! Я те сверху конец опушшу, оставайся тут, — он подхватил большой моток крепкой верёвки, поданный братаном, и поворотился к Лукерье: — Ну,

хозяйка, веди в дом!»

Весь день, несмотря на все предложения хозяйки пообедать, два лучших уйдомских плотника не слезали с крыши. Вскрывали гонт, убирали старую сдавшую деталь, подводили и крепили новую, пристраивали поток, поднимали на место желобья... Только ближе к вечеру крыша обрела первозданный вид, и оба Антиповых, устало охлапывая рукавицы, спустились на землю.

«Ну, теперича-то уж проходите в избу да за стол!» — решительно предложила Лукерья.

«Не-е-е, хозяйюшка, извиняй! — возразил ей Кузьма Егорович. — Дома тожо обрести много. Вы уж тут без меня отобедайте. Вася, я у тя коня севодня заберу, мне завтра он занадо».

«Бери, он мне пока што ни к чему».

«Ну, товда прощевайте! — залезая на дрожки, крикнул Кузьма. — Н-но-о-о, милай!» — и пошевелил вожжи.

Лукерья хлопотала, как на свадьбе. Наваристый суп из баранины, рыбный пирог, грузочки отборные малистённые, ягод красных блюдо — всё на стол. Самовар у печи, пирожки да шанежки — всё для гостей. Ну, и шкалик, само собой, ради такого дела... Шутка ли — эдаку работу справить! Крыша-то ведь не сарайчик какой. А остался на всё это съестное великолепие один Вася. И самому ему это показалось поначалу удивительно: никуда братан его не торопился, никакой хозяйственной нужды в коне не выказывал, покуда робили, но мудр и умён Кузьма Егорович... и уехал, сославшись на дела, хотя и шибко ись хотелось...

И вот они вдвоём... Во всём доме Вася Антипов и вдова Колесникова. Сынишка ейный, само собой, конечно, однако ж всё равно вдвоём. И как-то стало им обем неловко за одним-то столом. Вот как если бы чего-то своровали али пакость кому сделали! Сели — и молчком оба. И глаза в пол оба. И морозно в доме им обоим показалось, хоть и печь истоплена. Но какая это всё же замечательная штука — русская водка, ежели её с умом употреблять! Выпили помаленьку, выпили ещё — и вот прошла натяжка. Разговорились да и разулыбались друг дружке. И мальчонка, глядя на них, повеселел — вот и потеплело в доме. Да и в душах лёд подтаял.

«Ты меня, Лукерьюшка, уж прости, што я не шибко речист, — как бы оправдываясь за свою неловкость, смущённо выговаривал гость, — я как-то больше всё руками о себе привык заявлять».

«Это ты меня, Василий Тимофеевич, прости, што за стол созвала, а красново слова и не нашла! — в свою очередь оправдывалась уж и Лукерья. — Зажало в душе чевото, равно камнем привалило — и не своротить!»

«Ну, вот! — сокрущённо развёл руками Антипов. — Опять величать взялась! Да што я тебе, министр какой, што ли, штоб меня величать-то?»

«Да ты поболе министра-то будешь, да и поважнее! — остановила его Лукерья. — Кто жо ишо лучше тебе во всей Уйдоме такую работу, как ты севодня, сделает? Тебя да братана твоево... Как же тебя не величать-то после этово, скажи на милость?!»

«Да уж полно-ко ты, Лукерьюшка! — слабо оборонялся Антипов. — Оно, конешно, доброе слово и кошке приятно, а только от тебя-то мне своё простое имя слышать бы любяя».

«Благодарная я вам обоим! — дрогнувшим голосом проговорила Лукерья. — Поясно кланяться готова за работу вашу, видит Бог, но не могу я тебя, Василий Тимофеевич, не величать».

«А ты попробуй! — подзадорил её Антипов. — Ведь сама жо говоришь, што благодарна и што поясно... Попробуй!»

Лукерья смущённо улыбнулась, опустил глаза, а потом вдруг озорно отскочила от стола и, скрестив руки на груди, истово произнесла:

«Спасибо тебе за работу большущее... Вася!..» — и поклонилась! Да ещё и ниже пояса! И зарделась, будто маков цвет! Подскочила ко столу — да и за шкалик. Плеснула в обе стопочки да — «за здоровье!» И уж больше в разговоре не величала. Хоть и с натугой поначалу, но всё «Вася!» Или «Василий».

Так и провечеряли мало не до потёмок. Но и делу всякому черёд, сколь ни обедай. Встал Василий Тимофеевич, умолкла и Лукерья; чуёт — неспроста встал.

«Переходи ко мне, Лукерьюшка! — ласково прикоснувшись к её волосам, тихо проговорил Василий. — Весь век тебя жалеть буду, сколь Богом отпущено, мальчонку твоево вмистях поднимать станем — переходи, любá ты мне!»

Ох и вздрогнула Лукерья при последних Васиных словах! Хоть и желала душа такое услышать, а всё одно как громом поражённая застыла баба да и покачнулась в сторону. Заметил это Василий, подхватил её, уж ослабевшую, и приобнял нечаянно. Тихо сделалось. Ни звука во всём доме, даже мальчонки не слышать. Поотюшла маленько в Васиных руках Лукерья да и заговорила ласково, в глаза Василию глядячи:

«Любо мне, Васенька, от тебя слова такие слышать, — уж совсем неожиданно назвала она Антипова, — а только не неволь ты меня, ради Христа! Не могу я через себя переступить, ну, не могу — и всё тут! И спасибо тебе за то, што помогаешь мне, што утешаешь да лечишь душу мою словами ласковыми, а только всё одно не неволь».

Ошалел Василий от таких слов и от имени своего, таким макаром из уст Лукерьи прозвучавшего, но ничего добавить не смог. Только потутился знатко. Постоял так, потупленно-то, подле Степановой вдовы да и нашёлся всё же:

«Ладно, Лукерьюшка, будь по-твоему. Только я одно у тебя попрошу: ты мене пособлять тебе не запрещай. И сама, ежели чево, ко мне за помощью не стыдись — хоть чем хошь всегда пособлю! Ладно? Большево мне ничево сичас не надо», — и шапку надел.

— 4 —

На выход к осеку собрались, как на Пасху к церкви. И жонки, и мужики, которые ещё остались в Уйдоме, и ребята малые, и старики. Кто рубить с топором, а кто и проводить на общее благое дело... Пёстрая толпа уйдомцев, вытянувшись в длинную извиляющуюся вереницу, направилась по дороге в поскотину.

Было тихо. Пасмурно, но тихо, хотя и зябко. Ночью пробрасывало запоздалый уж снежок, и он кое-где ещё белел не стаявшими островками, лишний раз напоминая о необычности времени, в которое уйдомцы вознамерились сделать свою ежегодную трудную работу. Но она назначена, она уже началась вместе с движением толпы, и отступать, не сделав её, было никак нельзя.

В поскотине растянулись длинной цепью. Разбились на несколько групп и разошлись в разные стороны по всей длине предстоящего осека. И застучали острые топоры, и закипела дружная работа, сближавшая и объединявшая каждый год уйдомцев в одну большую семью.

Антиповская деревня с Запорожьем не соседствует, но их участки осека своим участком соединяет Порог — деревня, где жили Степана Колесникова родители, а после смерти которых и он сам со своей семьёй. Порог хоть вширь и невелик, но узким поясом пролегал по крайнему уйдомскому угору, как ремень. Одним концом, считай что, в лес упёрся, а другим чуть не до церкви дотянулся. И мало не с версту по угору-то в два порядка окошками друг ко дружке поставленных домов. Ровно межа меж Потылихой-то да Запорожьем, то ли соединяя их, то ли разъединяя большой дорогой, идущей по его середине. И уж, само собой, очень скоро Вася Антипов очутился у осека недалеко от того места, где работала и Лукерья. Конечно, она пошла к осеку, как и все. И топор взяла, хоть и баба. Молодая же, здоровая да и не избалованная бездельем-то... Тонкие ветки ивняка и нетолстые ёлочки были под силу и ей. Как и другим уйдомским бабам. А уж что потяжелей, то мужики помогут.

«Тюк! Тюк! Тюк!» — топоринная скороговорка по лесу.

И шорох, шлёпание об землю кустов да мелких ёлочек.

«Ш-ш-ш-ш-ш-ш», — это уж шарчание их по прошлогодней листве да кочкам под напором уйдомских пацанов, которые тут же наравне с родителями выполняли общую работу.

«Поберегись!» — это уж мужицкие, хоть и редкие, басы, сопровождающие каждую охажку срубленного, заброшенную на самый верх сплошного завала.

И уж не зябко, уж и жарко делается телу от спорой артельной работы, и на глазах растёт в лесу сплошной высоченный гребень из срубленного ельника и кустья.

«Ты бы, Вася, эту рубку-то оставил, — заметив валившего ельник Антипова, предложила ему Агашка Клепикова, за пышные «сладкие» формы при маленьком росте прозванная в народе «Глызкой», — есть ево кому рубить-то. И таскать тожо. Ты лучше-ко заворы на дорогах с кем возьмишь загородить».

«Я пособлю!» — вдруг неожиданно вызвалась Лукерья, оказавшаяся неподалёку.

«Из робят, буди, ишо ково возьмите — кольё-то да жерди подташшить, да мало ли чево. Заворы-то не сделай-ко в дорогах, дак и осек весь броском! Скотина-то дорогой вся потом и выйдёт: поищи-кося в лесу ие потом, да ведь и волки».

«Я своих возьму — не малиньки, — сказал Антипов. — Жердьё да кольё потесать сумеют, а остатки уж я сам с Лукерьей вон управлюсь, — Вася рад, что в очередной раз он, даже не прилагая усилий, лишь по воле случая и судьбы оказался рядом с Лукерьей, а ещё больше рад, что помогать ему та вызвалась сама. — Ты, Лукерьюшка тут вич получше присмотри по кустью-то, штоб кольё заплести мне было чем, а мы с робятами пойдём жердей поищем, — ласково и тихо предложил Лукерье Антипов. — Олёшка! Савка!» — громко позвал он. Из гущи работающих отделились два крепеньких пацанчика и подбежали к отцу.

«Чево, тать?»

«Пойдём со мной жердьё да кольё подыскать, — пояснил сыновьям Антипов. — Ташшить мне пособице, хоть по колу каждый».

«Топорики нам брать с собой ли, как?»

«Один возьмите на двоих — карзать скоряя будёт — а другой оставьте: только замешает, — братья переглянулись меж собой, и младший погодок, вытащив из-за пояса маленький топорик, положил его к обочине дорожки. — Да не на землю! — строго остановил его отец. — И затеряться можот, и затупится. Вон хошь в дерево, хошь в пень какой воткни, штоб видко было сыздале. Привыкай сызмалетства с инструментом-то, как с помощником. Ты ведь без ево, считай, без рук! Так али нет? — малыш смущённо шмыгнул носом и согласно кивнул головой. — Ну, пошли!»

Сосновая гривка расположилась неподалёку. Антиповы пересекли неширокую согру с чавкающей под ногами грязью, густо заросшую олёшником, и поднялись на взгорок.

«Взадь подите — смотрите под ноги получше! — сразу остерёг детей Василий. — И вязучё, и склизко: тово и гляди, подкатисся али оступисся. Так и ногу нарушить недолго. Поняли? — сыновья дружно закивали головами. — Ну, а топерь давай рубить. Вы сосенки нетолсты подсмотрите тутока, штобы на жерди нам стодились, а я в ельник вон схожу за кольём, — очень скоро на небольшой гривке были собраны несколько крепких колов и с десятков ровных сосновых жердей. — Всё, робята! На двоё завор нам этово хватит, — подытожил работу Василий. — Берите кажный по колу, я жерди — и поволокли».

«А мне?» — неожиданно раздалось в лесу, и все Антиповы, оглянувшись на голос, увидели, как из согры им навстречу поднимается Лукерья.

«А ты што, уж всё?» — недоверчиво спросил у неё Василий.

«Как наказал! — улыбаясь, ответила она. — Вич я нарубила и вот к вам. Чево ташшить-то?»

«Ну, бери товда вон кол ли два», — предложил ей Василий.

«А што, жерди мне нельзя?»

«Да жерди-то тяжёлы ведь да долги», — возразил Антипов.

«Ну, вот ишо! — возмутилась Лукерья. — Какавая-то тягость! Што я, малинькая, што ли?»

«Ну, как хошь», — сдался Василий и потянулся ко своей ноше. — Давайте вы вперёд, а я за вами, — ровная неширокая боровинка закончилась быстро, и работники спустились в согру. Под ногами снова захлопало, затрещало полусгнившими сучьями, захрустело кое-где и неставящим снежком. — Ладом смотрите тут! — остерёг опять Василий своих спутников. — Уж лучше потихоньку».

Никто не отозвался; лишь частое сопение малышей да короткие негромкие вскрики Лукерьи при каждом неудачном шаге были ему ответом. Но мало-помалу трудный участок благополучно одолели, и все четверо доташились до нужного места.

«Сваливай сюды, — указал Василий на обочину дороги, — и пошли».

«А чево ты, Василий, с нами-то пойдёшь? — остановила его Лукерья. — Тут у тебя и так работы хватит, а остатки колья да жердя мы сами вытащим».

«А не переседитесь?» — засомневался Антипов.

«Ну, воз-от доташшили — сам видишь — притащим и другой», — успокоила Лукерья.

«Ладно, — согласился Василий. — Только смотрите там, по согре-то, шибко неловкое место».

«Посмотрим!» — весело улыбнулась Лукерья, увлекая за собой антиповских мальчишек.

И никто не придавал никакого особенного значения этому разговору, никто не выделит этот эпизод из общей рабочей картины — рядовое же — лишь сердце у Василия вдруг часто застучало, кажись, прямо по рёбрам, как поздний гость по воротам, словно бы остерегая от чего или предупреждая. Но и Василию на это недосуг. Топор в руки — и за жерди да кольё. Тесать, заостривать, втыкать, плести — мало ли хлопотни с заворотами.

«Та-а-а-а-а! — вдруг пронзительно раскатилось в весеннем лесу. — Татюшка-а-а! — снова ёкнуло в груди — остановился Василий, прислушался. — Та-а-а-а-а! — снова протяжное из согры. — Та-а-а-а-а!»

Пулей с места Василий сорвался и на голос лосем через кустьё да олёшник согорный! Влетел в низину — охти-мнеченьки! — Лукерья прямо посередке согры лежит! Вся в грязи и встать не может!

«Лукерьюшка! — кошкой ловкой, не разбирая дороги, к ней Василий. — Чево сидилось-то?»

«Ой, не знаю я, Васенька, — морщась от боли, еле выговорила Лукерья. — Нога шибко ускочила — встать не можно!»

Она полулежала на боку в весенней грязи, придавленная сверху длинной жердью. Василий отшвырнул эту жердь и протянул руку.

«Держись!»

Лукерья схватилась за его ладонь, и он с силой потянул её на себя.

«Ой! Ой! — громко заохала и застонала женщина. — Ноге што-то шибко болько!»

«Ах ты, Господи! — засуетился вокруг Василий и вдруг, встав на колени прямо в грязь, накинул Лукерью руку себе на шею. — Держись!» — и медленно стал подниматься с ней с земли.

«Ой! Ой! Ой, Васинька, шибко болько в ноге!» — снова закричала и уж заплакала от боли женщина.

Сбежался народ к злосчастному месту, показались немногочисленные мужики.

«Робята, пособите! — возбуждённо выкрикнул Василий. — Нога увязла у ие, как да сломила! — несколько человек окружили Лукерью со всех сторон, облепили, как муравьи большую ношу, и — что делать? — надо поднимать! — Тихонько, робята!» — молит Василий.

«Выздымай стоймя-то, выздымай! — чья-то скороговорка. — Ногу-то, ногу-то тyani!..»

«А-а-а!» — пронзает лес громкий Лукерьян крик.

«Тихонько, робята, тихонько...»

«Обутка-то... обутка-то у ей в гризе осталась!»

«Да болись с ей и с обуткой-то! Ты ногу береги!»

«Ташшы! Ташшы!...»

«Тихонько, робята! Христа ради, тихонько!..»

Вся облепленная грязью, плачущая и охающая Лукерья, наконец, вытащена на сухое, поставлена на ноги и прислонена к Антипову.

«Васинька, пособи! Ступить шибко болько!»

Василий повернулся другим боком, встав со стороны болящей ноги, и накинул снова Лукерью руку себе на шею.

«Ну-ко...»

«Ой! Ой! Ой!» — снова заохала та, попробовав ступить, и чуть не осела на землю.

«Ах ты, Господи!» — воскликнул Василий и вдруг, как маленького ребёнка, подхватил Лукерью на руки и через расступающуюся толпу понёс в сторону деревни.

«Василий Тимофеевич! — закричала вслед ему Агафья «Глызка». — Можот, лошадаь бы?»

«Часом ты с лошадыю-то средисся! — не переставая шагать, возбуждённо отозвался Василий. — Тут, можот, время дорого!» — и дальше без остановки.

«Дак подсобим давай! — не унималась Агафья. — Мужики! Сюды!»

«Сам справлюсь!» — оборвал ей Василий.

«Дак ведь далёко до Порога-то!» — забегая сбоку, стрекотала «Глызка».

«Зато до меня близко!» — окончательно отсек её Василий — и к угору на Потылиху. И на весь угор без передыху!

«Васинька! Я тяжёлая!» — слабо постанывая, пробовала было воспротивиться Лукерья.

«Какая жо ты тяжёлая, Лушенька? — со всей возможной лаской в голосе отвечал Василий. — Мне жо в радость эдак-то тебя нести, а не в тягость!»

«Васинька-а-а!..» — благодарно обнимая Антипова за шею, прижалась к его плечу щекой Лукерья и... заплакала навзрыд!

...«Маня! — ещё с порога крикнул хозяйничающей у печи дочери Антипов. — Сбегай за Шайтанихой! Скажи ей — пусть до нас дойдёт, Лукерью глянет. Только живо! — Маня слабо охнула, завидев, как отец занёс Лукерью, метнулась ко кровати, чтоб расправить... — Потом всё, дочка, потом! — нетерпеливо остановил её отец. — Шайтаниху скоряя приведи!»

Шайтаниха — седовласая сухонькая старушка неопределённого возраста — жила, казалось, на Уйдоме вековечно. Никто не мог сказать, когда она появилась в Потылихе и кто у неё в родстве, но все знали, что к ней можно обратиться с любой немочью. Лечила она уйдомцев кого как: кого-то травами, кого-то глаженьем, кого-то мазями какими-то, а больше заговором, в котором была она великая мастерица! Даже зубы, бывало: спасу нет, как ноют, а она придёт, пошухтает да почертит вокруг зубов какой-то палочкой — и ведь уймались!

К той поре, как запыхавшаяся от быстрого бега Мария вернулась в дом, сообщив отцу, что Шайтаниха сейчас будет, Василий уже помог Лукерье сбросить верховицу, и она грязной горкой высилась посередь избы. Снимать остальную, даже местами грязную, одежду Лукерья отказалась наотрез, и теперь, дождавшись дочери, Василий смущённо проговорил:

«Вы тут разболокайтесь да устраивайтесь на кровати, а я дров пойду налажу да воды нагрёю. Занадо ведь, поди-кося, вода-то», — он вышел из избы и уже на мосту столкнулся с заходящей в дом Шайтанихой.

«Чево тут у вас, Василий Тимофеевич?»

«Да вот Лукерья шибко ногу нарушила — приступить не можот. Уж не сломила ли, поглянь-ко, будь добра, а я в садник пока дровец пойду налажу», — он потянулся к натопорнику за инструментом и, выбрав подходящий, шагнул на выход.

...«Нога у ей не сломлена! — закончив через некоторое время осмотр, сообщила Шайтаниха. — Выставлена только шибко да разодрана, видать, ковды валилась. Но я ие ей выправила, и, даст Бог, скоро заживёт — костьё-то молодое. Ты ие сичас не беспокой, Василий Тимофеевич; намучалась она и пусть поспит, коли уснёт, а после, как разбудится, ты этой мазью ногу ей намажь — она поможот, — с этими словами она протянула Василию кусок берёсты, на которую положена была густая тёмно-коричневого цвета каша, и добавила: — Намажешь ие, значит, мазью этой, и шибко долго ногу не дёржи в мазе-то. Побудёт пусть маленько, а уж после ты водичкой тёпленькой ей ногу и оммой. Только, смотри, тёпленькой, штобы ноге любо, но не боле».

«А как горячэй если?»

«А от горячёво ей только хуже будёт и не заживёт дольше, потому как жилы у ие в ноге урвались и осинело там всё. А мазь моя на пользу будёт. Назавтрие вдругорядь смажешь и опять не надолго. И так кажин день, покуда синь не станёт соходить. Мази этой у меня не много, и ты лишка не смоли, смотри, но ежели занаво — приходи, ишо дам».

«Спасибо тебе! — поклонился Шайтанихе Василий. — Дай тебе Бог здоровья за доброе дело!»

«И вам помогай Бог в излечении и жизни!» — ответствовала Шайтаниха и, не произнеся более ни слова, вышла из избы.

Лукерья и впрямь уснула. Только не сразу, как думала Шайтаниха, а лишь после всех прописанных знахаркой процедур. Уже к спящей прибежала к ней Степанида, услышав от соседей про несчастье, но Василий разговорил её и не пустил тревожить дочь.

«Пусть ие, поспит! — тихо, но властно пресёк он все попытки матери зайти в горенку, чтоб хоть взглянуть на свою попавшую в беду кровиночку. — Слава Богу, што хоть уснула; ей сон счас — перво дело. Эдак ведь намаялась-то, не приведи Господи!»

Прошло часа два, может, поболее — кто знает — но всё это время Василий старался не выходить из избы, чтобы в каждую минуточку быть готовым помочь больной в любой её просьбе. Отправил восвояси её мать, заверив, что они-де с Маней справятся не хуже, выпроводил на улицу своих малышей, чтоб не шумели, и безмолвным стражем так и проходил да просидел подле Лукерьи, пока она спала.

И вот она проснулась. Василий сел подле неё на скамью и внимательно поглядел в её глаза. Они уже давно высохли от горючих слёз, которыми Лукерья нещадно вымочила антиповское плечо, покуда он нёс её до дому, отмытое от налипшей грязи лицо её было спокойным, а на щеках розовел здоровый лёгкий румянец. Она молча взяла вдруг антиповскую руку, положила её на одну свою ладонь и тихонько погладила сверху другой.

«Васинька!.. — ласково и тихо почти прошептали её губы. — Спасибо тебе! — и снова ладонью по его шершавой натруженной руке. «Ну, слава тебе, Господи! — подумал удовлетворённо Антипов. — Лукерьюшка у меня в доме! Недаром говорят, что не было бы счастья, да несчастье помогло». — Спасибо тебе за всё, Васенька, — так же ласково проговорила Лукерья ещё раз, — но только отвези меня домой».

«Вот те раз! — воскликнул Василий. — Што ты, Лукерьюшка! Да какая жо езда с эдакой-то ногой?!»

«Отвези, Васенька! — снова тихо, но настойчиво повторила свою просьбу женщина. — Хороший ты и добрый, а только не могу я у тебя в доме остаться — што люди-то подумают, — она отвернулась вдруг к стенке лицом и несколько раз судорожно сглотнула. — Хорошо мне тут, Васенька, и любо, только ты всё равно отвези меня и не мёшкай, штоб ишо засветло...»

«Да как... да как жо ты, Лушенька, одна-то дома будёшь?» — сокрушённо воскликнул Василий.

«А ты к тате моему меня свези — они и пособят, — предложила Лукерья. Помолчала немного и добавила: — И не дёржи на меня зло, Васенька! Благодарная я тебе за всё, но не неволь ты меня ради Христа. Свези к маме, не могу я у тебя в доме остаться, хоть мне тут и любо. Не судьба мне, знать, а можот, и судьба, да не сичас».

И никакой уж силы не нашлось бы на всём белом свете, которая пересилила бы эту тихую, казалось, но такую непоколебимую женскую убеждённость и мольбу, и Василий сдался. Покорно запряг коня, настелил в дрожки сена побольше, перенёс опять на руках, словно самую большую в мире драгоценность, милую его сердцу женщину, бережно уложил её на мягкое и понукнул лошадь.

Глава восемнадцатая

– 1 –

Первое время после возвращения домой с фронта Тимоха шибко затужил. В доме целыми днями один — по хозяйству, за что ни возьми, на одной ноге не разгонишься... Загорюнился Тимоха от такого житья... Но вот однажды постучала в его ворота Полашка Соплякова — не то девка, не то баба, которую в деревне больше звали по имени отца её — Проньки-«Горемыки». Того зим десять добрых назад заломал медведь-шатун, которому попался Пронька вместе с сыном-первенцем под злую голову. И сына-юнца, на выручку отцу бросившегося, заодно помял бродяга. Хорошо, собака ихна близко погодилась на ту пору, наскочила на медведя сзади, отжила его от хозяйина. Кой-как добрался сын-от до деревни да созвал народ на помощь — вызволили Проньку из беды. Вот только ногу шибко изломил ему медведко; болела она долго, а когда оправилась, ладом уж и не гнулась. И стал Пронька с той поры на ней, как на костьле, горе по земле мыкать, и прилепилось к нему после того это прозвище — «Горемыка». А заодно и ко всему роду его и к хозяйке тоже — «Горемыкина».

Выдана Полашка была ещё при матке на сторону, но то ли прогнали её оттуда, то ли сама сбежала — кто его знает. Пробовала было и на Уйдоме к кому прижиться уже после материнной смерти, да тоже ничего не вышло — так и жила одна. Была она примерно Тимохиных годов, может быть, на год-другой постарше, но не постарался творец, мастерив её обличье. Шибко оно неказисто получилось, да и ростом его обладательница не вышла, но силёнкой да и статью бабьей Полашка к той поре всё же налилась. Вот эта-то Полашка однажды к Тимохе и постучалась. Слово за слово: не подсобить ли, дескать, тебе, Тимофей Антонович, чего по хозяйству? Я, мол, мигом.

«Ладно, — Тимоха ей, — делов в доме всегда хватает».

Полашка и засуетилась. Туда-сюда, туда-сюда — и дело вроде делает, а только заметил Тимоха, что всё больше всхохатывает да всхохатывает. И не смешно, кабыть, а её звон как разбирает! И от Тимохи, нет-нет, да и близко мимо пройдёт. И без нужды особой вроде бы, а всё и рядом. А как стала избу-то убирать, так уж и заденет, это, Тимоху-то. И невзначай будто бы, но то коленочкой легонько толконёт, то рукой об его плечо вроде как обопрётся да и лифом-то своим по Тимохиной-то голове — шашть! Ну, тот сидел-сидел, глядел-глядел на это дело и хоть не о такой бы паре про себя для жизни думал, но да ведь живой же! И как только Полашка в очередной раз мимо его на полицу потянулась, вроде как бы пыль с неё стереть, да жаром-то своим опять Тимоху обдала, тот и не вытерпел. Сграбастал её так, что косточки ейные схрустнули...

С той поры Полашка к Тимохе и запохаживала. Через день да каждый день... А через какое-то время и вовсе осталась. Подумал-подумал Тимоха умом-то своим: где теперь ему одноному красавицу-то писаную сыскать? Ущербен — куда денешься-то от этого. А эта сама пришла, да и в охотку вроде ей Тимоха-то. Опять же не лентюхой оказалась, хоть и «Горемыкой» прозвана в народе... И зажили. А уж как зажили-то, тут сама нужна Тимоху заподстёгивала хозяйство вести. Хошь не хошь, а мужицкую часть забот, будь добр, справь! Дрова накопи, гвоздь заколоти, доску какую или плаху притеши... Тимоха и поднатужился в делах. И поднаторел.

Вот только со вспашкой беда. А уж вовсе запригревало, уж запахали соседи-то свои полосы, а Тимоха? Первое время всё на братьев надеялся — те к весне всегда возвращались — а тут их нет и нет... И пришло тогда Тимохе в голову, что он же ведь как вроде бы не по своей же воле инвалид-то. Что будто бы за общее дело на войне-то пострадал... Он и наладился к старосте за помощью. Родни-то нету.

– 2 –

Отрохичево подворье от Запорожья через три угора на четвёртом. Не стал Захар Петрович к Стуковым Тимоху посылать, хотя и договорено бы вроде всё на сходе было. Слова лишнего не говоря, запряг с подня кобылу, Федьку кликнул — а за ним робята Федькины следом, будто хвостики! — и поехали. Недаром говорят ведь, что-де «с помощью опоздать — всё равно что ничего не дать!..»

«Тпру-у-у! — Захар Петрович натянул поводья, и лошадь остановилась возле дома Отрохича... На крыльце показалась молодая женщина.

«Здорово живут!» — поприветствовал её Захар, подходя ко крыльцу.

«Здравствуйте, здравствуйте!» — улыбаясь, приветливо отозвалась та... На мосту хлопнули двери, раздался частый стук деревяшки, и на пороге появился Тимоха.

«О, как ты скоро, Захар Петрович!.. Проходи в избу».

«Да нет, Тимофей, — возразил ему Захар. — В избу нам не с руки, коли на дело собрались. Ты лучше давай-ко покажи, чево и где ты делать тут надумал».

«Я, Захар Петрович, ноне думал бы не всё пахать-то, — сразу начал Тимоха, направляясь вместе со старостой на усадьбу. — То, што возле дома да поближе — ла-

дил распахать, а дальны полосы — оставить парить. У меня и зерна сямянново столько нету, и сыровато ишо там, да и далёко, а этта рядом возле дому-то».

«С сямянами-то бы пособили»...

«Так-то оно бы и так, — уклончиво протянул Тимоха, — а только жита-то мне много бы и ни к чему — курич всё равно ишо не нажил».

«Ну, это-то недолго! — воскликнул Захар. — Счас по весне-то да по лету станут парить — неуж с тобой-то бы не поделилися соседи цыпкой ли, двумя?»

«Ну, всё одно, — продолжал гнуть свою линию Тимоха. — А вот озимью засиять дальны полосы — это я бы к осени хотел. От озими-то, сам ведь знаёшь, главный хлеб! Вот через то я парить-то и думаю из половины, да и боле».

«Да с озими-то хлеб ведь ноне не возьмёшь!»

«Ну, дак и што? Хлебушок-от и на будущий год занадобится, да можот, и поболе... Здорово, Федька!» — бодро приветствовал Отрохич Власова-младшего, завидев его, хлопчущего возле повозки.

«Здорово, Тимоха!..»

Захар с Федькой осторожно сняли плуг с дрожек и подцепили его к оглоблям, в которые уже была запряжена Лысуха.

«Федька! В повод! — коротко скомандовал Захар. — Загон прочертим, ты потом паши».

Плугов ещё совсем немного было во всей Уйдоме, но Власовы приобрели в своё хозяйство этот инвентарь одни из первых. Поднатужились, скот кой-какой продали, но приобрели. Шутка ли: железо ведь! Разве с деревяшкой-то сравнишь?! Что хочешь вспашешь им: хоть мягкое, хоть новину и на сколь хочешь! Захар бережно взялся за рукоятки и, приподняв лемех, осторожно подкатил плуг вслед за лошадью к началу полосы.

«Ну, с Богом! — перекрестился он и крепко ухватился за рукоятки. — Н-н-но-о-о, Лысуха! — жирная влажная земля легонько хрустнула под острым лезвием остатками прошлогодней травы и нехотя отвалилась в сторону большим чёрным бугром. — Прямо! — коротко вскрикнул Захар, держась за рукоятки плуга. — Прямо, Лысуха!»

И чёрная полоса первой борозды, рассекая участок надвое, потянулась по угору. На ней тут же появились невесть откуда взявшиеся скворцы, деловито принявшие искать себе поживу. Длинноногая жеребушка, увязавшаяся было за матерью, в изумлении остановилась, увидав впервые такое в своей жизни, и, пугливо прядая ушками, осторожно опустила изящную головку, с любопытством обнюхивая вывороченный пласт.

«Н-н-но-о-о, Лысуха! — властно покрикивал на лошадь Захар. — Пр-р-рямо!.. Што, за зиму разучилась прямо-то ходить?» — уж никак не обойтись без извечной этой крестьянской присказки в адрес тянущей плуг лошади! Уж хоть того ровнее она иди, хоть того усерднее тяни, а непременно полукаламбурно-полусердитое изречение из уст хозяина всё равно услышит за день и не раз! А в общем-то, и доброе, хоть и громко сказанное, ежели тянешь исправно. Уж так повелось.

«Пантя, едрёна мать, куды ползёшь?.. Под копыта угодить захотел?»

«Не-е-е, дедушко, не захотил, — отпрянув, оправдывается парень. — Мне шшуров надо банку насобирать».

«На кой они те болишь?»

«Стуковы робята посулились рыбу удить взять с собой, коли я шшуров насобираю».

«А миня?» — несётся над пашней тоненький голосок всеслышащего Тишки...

«Татя не пустит!» — сердито нахмутив брови, отзывается брат...

«Пустит, пустит! Тибя-то опускаёт. Татюшка, опусти миня с има!..»

«Ах вы, шельмецы! — возмущённо восклицает отец. — Я сколько раз говрил: не суйтесь к Курженьге, кожды она взыграёт, а вы што?!..» — но отец сердит только для острастки. В душе-то он радёхонек за сыновей, хоть и обеспокоен, как и всякий родитель. Проныры растут, везде успевают — так и надо парню-то в ребячестве, иначе какой с него потом мужик...

«Татюшка, мы боле не будём! — жалобно тянет сразу за двоих старший. — Опусти нас, ради Христа, Стуковы робята большие — пособят, коли чево».

«Ладно уж, — с тихой радостью в душе меняет гнев на милость Федька. — Подите оба».

«Ур-ра-а-а-а!..»

Домой поехали уж ближе к вечеру. Решили по подгорью — вроде сохло целый день — и вышло верно. Лысуха не спеша тянула лёгкие дрожки, устало переставляя натруженные ноги, запосапывали присомлевшие за день малыши, бойким козлёнком под-

прыгивала обочь жеребушка, и со всех сторон разноголосила весна. Под радостную эту и привычную музыку знакомых звуков полдороги молчавший Захар вдруг задумчиво заговорил:

«Вот што, Федька, я тебе скажу: собирайся-ко ты завтра на Леднёво чищенье... Станём излажать да жито сиять».

«Дак ведь овёс жо собирались, да и лён из половины».

«Безо льна на продажу как-нибудь да обойдемся, а заместо овса кобыле сена можно сунуть, коль пристручит!..»

«А чево жо эдак-то, татя?»

«Не совладать нам будет нонича с германцем... Хлеб ишо больше будёт всем нужен, и станет он ишо дороже. Или, будича, отоберут силком, дак надо хоть в запасе сохранить... А потому нам надо ноне, как мога, участки все засиять. Леднёсько чищенье из половины житом, а остатки под горох. Ево-то до Семёнова дня скосим — и под озимь. Надо-то бы прошлый год под озимь было всё пустить, да ведь кабы знатьё!.. И вот ишо што, Федька... — Захар понизил голос, будто его ещё кто-то мог слышать, кроме сына, — я-то ведь не вечен, а ты помни: чую я, што дело это верное. Или мы заробим хорошо, коли в сезон всё продадим, чево наростим, или с голоду не вспухнем, коль отоберут, а мы запас припрячем. Понял?..»

Глава девятнадцатая

— 1 —

Три главных дела задумал Гришка осуществить в набравшем силу году. Во-первых, поставить избу. Именно поставить, а не просто срубить сруб. Для того и место будущей избы выбрал рядом с родительским домом. Чтоб и ходить близко, и полосы рядом, и старики под присмотром будут.

Во-вторых — вырубить чищенье. Чтоб и свои полосы через год-другой иметь. Место для новины он приглядел сразу же, как воротился. Ещё когда с отцом ходили репны ямы излажать, заметил он веретейку за ложком. Не шибко велика, но гладенькая, и березнячок на ней ещё силу не набрал. Да и негусто его, срубить можно скоро. В одну сторону, правда, веретейка в конце начинала косогорить и заросла уж олёшником, зато в другую ограничивал её порядочный ельник. И эта другая сторона была аккурат северная. А значит, защита от студёного ветра была хорошей. Приглянулось это место ещё и потому, что близко: только под угор спустись, за ложку переиди — и вот она, веретейка; знай, паши да сей!

«Конечно, потом надо будет и огородить, — думал Гришка, — но это уж потом. Сичас главно вырубить да льном засеять. На будущий год под гороховище устрою, а ещё через год...» — тут мысли Гришки обрывались, потому что входили в самое своё сокровенное и тайное, куда он не решался часто заходить, дабы не отпугнуть возможную удачу.

Дело в том, что была у него ещё и третья задумка: засеять лучший участок отцовских полос той пшеничкой, которую он принёс с собой из многолетних скитаний. Пшенички этой и всего-то было фунта с три, но зато какая это была пшеница! Увидел её Гришка у одного вятского мужика, когда работал там в последний год скитаний на строительстве «чугунки». В первый раз как увидел — обомлел! «Это што жо за диковина такая тут растёт?» — подумал.

Поле перед ним раскинулось по виду хлебное. Сыздале даже подумал, что там жито, а поближе-то подошёл — батюшки светы, вот так жито! Стебли толстые короткие, как и у жита, но вот колос... Будто шишка еловая отсевшаяся топорщится! Только шишка чешуёй книзу на ёлке висит, а этот торчком стоит на стебле. Только некоторые, видать раньше других созревшие, вниз загнулись. А зёрна!.. Так и прут во все стороны, словно чешуйки в расшашанившейся шишке! Да крепкие-то, да налитые-то! Оторвал Гришка один колосок — взял грех на душу — размял на ладонях уж почти спелый колос (с трудом размял) и ахнул в душе. Зёрна против ржи почти что вдвое больше и числом ничуть не меньше. «Тут ведь и курица с одново колоса наесса, а не то что воробей!.. И ни остинки!»

Поклонился он хозяину, как прознал, кто он, покаялся за сорванный колосок — заплатит, говорит, за него готов, а только скажи ты мне, говорит, друг сердешный, что это за диво такое? Тот и рассказал, что пшеницу эту безостую он за большие деньги купил где-то на Кубани на свой страх и риск. Привёз домой, развёл, а она и прижилась. И теперь, говорит, пшеничка эта мне и дом вырастила, и усадьбу большую, и всё, что в усадьбе полагается, тоже. Потому как спрос на неё не только в округе, да и цену всегда дают хорошую: хлеб из неё получается отменной белизны и вкуса.

«А ты мне, мил человек, не дашь ли этих зёрен хоть бы с горсть?.. Я ведь не задаром, я заплачу».

«Нет, парень. Тут всё моё богатство и сила!..»

Но запала в Гришкину голову эта задумка, и решил он с другого конца к мужику этому подойти. Потребовались тому на осень работники страдные, Гришка и вызвался. Да так старался, что хозяин подивился!

«Всякое, — говорит, — видел в жизни, но штобы эдак робили наёмные — ишо не видывал ни разу! Ведь как на своём ты, парень, ломишь-то!»

Кончилась страда, время расчёта подошло — не поскупился хозяин с оплатой.

«Спасибо, — говорит Гришка, — тебе, мил человек, за хлеб, за соль, за тёплую постель, а только платы мне твоей не надобно!» — и руку хозяйскую с деньгами от себя отодвинул.

«А чево жо ты хочешь, парень?» — полез глазами на лоб удивлённый мужик.

«А ты мне дай твоей пшенички с горстку — мы и разойдёмся... Домой я лажу воротиться. Дело своё собираюсь зачать: дом построить, семьёй обзавестись, штоб жить по-человечески. Как ты, к примеру».

«А откуля жо ты родом, парень? Где дале жить наладился?»

«С Двины я. Там и жить собрался весь остаток жизни».

Хозяин вдруг встал с лавки да и шагнул на мост:

«Пошли! — выбрались они в амбар хозяйский, сунул мужик Гришке в руки пустой туесок, открыл крышку заветного ларя с диковинными зёрнами и коротко бросил: — Набирай! — насыпал Демидов отборных зёрен полнёхонек сосуд и ко груди своей, как самое драгоценное и святое, прижал. — Настояшшу жилку хозяйскую в тебе, парень, знатко, а хозяин хозяину пособлять должен. Сила державная ведь не на линтяках да проходимцах дёржится да прирастает, а на хозяине!.. Года через два-три, коль всё благословесь, ты урожай и соберёшь себе в прокорм, а там и на продажу. Будь здоров, парень! Хозяйничай себе во благо».

И с крепким мужским рукопожатием они расстались.

И вот с той поры носил эту пшеничку Гришка во своей котомке, как самую драгоценную ношу, стремясь как можно скорее донести её до земли. В первую весну не довелось; уж так сложилось — не попал Гришка домой к посеву. И вот теперь — во вторую уж весну — он рассеял свой клад по лучшей грядке чуть ли не по зёрнышку да в рядки. Пшеничка эта и была той главной пружинкой, которая и толкала его по весне катить льнище, несмотря на все отговоры дядюшки Ольки. Ведь тот был прав — и Гришка это понимал — новые полосы сейчас не главное, хватит и отцовых. Но дядюшка не знал про Гришкину тайну. Тогда не знал. Один отец только да мать, как хозяйка, знали о значении и назначении тех зёрен в туеске. А Гришка уж чуть ли не воочию видел, как заколосится чудо-зёрнами веретья за ложком, как будет в заветерье ей уютно взрывать под тёплым солнышком, как даст Бог, разродится она диковинным урожаем. И вот теперь Гришка всяк день начинал с заветной грядки. Выйдет на неё, всходами полюбуется, сор, какой проклюнулся, вычистит и уж потом только за другое дело.

— 2 —

Оставалось последнее — сруб. А может, первое? «И так ряди, и эдак — нету ни первого, ни последнего, — думал Гришка. — Всё главное: хоть сруб, хоть грядка пшеничная, а хоть и чищеньё». Но сруб — эт-то дело не единого дня. Да не единого же и человека. Во всяк дом рано или поздно забота эта — избу рубить — приходит, и всякий раз её всем миром решают.

Уж хоть как бы она ни была тяжела, доля крестьянская — круглый год в трудах — а помочи в ней наособицу. Уж хоть и не по одному десятку раз за весь-от год деревянеет рубаха от солёного пота, но сколько же прекрасных и милых душе крестьянской картин на этом извечном и трудном пути! Молотьба дружная по осени, пахота по весне, семейный осанистый зарод на покосе... Всё в трудах, всё в поту телесном, а ведь как любо, когда видишь, что всё сделано на совесть!

И всё равно главнейшей и первейшей картиной в этом ряду стоят в быту крестьянском помочи. Может, от того, что не кажин день, да не кажин же и год даже. А может, оттого, что с помочей зарождение новой семьи начинается, и душе человеческой особю любо в этом участие своё обозначить. С чужой вроде бы душой навек опосля сродниться. По-особенному всей деревней воедино слиться, как в одну большую семью. Так оно или ещё как-то иначе, а только во все времена помочи в деревне сродни празднику. И свершались, и свершаться будут, сколь деревне веку отпущено. Как основа деревенского лада и союза. Как основа благополучия людского. Как основа всех основ и всей жизни! Война ли, мор ли какой навалились, а помочи — это как ответ деревни на все напасти! Вот, мол, мы какое племя людское. Нас ветром судьбным гнёт, напастями житейскими сечёт, а мы всё одно стоим! И мало того — живём! Как не живём, коль строимся?! А коль строимся — знать, и жить будем.

...После Троицы собрались Демидовы на семейный совет. Все собрались, от мала

до велика. И каждый понимал: большое дело налажается, и делать его надо вот сейчас, пока не грянул сенокос, и руки хозяйские более или менее развязаны.

«Ково звать станём, Гришка?» — на правах старшего начал разговор дядюшка Ольга.

«Это, пожалуй, дядюшка, тебе виднее будет... У меня, кроме Антиповых да Власовых, и на уме-то нету никого».

Начали по одному перебирать всех плотников, которые ещё остались в деревне и были в силе. Выходило, что совсем негусто их осталось в Уйдоме — всех молодых война сглотнула.

«Я так думаю, что Стуковым сказать надо будет», — закончив невесёлый перебор, заключил дядюшка.

«Справные работники!» — согласилась Пелагея Антоновна...

«Ето ладно, — согласился Гришка, — но ведь маловато».

«Евсея «Котёнка» можно», — поддавшись общему настроению, вступила в разговор Лина. Всю зиму, считай, молчком девка прожила. Как узнала про погибель зазнобушки своей — Миколы «Котёнка», так и ушла в себя, ровно улитка в скорлупу. И вот вступила... Молвила да и зарделась, голову опустив.

«Дельно сказано! — поддержал её отец. — Толковый плотник...»

«Офони «Топорёнка» парня можно взять, — вспомнил Гришка про своего ровесника. — Он хоть и не чует ничево, но рубит справно».

«Надо свату наказать, — предложила Пелагея Антоновна. — Можот, у ево кто на примете есть?»

«Мария, — обратился к Мане дядюшка Ольга. — Это по твоей части».

«Угу! — быстро кивнула головой девушка. — Я севодня жо к тате сбегаяю...»

«Кормить-то чем?» — переключилась на свои хозяйские заботы Пелагея Антоновна.

«Ягушку, буди, нарушим давай», — предложил дядюшка Ольга.

«Жалко ягушку-то, — возразила Гришкина мать. — Молодинька, да ведь и малинька ишо. Давай, буди, овчу серу. Ей уж скоко годов...»

«Хо, овчу! Куды ты с мясом-то потом? Овча-то не ягушка ведь, зараз не съешь. А жарко-то — соприёт тово часу».

«Ну уж и не съешь, — не согласился Гришка. — Ты, дядюшка, хватил: боле десятка мужиков-то соберетча, да с брёвнами напетаютча. Много ли в овче и мяса-то на эдаку ораву да после такой-то петки? Овча-то не телёнок ведь».

«А какое если останется, то можно и на холод», — прозвучал опять певучий голосок тётушки Нино.

«Н-ну, пожалуй, это верно, — смущённо скребанул в затылке дядюшка Ольга. — Давай товды овчу».

«Ишо и рыбников бы можно напикчи», — внёс своё предложение Алексанко.

«Рыбники-то хорошо бы, дак где рыбу-то нам взять?» — возразил на то дядюшка Ольга.

«Наудить можно, — проговорил Алексанко. — Курженьга уж пробежалась, и вода светла».

«Ну уж и наудить, — пренебрежительно перебил племянника дядюшка. — Много ли ты наудишь со своими удами-то?»

«Наужу! — обиженно насупился Алексанко. — Хайруз ноне хорошо клюёт, и шшука заходила».

«Эк хватил! — снова недоверчиво воскликнул дядюшка Ольга. — Шшуку-то век свой на уды-то не лавливал никто!»

«Ежели втроём с има пойдём, — кивнул Алексанко на маленьких братанчиков, — то и киньги посмотрим...»

«За овчу-то ты, Гришка, возьмесся али мне поручишь?» — перевёл разговор на другое старший Демидов.

«Давай-ко ты, дядюшка. У тя сноровки в этом больше...»

«Брагу-то варить ли?» — улыбнувшись, спросила тётушка Нино.

«Бражку-то? — улыбкой на улыбку отозвался ей супруг, оживлённо потирая руки. — Бражку можно!...»

«Дак много ли варить-то?»

«Ну-у-у, будича ушатики нибульшой... Но штоб не боле трёх стаканов на работника. Нам драка на подворье ни к чему».

...На третий день в демидовском дворе как на базаре. Народу-у-у!.. Мужиков собралось с дюжину, хозяйки суетятся, дети гомонят. Большое дело начинается — строительство нового дома — каждому в нём охота поучаствовать. А ежели и нет, то хоть бы глянуть да порадоваться вместе с хозяином. Гришка в новой рубахе с широким кушаком, на голове картуз отцовский — как же, именинник!

«Ну, племянничек, — улыбаясь широко, прихлопнул Гришку по плечу дядюшка, — ты — хозяин, тебе и командовать».

Гришка смущённо улыбается — не по возрасту чин — а делать нечего.

«Я так думаю, мужики, што командовать всем делом надо тестю моему поручить, — начал он. — И года, и сноровка в деле на евонной стороне, а я уж только про свои задумки ему обскажу»...

«Ну, коли так, — молвил тот, — давайте уговоримся: хто пазить, хто углы править, ну, а хто митить да коксовать».

«За углы это, Василий Тимофеевич, ты сам в первую очередь возьми, — предложил Оляка Стуков. — Середь нас тут никово не будет, хто бы это лучше сделал. А в избе угол, сам знаешь — перво дело! И для тепла, и для крепости. А мы уж на пазы станём».

«А коксовать ково?»

«Да вон хоть и моих робят».

«Што, мы малиньки, што ли, коксы-то колотить? — обиженно прогудел народившимся баском старший из братьев Стуковых. — Мы и пазить можем не хуже других».

«Свою постройку нонь зачнём дак напозитесь, — примирительно успокоил его отец. — А коксы не прослабить да попасть — тожо суметь надо. Да и помоложе вы, сподручней мох-от вам таскать»...

«Ну, вот и ладно, — подытожил Вася Антипов, достал из-под пояса топор и слегка поплевал на руки. — с Богом, што ли?»

«С Богом, мужики!» — наперебой отозвались плотники.

Все разом стащили с голов картузы и повернулись на восход. Истоиво троекратно перекрестились и глубоко поясно поклонились в сторону поднимающегося светила. С Богом!

Глава двадцатая

— 1 —

Из дождя да в дождь катилась летняя страда по крестьянской жизни. Да чего там катилась, ползла, сказать точнее, да ещё и нехотя, да ещё и вперевалочку. Ох и воды же накопилось где-то там на небесах! Веком, кабыть, такого лета не бывало сеногнойного! Но и дождю пришёл-таки конец. Громыхнуло на «Илью», как и всегда, знатно, ливануло напоследок как с ушата — нате вам, дескать, хоть пейте, хоть залейтесь, а всё одно больше нету! И ведро. Да изо дня в день! Да и тепло! Ох как хлебушко в налив пошёл! Ох, ягод понардело! Грибов... И опять забота: как убрать? И рожь поспела, и жито на подходе, и ягоды назрели. Да ведь и сенца не грех прибавить. Хоть какого-нибудь... По эдакой-то погоде вся отава кверху кинулась, как будто настегал её там кто-то под землёй, и она изо всех сил застремилась убежать от обидчика. Чем не сено, коли ведро?!

И опять с утра до вечера все в деле. Бабы со снопами да с серпами, мужики с косами на отаву — сенную недостачу хоть на сколько-то восполнить — ну, а детишки малые все в лес. Бежать от дому недалёко, даже за осек не переходя, лукошко-то насобирать под силу. Ну, а если уж постарше кто, да и подальше отойдёт, где полесистее — там ясно, что поболее можно взять, и ягода крупней. Но и поближе всё одно прибывает. Федькины ребята хоть и маленькие — одной только Дашутке за десяток-то перевалило — но всеми-то за день, смотришь, и притащат хоть с ведёрко. И взрослых накормят, и сами в лесу-то наедятся...

Понесло паутинку. Уж так-то густо понесло её в погожие-то дни, и птицы в перелёт пошли, — а всё и ведро! А всё и работа: убрать, убрать, убрать.

«Тебе, девка, не в тягость ли внаклонку-то?» — обратился как-то раз к совсем уж затяжелевшей невестке Захар Петрович. Настенька улыбнулась застенчиво, огладив уж хорошо выпиравший живот, и отнекнулась смущённо:

«Не, татя. Я потихонечку, дак и ничево».

«Я к тому, што на леднёвську навину пора бы жать уж налажатча, а там жито ноне знатное наспело. Ты-то как?»

«Да ведь как все, коль надо жать...»

«По срокам-то ковды тебе...» — Захар осекся, не договорив свой вопрос, но невестка поняла его. Улыбнулась и успокоила:

«Дён десять ишо надо походить».

«А чево товды за спину дёржисся?»

«Да отлёжала, видно, — смущённо пояснила Настенька, — неловко на боку-то...»

«Ну, смотри сама... там, конешно дело, кажна пара рук на счету — эка сушь стоит! Тово и гляди — зерно-то осыплитча, но ты смотри».

«Поеду я, татя, — твёрдо заявила Настенька. — Все поедут, и я поеду».

«Ну, товды ползи на воз первой да устраивайся половчая», — предложил Захар,

кивая на дрожки.

«Ой, нет, нет! — запротестовала Настенька. — Я лучше уж пешком. Тут недалёко ведь и ехать-то; покуда вы дорогой, я уж спрем и дойду — мне так любя... Робят вон лучше посади на воз-от, — подсказала невестка. — Там ведь поболее ягод-то, пусть поберут».

«Не к месту им, ишо заблудят лесом-то, ишшы потом».

«Не заблудим, дедушко! — прорезал утро звонкий голосок Дашутки. — Я уж там бывала за горохом и то место знаю».

«Вишь ты! — одобрительно-восхищённо отозвался Захар. — Ну, коли так, ползите все на воз, — трое внучат проворно забрались на дрожки. — Н-но, Лысуха! — понукнул Захар кобылу. — Мёшкать нековды!»

..Весенний расчёт Захара Петровича оправдался сполна. Жита narosло густо, стебли у растений мясистые, колосья толстые, ядрёные и с такими пышными усами, что, того и глядя — уколешьсяя.

«Стешка! — напутствуя на работу своих женщин, объявил Захар. — Шибко бульшие снопы не вяжите — хлеб тяжолой... И не таскайте по жнивью-то; где завяжите, там и оставляйте — всё одно возить сразу. И за Настенькой приглядывай, — уж отведя жену в сторону, только одной ей проговорил Захар. — Не гленитча она мне севодня што-то, спокою нет на сердце».

«Ладно, давай, — тихонько проворчала Степанида, — мы нашо бабье дело знаём. Возите лучше».

Первый воз нагрузили довольно скоро. Четыре пары женских рук проворно делали своё крестьянское дело, и увесистые снопы один за другим появлялись на жёсткой стерне, а после этого сразу и на возу.

«Ну, мы поехали, — заканчивая увязку, подвёл итог Захар. — Шибко-то не пересажайтесь; пока мы издим — всяко воз-от нажните», — он тронул вожжи, Лысуха натянула гужи, и первый воз жита мягко покотился по лесной дороге.

«Чево бы это он за Настю-то? — подумала, проводив мужа глазами, Степанида. — Всё ведь как всегда: жнёт и жнёт». Она немного повернула голову в сторону и вдруг вместо привычно согнутой фигуры жницы увидела только одну невесткину голову, торчащую посередине житного поля.

«Ты чево, Настенька?» — проворно подбегая к сидящей на стерне у самой кромки жита снохе, воскликнула Степанида.

«Да... поясничу што-то шибко заломило — еле разогнулась, — пояснила та и коротким движением смахнула выступившие на лбу капельки пота, — посижу маленько...»

«Ты на сыром-то!» — всплеснула руками Степанида.

«Да тут не сыро, — тихо возразила Настенька, — да и подослала я...»

«Чево-то ты подслала тутока — платок один, — ворчливо возразила Степанида. — Дай-кося хоть сноп тебе подсуну, — она схватила лежащий поблизости сноп и проворно подтащила к сидящей. — Ну-кося, привстань, дак я подсуну».

Настенька приподнялась с земли, встав на колени, и вдруг, громко охнув, повалилась на руки и встала на четвереньки.

«Ой, болько мне шибко!» — разнеслось по лесу. Она высвободила одну руку и стала тереть ею поясницу. На лице её снова выступили капельки пота, всё его исказила болезненная гримасса.

«Охти! — всплеснула вдруг руками Степанида, оглядев невесткин подол. — Да ведь ты, девка, уж рожать, поди-ко, зачала!»

«Ой, да што ты, мама, — болезненно скривившись, возразила Настенька. — Не сроки мне ишо рожать-то, так чево-то заболело... о-о-о-ой..!» — новая порция болезненных восклицаний пронзила лесную тишину, и на её звук сбежались уж и Лукерья с Анисьей.

«Чево тут у вас?» — запыхавшись, воскликнула Лукерья, увидев стоящую на четвереньках Настеньку.

«Чево, чево, — ворчливой скороговоркой отозвалась мать, — рожать она счас будет — вот чево!»

«Ой! — настал черёд всплеснуть руками и Анисье. — А делать-то чево топеря? Наши-то уехали уж».

«Разболокайтесь котора-нибудь да поскоря! — властно скомандовала мать. — Исподняя рубаха мне занато и воды хоть сколько-то».

«Охти, мамушка, дак тёплая бы надо-то!» — опять всплеснула руками Анисья.

«Да болись с ей и с тёплой-то! — резко перебила её мать. — Часом топеря обредисся. Ташшыте хоть бы с ручья, — Анисья пулей сорвалась за водой, а Лукерья, проворно раздевшись, протянула матери исподнее. — Чево стоишь, как суслон?!» — прицкнула на неё Степанида.

«А чево делать-то?» — растерянно развела руками дочь.

«Чево делать, чево делать... снопов ташшы скоряя да поболе! — Лукерья бросилась по жнивью, почти без остановки подхватывая завязанные уж снопы. — Режь! — всё так же решительно и властно командовала мать, когда увесистые пуки свежесжатого хлеба появились у её ног. — Да россыйшай скоряя, штоб потолше было да поровня! — как белые молнии, замелькали в воздухе две пары женских рук, готова высокую подстилку из стеблей жита. — Ложись, Настенька! — проговорила Степанида. — Тут половчяя тебе будет».

Она осторожно подхватила сноху и стала медленно поворачивать её к подстилке. Настенька молчала, но по её лицу видно было, что боль не отпускает её вовсе, а лишь ослабила немного свою хватку. Женщина повернулась к подстилке и тяжело перевалилась на неё боком.

«О-о-о-о-ой, мамушка!» — опять пронзительно закричала и снова рукой схватилась за поясницу.

«Ложись давай скоряя на спину-то, легче будёт, — решительно распорядилась Степанида. — Лушка, притащшы ишо хоть снопа с два да рядом брось!»

«Чево тут сдялось-то?!» — раздалось вдруг за спиной Дашуткино восклицание.

Степанида резко обернулась назад и увидела за спиной всех троих Настенькиных детей.

«А ну-ко живо отсель! — сердито прикрикнула она на них. — Штоб духу вашово тут не было!»

«Бабушка, не ругайся, мы уйдём, — попробовала остановить её Дашутка. — Ты только нам скажи, чево тут сдялось?»

«Ничево не сдялось».

«А пошто мамка наша так кричала?»

«Поясничу у ие схватило, — опустив глаза, попыталась отговориться Степанида, — переселась, видно, вишь — лёжит... — глянула коротко на притихшую внучку, перехватила её укоризненный взгляд и вздрогнула внутренне: «Ниужоли догадалась? — пронеслось в мозгу. — Ниужоли поняла чево?» Устыдилась отговорки своей и уж более мягко обратилась к девочке: — Поди, робя, поди с Богом! — и рукой по длинным льняным волосёшкам. — Все подите, ягодов поберите, — нашлась, обращаясь уж ко всем. — Мамка сичас оклемается, а вы ей ягодов насобирайте той порой — ей и любо будёт».

Она снова погладила внучку по голове и улыбнулась при этом. Напряжённое Дашуткино личико расслабилось, озарилось лёгкой улыбкой, и она, всё-таки, видать, поняв в чём дело, проворно развернулась и, распахнув в стороны руки, будто крылья, решительно увлекла за собой братиков.

«А ну, побежали живо мамке ягодов набрать!» — и все трое быстро скрылись в лесу.

«Мама, а снопы-то мне куды?» — срывающимся голосом спросила подбежавшая Лукерья.

«Вот этта брось!» — коротко указала мать на место рядом с лежащей Настенькой.

«Резать?»

«Режь!» — снова взяв инициативу в свои руки, командовала Степанида.

«Ишо-то чево делать?» — резанув серпом по соломенным завязкам, торопливо суетилась Лукерья.

«Подол вон задери... — кивнула мать на лежащую Настеньку, — да росстели пошире низ-от... — она повернулась к торопливо подошедшей Анисье и резко протянула навстречу ей свои руки. — Лей! — та быстро наклонила объёмистый туесок — извечный спутник Власовых во всех подобного рода походах и поездках, и чистая родниковая вода широкой струёй полилась на руки матери. — Живо ишо ташшы! — коротко командовала Степанида, и Анисья проворно кинулась обратно в лог. Мать торопливо вытерла мокрые руки о фартук и быстро повернулась к снохе. — Ой, девка! — всплеснула руками. — Да как жо ты себя эк довела-то? Ведь у тебя уж всё открылось!..»

«Да я думала не срок ишо», — мучительно кривясь от боли, оправдывалась Настенька.

«Ты малинькая, што ли? — не унималась свекровь. — Ведь кабы в первой раз... Неужто не приметила с утра-то ничево?»

«Да как жо не приметила-то, — превозмогая боль, с трудом выговорила Настенька. — Ночесь ишо болела поясница, да ведь думала, што, можот, так чево али с устатку со вчерашнего...»

«Какой-то устаток жопянной! — ворчливо перебила её Степанида. — Баба на сносах, а всё — устаток!»

«Да гожо ли в такую-то погоду дома оставатча? Ведь эко жито narосло... о-о-ой, мамушка... о-о-о-ой», — и протяжный женский крик снова раскатился по лесу.

«Тише ты! — прицыкнула Степанида. — Робят-то всех перепужаёшь... тужься то-

перя, уж пошло...»

...«Ну вот, а мы-то думали, што заворотимся да сразу жо и взадь, а тут и нагружать-то ишо нечево! — голос Захара, ещё издали прозвучавший, явно отливал недо-вольством. — Чево вы тут столпилися-то? Где снопы?»

«Не снопы тебе надо грузить, дедко, а внука новово да Настеньку!» — улыбающаяся Степанида торжественно отступила в сторону, и перед оторопевшими мужчинами открылась слабо улыбающаяся ещё вспотевшая Настенька, лежащая на подстилке из жита, а рядом с ней завёрнутый в чьё-то исподнее поквахтывал, словно курёнок, маленький краснолицый человек.

«Ух ты!» — только и нашёлся выдать из себя Захар, освобождая затылок от картуза.

«Настенька!..» — одно лишь слово выдохнул Федька и бухнулся коленями прямо у изголовья жены. Посмотрел на её измученное ещё, но всё равно счастливое лицо и, как девка на выданье, разразился вдруг обильными слезами, не стесняясь родни, и затрясся всем телом в крупных рыданиях.

— 2 —

«Ну, вот и радость в дом! Ну, вот и слава Богу, што ладом всё обошло; и мати не намаялась, и робёночек здоровенький! — думала про себя Степанида, покачивая зыбку в перерывах между делами. — Шибко это к месту всё: и робёночек, и здоровьё. Топеря прошлогднёй совсем забудитча да новым загородитча. А то ведь эка горё было девке...»

Степанида живо припомнила страдания снохи после похорон годичной давности, когда та лишилась малого дитя, а сама Степанида внучки. Вспомнила, как весь власовский дом обуял липучий страх, что их невестка помешалась после мучительной смерти своего ребёнка и что удел её — мучения остаток дней. Но вот всё обошло: и забеременела благополучно, и к жизни воротилась, да и разродилась вот ладом. Ну, а что в поле — эка невидаль. Хоть и неловко, а не первая.

Но вот Лукерья... Как от какой-то тихой чёрной немочи день ото дня всё больше и больше уходила она в себя, и всё недоступнее становилась её душа для всех домашних. Сынишку только потетешкает пооткрытее и снова как улитка в скорлупу. Уж и молились, уж и в церкви во исцеление молитву заказали — всё без толку. Постарела Лукерья, прямо на глазах постарела. И телом, и ещё больше, видно что, душой.

«Сходи-ко ты к Шайтанихе, дочка, — растроженная мать уж и не знала, что и посоветовать. — Можот, наговор какой-то на тебе лёжит али сглаз какой — ето она можот исправить».

«Какой на мене, мамушка, наговор? — тяжело вздохнув, проговорила Лукерья. — Нету на мене никаково наговору, да и быть-то ему не с чево... Наговор — это ежели кому чево худое сделал, а кому я чево худое сделала? Кому дорогу перешла?.. И уж коли мне послано всевышним што-то, то скорей печать это какая-то, а не наговор али сглаз», — завершила свою мысль Лукерья.

«Ну, вот и сходи к Шайтанихе-то, поговори с ей по душам, она ведь много людям сделала добра. Хотя и прозвишшо у ей какое-то нескладное, а зла-то от ие ведь никаково. Ты поговри с ей, дочка, вдруг она поможот. Ведь вон как вёснусь ногу-то твою она сколь скоро залечила».

«Ой, не знаю, мама, — всё так же горестно-протяжно выговорила дочь. — Схожу я к ей, конечно, шибко тяжело мне на душе, как камнём давит, но не верю я, што по-собит она мне».

«А ты сходи, дочка, сходи!» — обрадовалась мать, что Лукерья согласилась.

...Свежий снежок, подпавший за ночь, весело поскрипывал под ногами, морозец — уж порядочный — имался за нос и нешуточно, — не обзевала зима свою власть установить. Ребятишки в логу у кочеватика разгаделись шумными галчатами, утюжа санками ледовую катушку, и отгородили эти нехитрые обыденные картинки Лукерью от тяжёлых дум. Легко дышалось и задумалось уж облегчённо. Даже про Степана своего как-то просветлённо вспомнила. Взгрустнула, конечно, при этом, но просветлённо.

«А можот, и зря я? — подумала. — Зачем к Шайтанихе иду? Што толку — душу наизнанку вывернуть перед чужим человеком?» Но выкатился, как откуда-то из-за угла, невидимый чёрный камень, примял опять душу со всей силой, и померкли разом все зимние краски, только что выглядевшие такими светлыми. «Нет, видать судьба моя такая», — вздохнула про себя Лукерья и стала подыматься на взгорок.

Потылиха углом стоит на угоре, а Шайтанихино жильё мало не в конце. Вышла Лукерья на широкую, чистую зимой улку и пошла степенно деревенским порядком вдоль домов. И осталось бы пройти всего ей дома с три, как шибко часто запоскрипывал чего-то сзади свежий снег. Оглянулась — Вася Антипов! Оболочка на плечах на скорую руку, голова без шапки, всё волосье скомкалось, обличье в горе — бежит, торопится,

и видно, что не к ней.

«Куды ты эк? — охнула Лукерья. — Уж ни сдиялось ли чево?»

Признал, остановился, дышит тяжело.

«Беда у меня, Лушенька! Дочка моя... — осекся, будто пробкой рот. — Манюшка моя на кровь исходит!» — и заплакал бы, наверное, да Лукерья упредила:

«А с чево жо ек-то?» — чуть уж не вскрикнула.

«Да ведь муки-то ей сколько с домом! — с той же горечью воскликнул Антипов. — Петаютча оба с Гришкой с утра до ночи — поди и переселась! Уж как говрили, как говрили...» — Вася оборвал себя на полуслове и отвернулся.

«А Гришка-то где?»

«Да Гришка ногу нарушил! Уж третий день не приступает!»

«Охти-мнеченьки! — всплеснула руками Лукерья. — Дак побежали скоря к Шайтанихе-то!» — Лукерья потянула Васю за рукав, но тот не сдвинулся.

«Не надо к Шайтанихе, — проговорил он тихо, — тамока она уж... с самово утра».

«А бежал-то ты куды?»

«Туды и бежал... — Вася говорил отрывисто, от быстрой ходьбы по рыхлому снежку ещё не отошёл, — робят вот сбегал попроведать, да и взадь».

Лукерья только тут сообразила, что Маня-то ведь не во своём доме теперь живёт, а в Гришкином, а это аккурат рядом с Шайтанихой в том же конце Потылихи.

«А с Маней-то чево?» — опять спросила она. Спросила да и вытолкнула пробку горькую из Васиной души, и пролилась та облегчающими слезами. Одно только молвить и успел он:

«Выкинула она... ночесь...»

И нечего сказать уж в утешение, и сделать нечего. Лишь только рядом постоять да поукрыть людскую слабость от сторонних глаз.

Скоро совладал с собой Антипов; всего и слабинки-то на две слезинки показал, а на душе уж легче. Голову прямо поставил, лицо, горечью покрытое, к лицу Лукерьиному повернул и глаза в глаза:

«Пособи мене, Лушенька!» — и вздрогнула от этих слов женская душа! Какие там камни — всё вдруг отлетело разом, помощь другой душе человеческой требуется.

«А чем?» — немного растерянно выдохнула в ответ.

«Робята дома у меня одне и голодни, — тихо проговорил Вася. — Я сичас вот сбегал, хлеба по куску им дал, а боле ись им ничево не варено, и со скотом не обряживанось. Корова зыкат не дённая, а я-то утро всё на Гришкином подворье!»

«Ой ты, горяшко! — всплеснула руками Лукерья. — Дак пошли товды скоря».

И уж в другую сторону за Васин же рукав и потянула. И пошли. И пришли скоро к антиповскому дому. А там... На мост только и ступили — овцы пастят в десять глоток — есть-пить охота. Корова рычит и рогом в стену — доите! В избу только зашагнули — маленькие в рёв, видать, со страху за отца и Маню тоже, а самая маленькая девчушка гостью за подол да и глазёнки кверху:

«Мама, молочка охота!..»

Лукерья тут и села! Хорошо хоть лавка погодилась рядом, дак не на пол, а то так бы и уселась посередь избы.

«Счас, маленькая, счас, — погладила девчушку по волосикам, — будет тебе молочко, счас, не ревите только, — и к шестку. — Вася! Где у тебя какая посуда?» — уж по-хозяйски, уж по-домашнему. Вася винтом рядом завертелся, судницу настезь.

«Воде вот, котора помельче».

«А поболе?»

«А за той на мост надо», — и к дверям.

Затопало, загремело на мосту в четыре ноги — нашлось, что надо.

«Вода-то есть ли тёпла?»

«Да сколько хошь воды-то! — встрепенулся. — Два чигунника бульших в пиче-то, да и малинькой один! — схватил ухват: — Погодь, сичас достану, он тяжолой».

«Без саночек, што ли?»

«Как без саночек? — Вася недоумённо. — На санках».

«Зачем ухват товды схватил? Пусти-кося... — и заметив крепкий длинный крючок, торчащий из-под печи, Лукерья отстранила хозяина в сторону. — Поди к дочери, Василий, — предложила мягко. — Ты ведь весь уж там душой-то, так ведь?»

«Как ни там! — горестно выдохнул Василий. — Дак ведь и тут-то робята малые, да и со скотиной не обряженось — хоть разорвись!»

«Поди, Вася, — уж совсем по-домашнему проводила его Лукерья, — мало ли там чем-то пособить занадобится, ведь кабы Гришка хоть здоров там был. А за нас не беспойся; мы тут справимся».

И завертелось, и закружилось всё в антиповском доме под ловкими женскими руками. Овцам — сена, корове — поила после дойки, робятам — молочка да каши, избе

— свету да чистоты, которую одни только женские руки и способны навести, потому как без глаз даже замечают каждую соринку да пылинку. И преобразился дом! Замолчали, поев, овцы во дворе, улеглась на тёплое корова пережёвывать свою извечную жвачку, расплылись в весёлых улыбках ребячьи рожицы после тёплого молочка да вкусной каши. Да ведь и после рук же ласковых! По головке-то погладят руки ласковые — так-то на душе любо делается! И шалить да злиться не охота уж. Тоже к подолю прижаться потянет в ответ на ласку, а то и на колени забраться да ручонками за шею! Доброе — оно ведь всегда добрым всходит.

И не заметила Лукерья, как отвалился опять от души гнетущий её камень, и осветлела она за домашними-то хлопотами. Хватилась — батюшки, а камня-то и нету! Искала-искала его своими думами всегдашними — нету! Не возвращается, хоть думай — хоть не думай! И из дому идти уж никуда не тянет; тепло тут и уютно, как во своём. Во своём-то уж второй год, как в могиле, а этот и не свой бы вроде — а тепло!

И приголубила она всех ребятишек, что под рукою оказались в ответ на её ласку, прижала головёнки ихние к своей груди — а их всех четверо без Мани-то — да и подумала: «Горемычные вы мои, горемычные! Маетесь да мучаетесь без тепла да ласки, как и я, а много ли вам надо? Приголубила вон, только и всего-то, а вы уж и притихли да согрелись. Да ведь и я ж то рядом с вами... Ох, видать, судьба моя такая; хоть вертись — хоть не вертись, а всё одно своё возьмёт да настоит».

Вернулся ближе к вечеру Василий во свой дом, а Лукерья посередь избы стоит. И лицом ему навстречу! Ошалел Вася: «Господи, помилуй! Да неуж ишо чево?» — а Лукерья к нему тихими шажками. Подошла близко — совсем-совсем близко — лицо навстречу ему подняла, протяжным взглядом посмотрела в добрые глаза — да и руки в кольцо на Васины плечи! Молча!! А так-то ещё истовой да понятней.

Глава двадцать первая

— 1 —

«Олька Стуков из Устюга воротился, — встретила мужа Степанида. Тот не сказал ничего, тяжело разбококаясь, и жена прибавила: — Ивашко давече евоный прибежал; переказал, штоб ты до их зашёл бы».

«А чево надо-то?» — недовольно пробурчал Захар.

«Чем я знаю, — не отрываясь от прялки, отозвалась Степанида, — переказал — да и всё. Но, видно, шибко надо, а иначе-то с чево бы к нам Ивашко? Веком таково не бывало».

Захар пробурчал что-то недовольное под нос и начал сызнава натягивать полушубок.

...У Стуковых тепло, самовар на столе поёт и вся семья вокруг.

«Проходи, Захар Петрович, — ответив на приветствие, на правах старшего пригласил гостя за стол Стуков-прародитель, — чаю с нами вышей».

«Это я, пожалуй, и не откажусь, — согласился Захар. — Намерзлись мы севодня с Федькой».

«Далёко ли ходили?» — вступил в разговор Олька.

«Да вич нисколь не стало, а пестерь бы хоть один ли, два к весне занаво».

«Насикли?»

«Да, слава Богу, этово добра в достатке — вся Курженьга в кустах, — ответил Захар. — Насикли-то да порядочно; с утра-то тихо было, а вон, вишь, погодушка-то поднялась — взадь едва дошли».

«Ну, пей давай, Захар Петрович, — пододвигая чашку, перебил всех Стуков-старший. — Кишки-то согреютча, пока горячо, дак и язык оттаёт, — Миша как-то многозначительно посмотрел на Захара и продолжил: — Олька мой вон тожо поднамёрзся, но ево от думок распираёт боле, чем от чаю».

Захар быстро смекнул, что и впрямь тут дело нештутейное какое-то, и торопливыми глотками опорожнил предложенную посудину...

«Каково съиздил-то, Оляксан?» — уже переходя к делу, обратился Захар к Стукову-младшему. Тот пошарил пятерней в затылке, встал с лавки и сделал несколько шагов в тесном пространстве зимней избы.

«А не знаю, парень, как тебе и сказать», — как-то неопределённо начал он.

«Што, ни всё продал али не дали цену?»

«Да продатель-то продал, — всё так же раздумчиво продолжал Олька, — и цену дали...»

«Дак чево ж товды?» — нетерпеливо вклинился Захар.

«Да нету боле в Устюге базару — вот чево!»

«Как нету?» — охнул удивлённый Захар.

«Ну, ряды-то — оне, конешно, никуда ни девались; как стояли — так и стоят, — на-

чал пояснения Стуков, — только торговли-то на их, считай што, никакой».

«А как жо ты товды кожъё своё продал и цену дали?»

«А вот тут-то, парень, вся и закавыка, — видимо, закончив предисловие, уже более оживлённо начал разговор Олька. — Мене ведь поначалу-то хоть уезжай было с товаром — никому моё кожъё не надо стало, нету лошадей-то в деревнях. А лошади в усадьбе нету, дак и сбруя ни пошто. Я так промаялся два дня, не продал ничево, и вдруг — нате! Понаехали какие-то, все в звании чиновнем, да оптом у меня всё и забрали. Я уж и цену-то не ломил — хоть бы продать-то, думаю, — и на кредитки уж согласен, коль недёшево дадут, а оне, гляди-кося... — Олька пошарил рукой по божнице и достал из-за большой иконы маленькую коробочку, похожую на сундучок. — Гли-кося!» — он открыл маленькую крышечку, и перед глазами изумлённого Захара засверкали блестящие маленькие монетки, густо закрывавшие дно шкатулки.

«Ух ты! — только и воскликнул Захар, доставая одну из них. — Неужто настояшшы?»

«В том-то и дело! — подтвердил Олька. — И которы серебрянны — те тожо настояшшы».

«Дак ето как жо? — не находя, чего сказать, развёл руками Захар. — Как жо ето?..»

«А вот за то я тебя, парень, тут жо и созвал, потому как это ведь ишо не всё».

«Мать честная, пресвятая Богородица, куда уж больше-то?!» — закрестился Захар при этих словах, а Олька продолжил:

«А больше-то оне ишо про хлеб и прочую продукцию интерес имели. Не знаёшь ли, говрят, где нам ево купить и штобы скоро, потому как в армии есть в этом большая нужда».

Захар уж раза три вскочил со своего места, слушая рассказ хозяина, столько же раз уселся, а теперь и вовсе выскочил на середину избы, как подстёгнутый. «А мы-то эстоль ноне взяли... Вот бы нам ево продать...» — подумал, а вслух промолвил:

«И што жо ты на это им ответил?»

«А то и ответил, што, мол, в нашей волости есть хлеб, да только вывезти ево по причине нашей нынешней безлошадности никак нельзя. Вон базар-от от тово и зачи черевел, што везти товар-от не на чём».

«И што оне?» — нетерпение Захара проявлялось уж теперь во всём, даже в резкости движений, а может, в них-то и в первую очередь.

«А там один, по виду старший, велел какому-то мужику названье нашово места записать и как сюда попажа».

«Ну!» — Захар даже присел, как в плясовой, хлопнув себя ладонями по коленкам.

«Вот те и «ну», — невозмутимо продолжал Олька. — Я за то и проводил Ивашку-то к тебе, штобы созвать да обговорить такоё дело. У тя ведь есть, поди-ко, ржицы-то порядошно, да и про жито я нонь чул, што много narосло».

«Ну... как у всех...» — скромно отозвался Захар.

«А коли так, дак ты бежи-кося топеря, парень, до дому да и готовь мешки с кулями все, какие есть. Я думаю, што покупатели в Завидове на днях уж и объявятся. Понял?»

«Да как тут не понять!» — встрепенулся Захар.

«Вот я за это-то тебя и созвал».

— 2 —

«Федька! — прямо с порога рявкнул сидящему за столом сыну Захар. — Оболокайся — и в амбар!..»

Власовский амбар просторный, из добротного лесу и срублен рядом с домом — только что через дорогу на задворках. Захар открыл ларь с рожью и запустил в зерно руку. Подержал на ладони горсть захваченных увесистых семян и вдруг промолвил:

«Сколь у нас в дому кулей с мешками наберетча, если все собрать?»

«На кой они те болись в зиму-то?» — оторопело уставился на отца Федька.

«Надо, стало быть, коль интерес имею, — строго произнёс Захар и, уже немного смягчившись, добавил: — Зерно продать возможность появилась и за цену настояшшу, — помолчал ещё немного и, видя, что сын его не понимает, придвинулся поближе к нему и почти шёпотом добавил: — Золотом платят! Понял?»

«Где? — только и сумел выдохнуть изумлённый Федька. — В Устюге, што ли?»

«В Завидово обоз прийти должен бульшой, и много ладят закупить — мне Олька Стуков сказывал сичас, — пояснил Захар. — Так што все кули, какие есть, на утро штоб готовы к делу были».

«Ты чево это, батько, удумал? — заметив суетливую возню мужчин по дому, поинтересовалась Степанида. — На кой те болись посереде зимы мешки с кулями-то занадобилсь?»

«Много ли овеч у нас севодня сугяных?» — вопросом на вопрос метнул в неё Захар.

«А овчи-то тебе на кой?» — заполошилась Степанида, отложив в сторону пряжу.

«Резать буду!»

«Ты што, батько, не сдурел ли — овец-то резать? — всплеснула руками Степанида. — Ведь не мясоед ишо!»

«Которы яловые — всех нарушим! — решительно отрубил Захар. — И старово борана им впридачу».

«Да што с тобой стряслось-то? — совсем уж перепуганно бросилась к мужу Степанида. — Боран-от старый ишо в силе ведь!»

«Молодой растёт...»

«Да кабы толк с ево какой хоть был! — совсем растерялась Степанида. — Ведь ничево ишо не понимает...»

«Овец пристручит, дак живо научат!» — скаламбурил Захар.

«Да што ты взяло-то? — уцепилась она мужу за рукав. — Одну ли хоть бы, буди, две сказал...»

«Сказано — всех! — резко оборвал её Захар. — И телушку тожо!»

«Господи! — перекрестилась Степанида, обессиленно оседая на лавку. — Да чево сдизалось-то?»

«Торг бульшой будёт! — коротко бросил хозяин. — Обоз бульшой в Завидове — всё продадим!»

«Да как жо всё-то, Захарушко? Да ты подумай-ко умом-то!» — запричитала Степанида.

«Подумано! — опять отрывисто выстрелил хозяин. — И скотину, сколько можно, и зерно всё подчистую, только штоб на семена осталось».

«Господи! А ись-то што?»

«Картови наросло нонь много, есть горох... капуста...»

«Да ты много ли картови-то с капустой посопёшь, как мясоед настанёт, а во всём дому не будет мяса ни кавалка? — не унималась Степанида. — Ноги ведь протянёшь!.. А робятам чево ись?»

«Цыц, старуха!! — во всю мощь своих лёгких рявкнул Захар. — Твоё дело вон горшки да зыбка, и не суй свой нос куды не след, покуда есть в дому мужик да в памите и силе. Сказано — всё продадим, значит, всё!»

«Ты пошто на маму ек? — от кого угодно можно было ожидать такой напасти, но чтоб от Анисьи... кроткой и покорной Анисьи? В первое мгновение Захар аж опешил. Повернул голову в сторону младшей из дочерей и слова не может выговорить. А та с лавки соскочила, кулачки сжаты, личико закаменело, глаза искры мечут... — Пошто ты маму ек собачишь? — новый сноп огня вылетел из Анисьиных глаз. — Нешто она заслужила чем? Аль не хозяйка она тут?»

«З-з-замолчь!! — зашёлся, наконец, Захар в истошном рыке. — Штобы своё говёшко да мене перечить?..»

«И не замолчу! — бесстрашно наседала на отца Анисья. — И заперечу! Мне Петрушка за всё время слова не сказал худово, и отец евонный к матери ево с почтением, а нешто мама наша хуже?!»

Казалось, ещё мгновение — и маленькая Анисья кинется на отца, как молодой петушок в свою первую драку, и вцепится в него, сколь силы есть, в порыве защитить родную мать.

«Вон!! — совсем уж распалившись, во всю мочь заорал Захар. — Штоб духу твоео тут боле не было — зашшытница нашлась!»

Анисья резко дёрнулась с места в сторону одежды, но Степанида проворной кошкой метнулась ей наперерез:

«Сидеть!!» — и властно водворила дочь на место.

«Дрына захотела?! — окончательно взбеленился Захар. — Я счас как опягу ременничей-то поперёк спины обех — живо пропадёт охота батьку-то перечить!»

Он завертелся на одном месте, словно и впрямь разыскивая плётку, всегдашнее место которой было в саднике, завертелся скорее в запале или надежде, что Степанида отступит, но та лишь решительнее загородила Анисью своим телом.

«Где это видано, штобы дитё родное из родительсково дому прогонять? Сидеть!» — и положила руку на плечо дочери.

Захар крутанулся ещё раз, словно ужаленный, и, схватив шапку, пулей вылетел из избы.

«Вот так-то лучше! — сдерживая гнев, проговорила Степанида. — Пускай охолонёт маленько, а то ишь — развоевался!»

— 3 —

Утром следующего дня Захар и Федька собрались чуть свет. Ночь остудила пыл хозяина, и он снова сделался по-всегдашнему рассудителен.

«Поезжай в Завидово, — нагрузив воз рожью, наказал он сыну, — прознай, што

там и как. Можот, уж торговля там пошла — не обзевать бы. Ежли што — ночуй; родни там хватит — всяко пустят, но прознай про всё. А я тут, той порой, погоношусь».

Но события разворачивались куда быстрее. Не успел ещё Федька выехать, как уж побегали по домам проворные мальчишки извещать всех уйдомцев, что собирают их на скорый сход какие-то посланцы. Собрались быстро. Встали плотно — студено на улице-то — и всё одно едва вместились на церковный двор. На возвышение поднялся высокий грузный чин в хорошем полушубке да шапке с кокардой и громко заговорил:

«Сограждане! Православные! Его Величество государь-император всероссийский ведёт тяжёлую войну с германцами во имя защиты веры христовой и Отечества нашего от поругания чужеземного. Немало и земляков ваших на войне этой с честью долг свой исполняют, да немало уж и погинувших, — говоривший скорбно приопустил голову и сделал небольшую паузу. Толпа напряжённо молчала. — Но для ведения войны этой и победы над супостатом, — продолжил чиновник, — потребны не только снаряды и патроны; для её ведения нужен хлеб и всякое иное продовольствие, — напряжённая до предела тишина среди собравшихся, казалось, ещё больше натянулась, казалось, уж и зазвенела в ожидании дальнейшего. — В немалой части губерний российских нынче недород, немалая уж часть их и захвачена врагом нашим, — тяжёлыми камнями падали на собравшихся слова говорившего, — и по этой причине образовалась в армии большая нужда в хлебе».

«Отбирать, поди-ко, хлебушек-от станут, — прошелестело по толпе, — вишь — конные да с саблями стоят!»

«Мы, государевы посланцы, — продолжал чиновник, — уполномочены Его Величеством императором всероссийским Николаем Вторым на закуп зерна и продовольствия в вашей волости и по причине этой собрали сей сход, дабы известить вас о намерениях государевых».

Задвигалась толпа, зашевелилась, загудела многоголоса, переваривая услышанное.

«А мы вот тут, мил человек, сумлеваимся, — раздался чей-то старческий тенорок, — по доброй воле хлебушек у нас забрать собрались али силой?»

«Мы не варнаки, — с некоторой обидой в голосе начал чиновник. — Мы — государевы посланцы, — добавил он торжественности в речь, — а стало быть, и произвол чинить не можем, дабы сим не опорочить имя государево! За всё вам будет плачено сполна».

«А по сколь за меру, коли так, купить намерены и чем платить за хлебушек нам будете?» — прозвучал тот же голос.

«За меру — как сойдемся, а платить мы будем золотом!»

«У-у-у-ы-ы-о-о!!» — глухим нарастающим валом прокатилось по толпе людское изумление, и вытянулись в крайнем удивлении лица собравшихся.

«Неужто настоящим золотом?» — на самой верхней ноте прозвенел знакомый тенор, и все признали, наконец, в хозяине этого тенорка Ефрема Неклюдова.

«Настоящим! — коротко отрезал чиновник. — Вона, гляньте, — и показал рукой в сторону хорошего возка, возле которого безотлучно находилось двое конных с саблями на боку и винтовками за спиной, — расплачиваться будем тут же».

«Федька! — горячо шепнул чуть ли не в ухо Захар своему сыну. — Живо на подворьё запрягатьча и сюды с возом!» — хотел ещё что-то добавить, но громкий голос чиновника перекрыл возникший было в толпе шум:

«Кто согласен по рушь с четвертью за меру рожь продать, — возгласил он, — сейчас ко мне и записать, у кого сколько есть, чтоб знать нам про потребность лошадей для вывозки всего».

«Чево стоишь?» — змием зашипел Захар, заметив, что Федька ещё тут.

«Да слушаю я...»

«И без тебя послушают! — оборвал его отец. — Сказано — домой бегом, значит, бегом! И штобы с возом первый был!»

Весь день по Уйдоме суета и суматоха. Весь день бегали и гоношились уйдомцы на своих подворьях, выгребая хлеб из амбаров, забивая скот, и везли, и таскали своё добро кто на чём, но всё к погосту. Шутка ли: настоящим золотом расплачивается покупатель! Когда такое было? Не всем и подержать-то за всю жизнь такие деньги удавалось, а не то чтоб получить! И потому, кроме желанья помочь воюющей за отечество армии, двигало людьми ещё и желанье создать надёжный запасец капитала в дом. И в меньшей степени двигало! Золото-то ведь — оно и есть золото! Во все века цена ему не падала, и закупить на него всегда можно было всё что хочешь.

Захар, как и задумал, свёз всё. И хлебные запасы подчистую, и овец вместе с бараном да телушкой — всех под нож пустил! И разошёлся так в желаньи побольше заработать, что и суйгных овец чуть не зарезал, да хозяйка не дала. Загородила, как детей малых, своим телом да и крикнула прямо в лицо мужу:

«Режь меня сперва, коль их собрался!»

Хозяин и остыл. Давленников — так во все времена звали в Уйдоме уловленных петлями зайцев — ещё сгрёб в беремья, сколько было под рукой, и продал их целиком.

Только в потёмках воротился Захар Петрович на родное подворье. Прошёлся первым делом по хозяйству, будто снова проверяя, не осталось ли ещё чего продать, но ничего больше годного для этой цели не попадалось на глаза. Лишь кадушка с молодыми груздочками сиротливо жалась к углу тёмного моста да небольшая калышечка жита рядом с ней, оставленная под рукой для кормления куриц.

Во всём доме стояла мёртвая тишина, словно все обитатели его вымерли разом или разбежались кто куда, чтоб быть подальше от развоевавшегося хозяина. Даже беспокойное обычно овечье стадо, изрядно ополовиненное за день и лишившееся своего вожака, никак себя не проявляло, словно его и не было во дворе вовсе. В зимней избе Степанида со снохой молча перебирали скотские потроха, которых было такое несметное количество, что, казалось, в доме Власовых образовалась всеуйдомская бойня! Все трое малышей, как мышки, тихо сидели на полатях, лишь изредка чуть слышно перешёптываясь, и даже самый младший Ерощка не подавал никакого звука, хотя и не спал. А Анисья с Лукерьей как будто никогда и не бывало в этом доме!

В амбар и вовсе никакого смысла не было идти; там все лари с зерном ещё с утра были подчищены настолько, что, взглянув на них, можно подумать было, что хозяин дома тронулся умом. Зерна явно не хватало для нормального питания семьи в оставшееся до весны время, и только семенные лари были заботливо открыты сверху рогожей и придавлены толстыми берёзовыми плахами. Но именно в амбар-то и созвал неожиданно Захар своего сына, тоже молчаливо коловшего в тот момент дрова.

«Смотри, Федька, — закрыв за собой дверь в порядке опустевшее зернохранилище, показал Захар мешочек из тонкой кожи, — тут наша сила и надежда вся на долгие годы! — он положил увесистый мешочек, позванивавший монетами, на ладонь сына и дал тому возможность его взвесить. — Я старею, и мой век недолог, а тебе жить дальше, и за то ты должен знать, — с грустно-торжественными нотками в голосе продолжил отец. — Сичас вмистях ево запрячем и про место ето боле никому!»

«А мати?»

«Не бабьё ето дело — деньги считать! — строго проговорил отец. — Мужик должен в дому всему учёт вести и править. Бабу токо допусти-ко — растранижит, тово часу! И ни денёг будёт, ни товару — понял?! На всю жизнь ето запомни: мужик в доме голова! Но он же и ответчик за всех в доме! — Захар пристально-пытливо посмотрел сыну прямо в лицо, словно проверяя при этом, насколько дошёл до того смысл сказанного им, и через мгновение продолжил: — Видел, как севодня торг-от шёл: кажный фунтик на учёте, кажная копеечка без всяково обману отдана — вот ето власть и сила! Туго стало государю — запас в дело, и купил всё, в чём нужда есть. Так и в доме в кажном государь свой должен быть, штоб справедливость устанавливать во всём».

Федька присмирённо молчал, стараясь не пропустить ни одного отцовского слова. Не часто так бывало, чтобы просто-то по душам отец с сыном поговорили, а чтобы так-то вот — и вовсе не припомнить!

«Уж што-то, татя, ты севодня шибко круто взял, мне кажот, — поосмелев от такой отцовской откровенности, высказал свои сомнения Федька. — Ведь ты, смотри-ко, сколь овеч-то нарушили мы зараз, да и зерна нам по-хорошему не хватит на еду».

«Не замрём! — уверенно возразил отец. — Оно, конечно, ты тут прав насчёт зерна-то, но подумал я, што раз один всево за жизнь такое можот быть, как вот севодня-то! Я вот уж шисдсят годов землю топчу, а не видал таково-то ни разу даже близко, штобы эдак торговать! Ведь ты смотри-ко, сколько золота-то мы севодня взяли?! Это жо клад ведь самой настояшшой! Как тут не спустить всево, што хоть маленько гожо?! — Захар часто, возбуждённо задышал, словно бы возвернувшись всем существом своим в азарт торгов, и Федька не нашёлся, чем ему возразить. — А за провиант ты шибко не переживай, — уже более спокойно продолжил отец. — Я уж прикидывал ишо вчерась, што на картове нажмём попуще заместо ерушников, гороху много; если што, тожо пикчи хоть шаньги можно — не замрём! А там, даст Бог, и до тепла дотянем. Ну а уж там-то... — Захар выразительно задрал вверх голову, словно увидел с высоты что-то такое, что не видно было из обычного её положения и замолчал. — Одно ишо хочю добавить, — после некоторой паузы как-то глуховато продолжил он, — ежели я вдрут не доживу, как Васька возвернетча, знай: и евонна доля тут есть».

Он несколько раз приподнял и опустил ладонь с заветным мешочком, выразительно подчёркивая этим жестом, о какой доле идёт речь.

«А сёстры как жо?» — встрепенулся Федька.

«Не об их забота твоя! — всё так же строго проговорил отец. — Девка — отрезанный ломоть, и за ие мужик в ответе, коли выдана. Тем паче, што и Лушка нонь, кабыть, в хороши руки пошла. О брате своём думай! Сжуйничаетшь коли — из гроба прокляну! Понял?»

«Да што ты, што ты, татя, еко-то говоришь?! — попятился от отца Федька. — Да разе я ек сделаю? Да ведь и ты жо ишо в силе...»

«Ну, это как Богу будет угодно — сила моя. Её ведь и лишитча можно в одночасье, а ты знать должен. Севодня золотишко нашо тут оставим, ну а завтра перепрячем понадежнее».

— 4 —

Намаявшись за день, улеглись все скоро. Засопели малыши на полатях, даже Федька с Настенькой, слышно, что утихли, и лишь Захар со Степанидой не могли уснуть.

«Ты што ето, батько, ноне разошёлся?» — мягко и тихо спросила Степанида.

Вот ведь баба; ну до чего же хитра! Вот дал Бог ума бабьего — на десятерых с избытком! Без всякой укоризны спросила, без обиды, как будто и не бушевала буря мужняя в дому, считай, что сутки, а попала в точку. И ведь ни словечком не поперечила, когда муж буянил, всё стерпела да снесла, заранее зная, что перечить — всё равно что масла в огонь подливать. А теперь — нате вам, голыми руками мужика бери да и лепи всё, что хочешь на своё усмотрение.

Крякнул Захар досадливо на её вопрос, поморщился впотьмах, будто от кислого, и ничего не сказал — совестно. Зажгло внутри. С Федькой в разговоре про справедливость твердил, а сам что учинил?

«Чево молчишь-то?» — с разумной доли настойчивости и нетерпения проговорила жена.

«А чево говрить-то? — с тем же душевным раздражением отозвался Захар — И так тошно на душе...»

«Облегчил бы, хто не даёт-то...»

«Хм, облегчил... — буркнул, поворотившись, Захар, — как будто мне с руки — облегчать-то... Да и нековды ишо было — облегчать-то».

«Сам жо говоришь, што ты хозяин в доме и за всё в ответе, — с максимальной долей укоризны попеняла Степанида, — што ж топеря на попятную-то?»

«М-м-м-м!» — будто пороз перед коровой, глухо промычал Захар и заворочался, как голый на соломе.

«Вертись — не вертись, а перед Анисьей повинись! — уж совсем твёрдо проговорила Степанида. — Она — дочь твоя, а не девка уличная, штобы на ие эдак-то орать, да ишо и из дому гонить! — молчит Захар, терпит теперь все укору женины и уж ни слова поперёк — права. — Смотри-кося, севодня ни одна, ни другая не захаживала! Разе это гожо?» — сполна отыгрывалась теперь Степанида.

«Шешка, не рви душу!» — остудил поднимающийся было её пыл Захар. Степанида притихла, поняв, что, пожалуй,хватила лишку, и какое-то время полежала молча. Пусть-де повыворачивает, иногда полезно! — Шибко за Анисью тошно мне, — видно, желая всё же избавиться от горечи душевной, продолжал Захар после молчания, — а только неспроста я так...»

«Чево ишо?» — учуяв что-то новое в голосе мужа, встрепенулась Степанида. Захар несколько раз тяжело вздохнул, будто собираясь с мыслями, и тихо промолвил:

«За Ваську нашово внутри всё изболелось. Мочи нету боле, уж которой мисич точит душу червём... — он осекся, не договорив начатое, будто испугавшись, но, видать, и вправду шибко источило душу горькое, и он добавил, словно вытолкнуть пытаясь эту боль и горечь: — Нету боле Васи нашово! Погинул он безвестно, коль не пишут ничево!»

Степанида, встревоженная новыми, доселе неизвестными глубокими болячками в душе мужа, встрепенулась, облокотилась на постели и всеми возможными способами попыталась вернуть Захару душевное равновесие. Но тот, видать, сломался в чём-то главном, утвердился в новом после слома, и никакие уговоры жены ему уже не помогали... Шибко он любил своего младшего; да и как не любить — последыш, век свой с ним бы доживать.

Продолжение следует